

Ежемесячный
литературно-художественный журнал



ПОДЪЁМ

Издаётся
с января 1931 года

Главный редактор
Иван ЩЁЛОКОВ

Редколлегия:

АВРУТИН А.Ю. (Минск, Беларусь)
АГЕЕВ Б.П. (Курск)
АКАТКИН В.М.
АРШАНСКИЙ В.С. (Мичуринск)
ЖИХАРЕВ В.И.
ИВАНОВ Г.В. (Москва)
КАН Д.Е. (Оренбург)
КОНДРАТЕНКО А.И. (Орел)
ЛАПИН А.А.
ЛЮТЫЙ В.Д. — заместитель главного редактора
МЕЩЕРЯКОВ Ю.А. (Тамбов)
МИЗГУЛИН Д.А. (Ханты-Мансийск)
МОЛЧАНОВ В.Е. (Белгород)
НЕСТРУГИН А.Г.
НИКИТИН В.Н.
НОВИЧИХИН Е.Г.
НОВОХАТСКИЙ В.Е. — ответственный секретарь
ПАВЛОВ Ю.М. (Армавир)
ПЕРМИНОВ Ю.П. (Омск)
ПОНОМАРЁВ А.А. (Липецк)
СКИФ В.П. (Иркутск)
СЫРНЕВА С.А. (Киров)
СЫЧЁВА Л.А. (Москва)
ШАЦКОВ А.В. (Москва)
ШЕМШУЧЕНКО В.И. (Санкт-Петербург)
ЯКУНИНА Г.П. (Владивосток)

Воронеж

5 ■ 2020

В НОМЕРЕ:

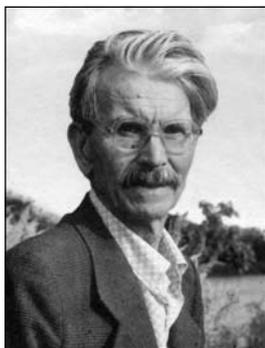
Специальный выпуск

**ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЙНОМУ ГОДУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ,
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ НАД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ
ЗАХВАТЧИКАМИ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
1941–1945 ГОДОВ**

СЛОВО СОЛДАТА	Михаил ТИМОШЕЧКИН. И мне уже семнадцать лет... Стихи 4
ПРОЗА	Андрей ПЛАТОНОВ. Дерево Родины. Рассказы 9 Евгений НОСОВ. Красное вино победы. Рассказ 23 Иван ЕВСЕЕНКО. Нетленный солдат. Рассказ 49 Юрий ГОНЧАРОВ. Дыхание павших. Рассказ. (Очерк-предисловие Дмитрия ДЬЯКОВА «Жизнь сложнее любого романа...») 79
ПОЭЗИЯ	Анатолий АБРАМОВ. Нет горше в мире ничего. Стихи 20 Тихон ПАВЛОВ. Мне снился сон. Стихи 44 Виктор ПОЛЯКОВ. Рубеж. Стихи 76 Анатолий ЖИГУЛИН. В обрушенном старом окопе. Стихи 106 Станислав НИКУЛИН. Гуляет по июню тишина. Стихи 121 Алексей ПРАСОЛОВ. Далекое зарево. Стихи 142 Галина УМЫВАКИНА. Старый снимок. Стихи 154 Фронтной эшелон. Стихи. Общая тетрадь 165 «Я читаю отцовские письма...» Стихи. Общая тетрадь 180 Послевоенное лето. Стихи. Общая тетрадь 209
НЕЗАБЫТЫЕ СТРАНИЦЫ	Василий ПЕСКОВ. Я помню... Очерки 110
ПАМЯТЬ И СЛАВА	Петр ЧАЛЫЙ. Последние мужики. Рассказы 125 Виктор БУДАКОВ. Миринова гора. Эссе 146 Евгений НОВИЧИХИН. Только одно село... Документальный рассказ 157
«КАТЮША»	Алексей ГАЛАНИН. Первый командир легендарных «Катюш». (Капитан Флёрв — испытатель супероружия, сделанного в Воронеже) 172

МОСКВА — ЗА НАМИ!	Сергей МИХЕЕНКОВ. Герой Соловьевой переправы. (Фронтовое начало Героя Советского Союза Александра Ильича Лизюкова). <i>Отрывок из новой книги о битве за Москву</i> 189
СТАЛИНГРАД	Валерий ЖУРАВЛЕВ. Девочка из «Дома Павлова». (Человеческий ракурс жестоких сражений) 215
ЗНАМЯ	Владимир НОВОХАТСКИЙ. Знаменосцы последнего берлинского боя. (Штурмовая группа капитана Макова первой водрузила знамя над рейхстагом) 223 Алексей МАНАЕВ. Орден от маршала Жукова. (Как фотокор Виктор Темин опубликовал снимок о взятии рейхстага в газете «Правда») 226
ПОСЛЕ НАШЕСТВИЯ	Вера КОСТЮЧЕНКО. Возвращаясь памятью в те дни. (Из книги воспоминаний жительницы города Воронежа) 235
НА ПРИВАЛЕ	Андрей ОБЪЕДКОВ. Белочка-партизан 246
ПИСАТЕЛЬ И ВРЕМЯ	Артем ТОКАЙСКИЙ, Владимир НОВОСЕЛОВ. «Линия фронта — линия слова». (Акция редакции журнала «Подъём» и Воронежской организации Союза писателей России стала заметным событием юбилейного Года памяти и славы в области) 248

На 1 стр. обложки:
Сергей Киселев. Воронеж. Площадь Победы



Михаил Федорович Тимошечкин (1925–2013). Родился в селе Васильевка Воронежской области. Участник Великой Отечественной войны. Автор документальной повести о Герое Советского Союза, войсковом разведчике М.И. Крымове «Вслед за солнцем», поэтических сборников «Бой», «Свидетели живые», «Печаль и благодать». Член Союза писателей России.

Михаил Тимошечкин

И МНЕ УЖЕ СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ...

* * *

Стихи — как память о войне...
Они еще стучатся в сердце
И продолжают жить во мне,
Суровые единовверцы.

Они людей тревожить душу
Хотят с другими наравне
И ждут, чтоб кто-то их послушал,
Стихи солдата о войне.

Кому-то, может быть, дано
Найти в них родственные чувства,
Приметив в закромах искусства
Мной принесенное зерно.

Взращенные, подобно злакам,
Средь избяных крестьянских стен,
Они еще идут в атаку,
Чтоб никогда не сдать в плен.

ПАХАРИ

*Памяти
Степана Григорьевича Брюнина,
Андрея Ивановича Ныркова,
Ивана Афанасьевича Рыжова
и других односельчан,
павших в битве под Москвой*

Были это все живые люди.
Отойти не пожелав назад,
В новеньких шинелях у орудий
Мужики побитые лежат.

Взяли их с уборочной в солдаты,
Впрок и дня не вышло отдохнуть.
Неуклюжи чуть и мешковаты,
Будто перед кем-то виноваты,
Шли они от сельсовета в путь.

Страшные осенние недели:
Враг у подмосковных деревень.
У орудий серые шинели
Начинали новый трудовой день.

Бить по танкам не простое дело,
Все кругом в неистовой пальбе.
Соль на гимнастерках прикипела,
Будто на току, на молотье.

На руках тяжелые снаряды,
А на лицах копоть, как смола.
Никакой награды им не надо,
Лишь бы только Родина жила.

Тяжела их ратная работа,
Но работать им не в первый раз:
И родились в поле, у ометов,
И встречаются тут последний час.

Мать-земля,
 родная с колыбели,
Мягкую постель им приготовь.
Новые — с иголки — шинели
Теплая пропитывает кровь.

Потонула даль в дыму и гуде.
Враг отброшен,
 враг бежит назад...
В новеньких шинелях у орудий
Пахари убитые лежат.

ПРИВАЛ

Упаду, изможденный,
На винтовку щекой.
Ах, как сладок законный,
Разрешенный покой!

К деревянному ложу
Лбом горячим прильну.
Ничего нет дороже —
Моментально засну.

Ни единой мыслишки
О гудящей войне.
Орудийные вспышки
Где-то там, в стороне...

Старшина наш на грядке
Тоже плюхнулся в грязь —
И лежит в плащ-палатке,
Как какой-нибудь князь.

Опираюсь спиною
О его сапоги.
Ночь висит надо мною,
И не видно ни зги.

Дождь, к востоку повернутый,
Выжимающий знобь,
По пилотке развернутой
Сеет мелкую дробь.

Вот и дождик не чую.
Распластавшись ничком,
Все куда-то лечу я
Босиком, босиком.

Убегаю с уроков
С ребятнею на пруд.
Нам отпущено сроку
Целых десять минут.

В борозде в огородах
Расстилаю шинель,
Рву для нашей коровы
Повитель, повитель...

И опять убегаю
С ребятнею на пруд.
Мне отпущено, знаю,
Ровно десять минут.

Мне отпущен законный,
Разрешенный покой!
Кто там, в плащ облаченный,
Тычет в спину рукой?

Кто там с яростным топотом
В круг выходит плясать
И командует шепотом
Повелительно: «Встать!»

* * *

Рванулось сердце горячо —
И гулко, гулко застучало,
Едва почувяло плечо
Прикосновение металла.

И вот уж я залег в кювет
У города Кривого Рога,
И мне уже семнадцать лет,
И жить осталось так немного.

А рядом — танки в три ряда,
Бежит пехота к переправе.
А нам нельзя, нельзя туда —
Заслоны отходить не вправо.

Все, что пришлось тогда решать,
Пожизненно в груди скипелось...
Мне не хотелось умирать,
А в плен и мертвым не хотелось.

А сзади Ингулец течет,
Судьбы — конец, судьбы — начало...
Что ты забилося горячо,
О чем ты, сердце, застучало?

* * *

А я боялся на войне —
Чтоб в плен меня не захватили
И чтоб случайно не убили
От взвода где-то в стороне.

Чтоб бомбою в глухом овраге
Не уложило наповал,
Чтоб не пришли домой бумаги
О том, что без вести пропал.

И в охраненье боевом
Чтоб след мой
вдруг не затерялся,

И мертвым я не распластался
Пред торжествующим врагом.

О доля, высшая из всех,
Что уготованы солдату, —
Пасть на бегу на белый снег
В цепи под клич ее крылатый!

И я хотел,
 чтоб на поверке
Среди просторного села
Хотя б на тоненькой фанерке
Моя фамилия была...



Андрей Платонович Платонов (1899—1951). Родился в пригороде Воронежа Ямской слободе. Окончил в Воронеже электротехническое отделение железнодорожного техникума, в 1918—1919 гг. учился на историко-филологическом факультете Воронежского государственного университета. В 1922 году в Краснодаре вышел сборник стихов «Голубая глубина». В годы Великой Отечественной войны был фронтовым корреспондентом газеты «Красная звезда». Автор многих рассказов, повестей «Котлован», «Ювенильное море», романов «Чевенгур», «Счастливая Москва», нескольких пьес.

Андрей Платонов

ДЕРЕВО РОДИНЫ

Рассказы

Мать с ним попрощалась на околице; дальше Степан Трофимов пошел один. Там, при выходе из деревни, у края проселочной дороги, которая, зачавшись во ржи, уходила отсюда на весь свет, — там росло одинокое старое дерево, покрытое синими листьями, влажными и блестящими от молодой своей силы. Старые люди на деревне давно прозвали это дерево «божьим», потому что оно было не похоже на другие деревья, растущие в русской равнине, потому что его не однажды на его стариковском веку убивала молния с неба, но дерево, занемогши немного, потом опять оживало и еще гуще прежнего одевалось листьями, и потому еще, что это дерево любили птицы, они пели там и жили, и дерево это в летнюю сушь не сбрасывало на землю своих детей — лишние увядшие листья, а замيرало все целиком, ничем не жертвуя, ни с кем не расставаясь, что выросло на нем и было живым.

Степан сорвал один лист с этого божьего дерева, положил за пазуху и пошел на войну. Лист был мал и влажен, но на теле человека он отогрелся, прижался и стал неощутимым, и Степан Трофимов вскоре забыл про него.

Отойдя немного, Степан оглянулся на родную деревню. Мать еще стояла у ворот и глядела сыну вослед; она прощалась с ним в

своем сердце, но ни слез не утирала с лица и не махала рукой, она стояла неподвижно. Степан тоже постоял неподвижно на дороге, в последний раз и надолго запоминая мать, какая она есть — маленькая, старая, усохшая, любящая его больше всего на свете; пусть хотя бы пройдет целый век, она все равно будет его ждать и не поверит в его смерть, если он погибнет.

«Потерпи немного, — произнес ей сын в своей мысли, — я скоро вернусь, тогда мы не будем расставаться».

Старая мать осталась одна вдальке — у ворот избы, за рожью, чтобы ждать сына обратно домой и томиться по нем, а сын ушел. Издали он еще раз обернулся, но увидел только рожь, которая клонилась и покорялась под ветром, избы же деревни и маленькая мать скрылись за далью земли, и грустно стало в мире без них.

Степан Трофимов был обученный, запасной красноармеец. Два года тому назад он отслужил свой срок в армии и еще не забыл, как нужно стрелять из винтовки. Поэтому он недолго побыл в районном городе и с очередным воинским эшелоном был отправлен воевать с врагом на фронт.

На фронте было пустое поле, истоптанное до последней былинки, и тишина. Трофимов и его соседние товарищи отрыли себе ямки в земле и легли в них, а винтовки незаметно, чуть-чуть высунули наружу, ожидая навстречу неприятеля. Позади пустого поля рос мелкий лес, с листвою, опаленной огнем пожара и стрельбы. Там, наверно, таился враг и молча глядел оттуда в сторону Трофимова. У Трофимова стало томиться сердце; он хотел поскорее увидеть своего врага — того тайного человека, который пришел сюда, в эту тихую землю, чтобы убить сначала его, потом его мать и пройти дальше, до конца света, чтобы всюду стало пусто и враг остался один на земле.

«Кто это, человек или другое что? — думал Степан Трофимов о своем неприятеле. — Сейчас увижу его!» И красноармеец глядел в серое поле, далекое от его дома, но знакомое, как родное, и похожее на всю землю, где живут и пахут хлеб крестьяне. А теперь эта земля была пуста и безродна, — что жило на ней, то умерло под железом и солдатским сапогом и более не поднялось расти.

«Полежи и отдохни, — говорил пустой земле красноармеец Трофимов, — после войны я сюда по обету приду, я тебя запомню, и всю тебя сызнова вспашу, и ты опять рожать начнешь; не скучай, ты не мертвая».

Из темного, горелого мелколосья, на той стороне поля, вспыхнул краткий свет выстрела. «Не стерпел, — сказал Трофимов о стрелявшем враге, — лучше бы ты сейчас потерпел стрелять, а то потом терпеть тебе долго придется — помрешь от нас и соскучишься».

Командир еще загодя сказал красноармейцам, чтобы они не стреляли, пока он им не прикажет, и Трофимов лежал молча.

Немцы постреляли еще, но вскоре умолкли, и снова стало тихо, как в мирное время. В поле свечерело. Делать было нечего, и Трофимов за-скачал. Он жалел, что время на войне проходит зря, — надо было бы либо убивать врагов, либо работать дома в колхозе, а лежать без дела — это напрасная трагедия народных харчей. «Вот и ночь скоро, — размышлял Трофимов, — а что толку? Я еще ни одного немца не победил!»

Когда совсем стемнело, командир велел красноармейцам подняться и без выстрела, безмолвно, идти в атаку на врага. Трофимов оживился, повеселел и побежал вперед за командиром. Он понимал, что чем скорее он будет бежать вперед, на врага, тем раньше возвратится назад в деревню, к матери.

В лесу было неудобно бежать и не видно, что делать. Но Трофимов терпеливо сокрушал сапогами слабые деревья и ветки и мчался вперед с яростным сердцем, с винтовкой наперевес.

Чужой штык вдруг показался из-за голых ветвей, и оттуда засветилось бледное незнакомое лицо со странным взглядом, испугавшим Трофимова, потому что это лицо было немного похоже на лицо самого Трофимова и глядело на него с робостью страха. Трофимов с ходу вонзил свой штык вперед, в туловище неприятеля, долгим, затяжным ударом, чтобы враг не очнулся более, и приостановился на месте, давая время своему оружию совершить смерть. Потом он бросился дальше во тьму, чтобы сейчас же встретить другого врага в упор и ударить его штыком насмерть. Командира теперь не было — он, наверно, ушел далеко вперед. Трофимов побежал еще быстрее, желая нагнать командира и не заблудиться одному среди неприятеля. Сбоку, из чащи кустарника, начал бить автомат и перестал. Трофимов повернул в ту сторону, перепрыгнул через пеня и тут же свалился на мягкое тело человека, притаившееся за пнем. Винтовка вырвалась из рук красноармейца, но Трофимову она сейчас не требовалась, потому что он схватил врага вручную; он обнял и молча начал сжимать его тело вокруг груди, чтобы у фашиста сдвинулись кости с места и пресеклось дыхание. Фашист сначала молчал и только старался понемногу дышать, стесняемый красноармейскими руками. «Ишь ты, еще дышит, — сдавливая врага, думал Трофимов. — Врешь, долго не протерпишь — я на гречишной каше вырос и сеяный хлеб всю жизнь ел!»

Слабое тепло шло изо рта врага; замирая, он все еще дышал и старался даже пошевеливаться.

— Еще чего! — прикрикнул Трофимов, выдавливая из немца душу наружу. — Кончайся скорее, нам некогда!

Враг неслышно прошептал что-то.

— Ну? — спросил его Трофимов и чуть ослабил свои руки, чтобы выслушать погибающего.

— Русс... Русс, прости!

Трофимов отказал:

— Нельзя, вы вредные.

— Русс, пощади! — прошептал немец.

— Теперь уж не смогу прощать тебя, — ответил Трофимов врагу. — Теперь уж не сумею... У меня мать есть, а ты ее сгонишь с земли.

Он заметил свою винтовку, она лежала близко на земле; он дотянулся рукой до нее, взял к себе и ударил врага кованым прикладом насмерть по голове.

— Не томись, — сказал Трофимов.

Он поднялся и пошел по перелеску, щупая штыком всюду во тьме, где что-нибудь нечаянно шевелилось. Но всюду было безлюдно и тихо. Немцы, должно быть, ушли отсюда, а может быть, они еще тут, но затаились. Трофимов решил пройти по перелеску дальше, чтобы встретить своего командира и узнать у него, что нужно делать дальше, если враг отошел отсюда. Он прислушался. Лишь вдалеке изредка была наша большая пушка, точно вздыхала и опять замирала в своей глубине спящая земля, а помимо пушечных выстрелов все было тихо. Но в другой стороне, откуда пришел Трофимов, за полями и реками, стояла среди ржи одна деревня; туда не доходила стрельба из пушек и тревога войны, — там спала сейчас в покое мать Степана Трофимова и у последней избы росло одинокое божье дерево.

Автомат ударил вблизи Трофимова. «По мне колотит», — решил Трофимов, и сердце его поднялось на врага; он почувствовал скорбь и ожесточение, потому что раз мать родила его для жизни — его убивать не должно и убить никто не может.

Трофимов побежал на врага, бившего в него огнем из тьмы, и остановился. Он остановился в недоумении, узнав впервые от рождения, что он уже не живет. Сердце его точно вышло из груди и унеслось наружу, и грудь его стала охлажденная и пустая. Трофимов удивился, оттого что ему было теперь не больно и пусто жить и стало все равно, ни грустно, ни радостно, но он еще по привычке человека и солдата сказал: «Зря ты, смерть, пришла, ты обожди — я потом помру», — и он упал в траву и откинул винтовку как ненужное оружие: пусть пропадет в траве и не достанется врагу.

Он очнулся вскоре. Сердце его слабо шевелилось в груди. «Ты здесь?» — с простотою радости подумал Трофимов. Он ощущал себя по телу — оно теперь было усохшее и томное; из раны в груди вышло много крови, но теперь рана затянулась и только тепло жизни постоянно выходило из нее и холодела душа.

— Вы у нас, — сказал Степану Трофимову чужой человек.

— Ты немец, что ль? — спросил Трофимов; он увидел, еще тогда, когда тот человек сказал свои слова, он увидел по одежде и нерусскому звуку языка, говорившего по-русски, что он погиб. «А я не погибну! — решил Трофимов. — Я как-нибудь буду!»

— Говорите быстро, что знаете? — опять спросил его немецкий офицер.

«А что же я знаю? — подумал Трофимов. — Да ничего!» И ответил вслух:

— Я знаю, что хоть все мы в дырья насквозь тела будем прострелены, а все одно твоя сила нас не возьмет!

— Значит, вы знаете вашу силу, — произнес офицер. — В чем же она заключается?

— Чувствую так, стало быть — знаю, — проговорил Трофимов; он огляделся в помещении, где находился: на стене висел портрет Пушкина, в шкафах стояли русские книги. — «И ты здесь со мной! — прошептал Трофимов Пушкину. — Изба-читальня здесь, что ль, была? Потом всему ремонт придется делать!»

— Я спрашиваю, где в ночной атаке находился командный пункт вашей части? — сказал офицер.

— Как где? — удивился Трофимов. — Наш командир впереди меня на фашистов наступал.

— Командир — это вы, — убежденно сказал офицер. — Вы напрасно переделались в солдата.

— Ага, — промолвил Трофимов, — ну, тогда ты отстаешь. Какой же я командир, когда я человек неученый и сам простой?

Немецкий офицер взял со стола револьвер.

— Сейчас вы научитесь.

— Убьешь, что ль? — спросил Трофимов.

— Убью, — подтвердил офицер.

— Убивай, мы привыкли, — сказал Трофимов.

— А жить не хотите? — спросил офицер.

— Отвыкну, — сообщил Трофимов.

Офицер поднялся и ударил пленника рукояткой револьвера в темя на голове.

— Отвыкай! — воскликнул фашист.

«Опять мне смерть, — слабея, подумал Трофимов, — дитя живет при матери, а солдат при смерти», — пришли к нему на память слышанные когда-то слова, и на том он успокоился, потому что сознание его затемнилось.

Вспомнил Трофимов о себе не скоро — в тыловой немецкой тюрьме. Он сидел, скорчившись, весь голый, на каменном полу, он озяб, измучился в беспомощности и медленно начал думать. Сначала он подумал, что он на том свете. «Ишь ты, и там война, и тут худо — тоже не отогреешься», — произнес про себя Трофимов. Но, осмотревшись, Трофимов сообразил, что так плохо нигде не может быть, как здесь, значит, он еще живой.

Он находился в каменном колодце, где свободно можно было только стоять. Вверху, на большой высоте, еще горела маленькая электрическая лампа, испускающая серый свет неволи; в узкой железной двери был тюремный глазок, закрытый снаружи. Трофимов поднялся в рост и опробовал себя, насколько он весь цел. На груди запеклась кровь от раны, а пуля, должно быть, утонула где-то в глубине тела, но Трофимов сейчас ее не чувствовал. Лист с божьего дерева родины присох к телу на груди вместе с кровью и так жил с ним заодно.

Трофимов осторожно, не повреждая отделил тот лист от своего тела, обмочил его слюною и прилепил к стене как можно выше, чтобы фашист не заметил здесь его единственного имущества и утешения. Он стал глядеть на этот лист, и ему было легче теперь жить, и он начал немного согреваться.

«Я вытерплю, — говорил себе Трофимов, — мне надо еще пожить, мне охота увидеть мать в нашей избе, и я хочу послушать, как шумят листья на божьем дереве».

Он опустился на пол, закрыл лицо руками и стал тихо плакать — по матери, по родине и по самому себе.

Потом ему стало легче. Он отер свое лицо и захотел представить себе — какой он есть сейчас на вид. Он давно не видел своего лица — ни в зеркале, ни в покойной, чистой воде. «Сейчас я на вид плохой, зачем мне смотреть на себя», — сказал Трофимов.

Он встал и снова загляделся на лист с божьего дерева. Мать этого листика была жива и росла на краю деревни, у начала ржаного поля. Пусть то дерево родины растет вечно и сохранно, а Трофимов и здесь, в плену врага, в каменной щели, будет думать и заботиться о нем. Он решил задушить руками любого врага, который заглянет к нему в камеру, потому что если одним неприятелем будет меньше, то и Красной Армии станет легче.

Трофимов не хотел зря жить и томиться; он любил, чтоб от его жизни был смысл, равно как от доброй земли бывает урожай. Он сел на холодный пол и затих против железной двери в ожидании врага.

1942

МАЛЕНЬКИЙ СОЛДАТ

Недалеко от линии фронта внутри уцелевшего вокзала сладко храпели уснувшие на полу красноармейцы; счастье отдыха было запечатлено на их усталых лицах.

На втором пути тихо шипел котел горячего дежурного паровоза, будто пел однообразный, успокаивающий голос из давно покинутого дома.

Но в одном углу вокзального помещения, где горела керосиновая лампа, люди изредка шептали друг другу успокаивающие слова, а затем и они впали в безмолвие.

Там стояли два майора, похожие один на другого не внешними признаками, но общей добротой морщинистых загорелых лиц; каждый из них держал руку мальчика в своей руке, а ребенок умоляюще смотрел на командиров. Руку одного майора ребенок не отпускал от себя, прильнув затем к ней лицом, а от руки другого осторожно старался освободиться. На вид ребенку было лет десять, а одет он был как бывалый боец — в серую шинель, обношенную и прижавшуюся к его телу, в пилотку и в сапоги, пошитые, видно, по мерке на детскую ногу. Его маленькое лицо, худое, обветренное, но не истощенное, приспособленное и уже привычное к жизни, обращено было теперь к одному майору; светлые глаза ребенка ясно обнажали его грусть, словно они были живою поверхностью его сердца; он тосковал, что разлучается с отцом или старшим другом, которым, должно быть, доводился ему майор.

Второй майор привлекал ребенка за руку к себе и ласкал его, утешая, но мальчик, не отымая своей руки, оставался к нему равнодушным. Первый майор тоже был опечален, и он шептал ребенку, что скоро возьмет его к себе и они снова встретятся для неразлучной жизни, а сейчас они расстаются на недолгое время. Мальчик верил ему, однако и сама правда не могла утешить его сердца, привязанного лишь к одному человеку и желавшего быть с ним постоянно и вблизи, а не вдалеке. Ребенок знал уже, что такое даль расстояния и время войны, — людям оттуда трудно вернуться друг к другу, поэтому он не хотел разлуки, а сердце его не могло быть в одиночестве, оно боялось, что, оставшись одно, умрет. И в последней своей просьбе и надежде мальчик смотрел на майора, который должен оставить его с чужим человеком.

— Ну, Сережа, прощай пока, — сказал тот майор, которого любил ребенок. — Ты особо-то воевать не старайся, подрастешь, тогда будешь. Не лезь на немца и береги себя, чтоб я тебя живым, целым нашел. Ну чего ты, чего ты — держись, солдат!

Сережа заплакал. Майор поднял его к себе на руки и поцеловал лицо несколько раз. Потом майор пошел с ребенком к выходу, и второй майор тоже последовал за ними, поручив мне сторожить оставленные вещи.

Вернулся ребенок на руках другого майора; он чуждо и робко глядел на командира, хотя этот майор уговаривал его нежными словами и привлекал к себе как умел.

Майор, заменивший ушедшего, долго увещевал умолкшего ребенка, но тот, верный одному чувству и одному человеку, оставался отчужденным.

Невдалеке от станции начали бить зенитки. Мальчик вслушался в их гулкие мертвые звуки, и во взоре его появился возбужденный интерес.

— Их разведчик идет! — сказал он тихо, будто самому себе. — Высоко идет, и зенитки его не возьмут, туда надо истребителя послать.

— Пошлют, — сказал майор. — Там у нас смотрят.

Нужный нам поезд ожидался лишь назавтра, и мы все трое пошли на ночлег в общежитие. Там майор покормил ребенка из своего тяжело нагруженного мешка. «Как он мне надоел за войну, этот мешок, — сказал майор, — и как я ему благодарен!» Мальчик уснул после еды, и майор Бахичев рассказал мне про его судьбу.

Сергей Лабков был сыном полковника и военного врача. Отец и мать

его служили в одном полку, поэтому и своего единственного сына они взяли к себе, чтобы он жил при них и рос в армии. Сереже шел теперь десятый год; он близко принимал к сердцу войну и дело отца и уже начал понимать по-настоящему, для чего нужна война. И вот однажды он услышал, как отец говорил в блиндаже с одним офицером и заботился о том, что немцы при отходе обязательно взорвут боезапас его полка. Полк до этого вышел из немецкого охвата, ну с поспешностью, конечно, и оставил у немцев свой склад с боезапасом, а теперь полк должен был пойти вперед и вернуть утраченную землю и свое добро на ней, и боезапас тоже, в котором была нужда. «Они уж и провод в наш склад, наверно, подвели — ведают, что отойти придется», — сказал тогда полковник, отец Сережи. Сергей вслушался и сообразил, о чем заботился отец. Мальчику было известно расположение полка до отступления, и вот он, маленький, худой, хитрый, прополз ночью до нашего склада, перерезал взрывной замыкающий провод и оставался там еще целые сутки, сторожа, чтобы немцы не исправили повреждения, а если исправят, то чтобы опять перерезать провод. Потом полковник выбил оттуда немцев, и весь склад целый перешел в его владение.

Вскоре этот мальчуган пробрался подалее в тыл противника; там он узнал по признакам, где командный пункт полка или батальона, обошел поодаль вокруг трех батарей, запомнил все точно — память же ничем не порченная, — а вернувшись домой, показал отцу по карте, как оно есть и где что находится. Отец подумал, отдал сына ординарцу для неотлучного наблюдения за ним и открыл огонь по этим пунктам. Все вышло правильно, сын дал ему верные засечки. Он же маленький, этот Сережка, неприятель его за суслика в траве принимал: пусть, дескать, шевелится. А Сережка, наверно, и травы не шевелил, без вдоха шел.

Ординарца мальчишка тоже обманул, или, так сказать, совратил: раз он повел его куда-то, и вдвоем они убили немца — неизвестно, кто из них, — а позицию нашел Сергей.

Так он и жил в полку при отце с матерью и с бойцами. Мать, видя такого сына, не могла больше терпеть его неудобного положения и решила отправить его в тыл. Но Сергей уже не мог уйти из армии, характер его втянулся в войну. И он говорил тому майору, заместителю отца, Савельеву, который вот ушел, что в тыл он не пойдет, а лучше скроется в плен к немцам, узнает у них все, что надо, и снова вернется в часть к отцу, когда мать по нему соскучится. И он бы сделал, пожалуй, так, потому что у него воинский характер.

А потом случилось горе, и в тыл мальчишку некогда стало отправлять. Отца его, полковника, серьезно ранило, хоть и бой-то, говорят, был слабый, и он умер через два дня в полевом госпитале. Мать тоже захворала, затомилась — она была раньше еще поувечена двумя осколочными ранениями, одно было в полость — и через месяц после мужа тоже скончалась; может, она еще по мужу скучала... Остался Сергей сиротой.

Командование полком принял майор Савельев, он взял к себе мальчишка и стал ему вместо отца и матери, вместо родных — всем человеком. Мальчик ответил ему тоже всем сердцем.

— А я-то не из их части, я из другой. Но Володю Савельева я знаю еще по давности. И вот встретились мы тут с ним в штабе фронта. Володю на курсы усовершенствования посылали, а я по другому делу там находился, а теперь обратно к себе в часть еду. Володя Савельев велел мне побережь мальчишку, пока он обратно не прибудет... Да и когда еще Володя вернется и куда его направят! Ну, это там видно будет...

Майор Бахичев задремал и уснул. Сережа Лабков всхрапывал во сне, как взрослый, поживший человек, и лицо его, отошедши теперь от горести и воспоминаний, стало спокойным и невинно счастливым, являя образ святого детства, откуда увела его война. Я тоже уснул, пользуясь ненужным временем, чтобы оно не проходило зря.

Проснулись мы в сумерки, в самом конце долгого июньского дня. Нас теперь было двое на трех кроватях — майор Бахичев и я, а Сережи Лабкова не было. Майор обеспокоился, но потом решил, что мальчик ушел куда-нибудь на малое время. Позже мы прошли с ним на вокзал и посетили военного коменданта, однако маленького солдата никто не заметил в тыловом многолюдстве войны.

Наутро Сережа Лабков тоже не вернулся к нам, и бог весть, куда он ушел, томимый чувством своего детского сердца к покинувшему его человеку — может быть, вослед ему, может быть, обратно в отцовский полк, где были могилы его отца и матери.

МАТЬ (ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ)

Из бездны взываю.

Слова мертвых

Мать вернулась в свой дом. Она была в беженстве от немцев, но она нигде не могла жить, кроме родного места, и вернулась домой.

Она два раза прошла промежуточными полями мимо немецких укреплений, потому что фронт здесь был с перерывами, а она шла прямой, ближней дорогой. Она не имела страха и не остерегалась никого, и враги ее не повредили. Она шла по полям, тоскующая, простоволосая, со смутным, точно ослепшим, лицом. И ей было все равно, что сейчас есть на свете и что совершается в нем, и ничто в мире не могло ее ни потревожить, ни обрадовать, потому что горе ее было вечным и печаль неутолимой — мать утратила мертвыми всех своих детей. Она была теперь столь слаба и равнодушна ко всему свету, что шла по дороге подобно усохшей былинке, несомой ветром, и казалось — ее влечет вперед лишь ветер, уныло бредущий по дороге ей вслед. Ей было необходимо увидеть свой дом, где она прожила жизнь, и место, где в битве и казни скончались ее дети.

На своем пути она встречала врагов, но они не тронули эту старую женщину; им было странно видеть столь горестную старуху, они ужаснулись вида человечности на ее лице, и они оставили ее без внимания, чтобы она умерла сама по себе. В жизни бывает этот смутный свет на лицах людей, пугающий зверя и враждебного человека, и таких людей никому не посильно погубить и к ним невозможно приблизиться. Зверь и человек охотнее сражается с подобными себе, но неподобных он оставляет в стороне, боясь испугаться их и быть побежденным неизвестной силой.

Пройдя сквозь войну, старая мать вернулась домой. Но родное место ее теперь было пустым. Маленький бедный дом на одно семейство, обмазанный глиной, выкрашенный желтой краской, с кирпичною печной трубой, похожей на задумавшуюся голову человека, давно погорел от немецкого огня и оставил после себя угли, уже порастающие травой. И все соседние жилые места, весь этот старый город тоже умер, и стало всюду вокруг светло и грустно, и видно далеко окрест по умолкнувшей земле. Еще

пройдет немного времени, и место жизни людей зарастет свободной травой, его задуют ветры, сравняют дождевые потоки, и тогда не останется следа человека, а все мученье его существованья на земле некому будет понять и унаследовать в добро и поучение на будущее время, потому что не станет в живых никого. И мать вздохнула от этой последней своей думы и от боли в сердце за беспмятную погибающую жизнь. Но сердце ее было добрым, и от любви к погибшим оно захотело жить за всех умерших, чтобы исполнить их волю, которую они унесли с собой в могилу.

Мать села посреди остывшего пожарища и стала перебирать руками прах своего жилища. Она знала свою долю, знала, что ей пора умирать, но душа ее не смирялась с этой долей, потому что если она умрет, то где сохранится память о ее детях и кто их сбережет в своей любви, когда ее сердце тоже перестанет дышать?

Мать того не знала, и она думала одна. К ней подошла соседка, Евдокия Петровна, молодая женщина, миловидная и полная прежде, а теперь ослабевшая, тихая и равнодушная; двоих малолетних детей ее убило бомбой, когда она уходила с ними из города, а муж пропал без вести на земляных работах, и она вернулась обратно, чтобы схоронить детей и дожить свое время на мертвом месте.

— Здравствуйте, Мария Васильевна, — произнесла Евдокия Петровна.

— Это ты, Дуня, — сказала ей Мария Васильевна. — Садись со мной, давай с тобой разговор разговаривать. Поищи у меня в голове, я давно не мылась.

Дуня с покорностью села рядом; Мария Васильевна положила ей голову на колени, и соседка стала искать у нее в голове. Общим теперь было легче за этим занятием; одна старательно работала, а другая прильнула к ней и задремала в покое от близости знакомого человека.

— Твои-то все померли? — спросила Мария Васильевна.

— Все! — ответила Дуня. — И твои все?

— Все, никого нету, — сказала Мария Васильевна.

— У нас с тобой поровну никого нету, — произнесла Дуня, удовлетворенная, что ее горе не самое большое на свете: у других людей такое же.

— У меня-то горя побольше твоего будет: я и прежде вдовая жила, — проговорила Мария Васильевна. — А двое-то моих сыновей здесь, у посада, легли. Они в рабочий батальон поступили, когда фашисты из Петропавловки на митрофаньевский тракт вышли... А дочка моя повела меня отсюда куда глаза глядят, она любила меня, она дочь моя была; потом она отошла от меня, она полюбила других, она полюбила всех, она пожалела одного — она была добрая девочка, она наклонилась к нему, он был больной, раненый, он стал как неживой, и ее тоже тогда убили, убили сверху, от аэроплана... А я вернулась. Мне-то что же теперь! Я сама теперь как мертвая...

— А что ж тебе делать-то! Я тоже так живу, — сказала Дуня. — Мои лежат, и твои легли... Я-то знаю, где твои лежат, — они там, куда всех сволокли и схоронили, я тут была, я-то глазами своими видела. Сперва они всех убитых покойников сосчитали, бумагу составили, своих отдельно положили, а наших прочь отволокли подальше. Потом наших всех раздели наголо и в бумагу весь прибыток от вещей записали. Они долго так заботились, а потом уж хоронить таскать начали...

— А могилу-то кто вырыл? — обеспокоилась Мария Васильевна. — Глубоко отрыли-то? Ведь голых, зябких хоронили, глубокая могила была бы потеплее!..

— Нет, какое там глубоко! — сообщила Дуня. — Яма от снаряда, вот тебе и могила. Навалили туда допоглы, а другим места не хватило. Тогда они танком проехали через могилу, по мертвым, и еще туда положили, кто остался. Им копать желания нету, они силу свою берегут. А сверху забросали чуть-чуть землей, покойники лежат там, стынут теперь; только мертвые и стерпят такую муку — лежать век нагими на холоде...

— А моих-то тоже танком увечили или их сверху цельными положили? — спросила Мария Васильевна.

— Твоих-то? — отозвалась Дуня. — Да я того не углядела... Там, за посадом, у самой дороги, все лежат, пойдешь — увидишь. Я им крест из двух веток связала и поставила, да это ни к чему: крест повалится, хоть ты его железный сделай, а люди забудут мертвых...

Потом, когда уже свечерело, Мария Васильевна поднялась; она была старая женщина, она теперь устала; она попрощалась с Дуней и пошла в сумрак, где лежали ее дети — два сына в ближней земле и дочь в отдалении.

Мария Васильевна вышла к посадку, что прилегал к городу. В посадке жили раньше в деревянных домиках садоводы и огородники; они кормились с угодий, прилегающих к их жилищам, и тем существовали здесь спокон века. Нынче тут ничего уже не осталось, и земля поверху спеклась от огня, а жители либо умерли, либо ушли в скитание, либо их взяли в плен и увели в работу и в смерть.

Из посада уходил в равнину митрофаньевский тракт. По обочине тракта в прежнее время росли ветлы, теперь их война обглодала до самых пней, и скучна была сейчас безлюдная дорога, словно уже близко находился конец света и редко кто доходил сюда.

Мария Васильевна пришла на место могилы, где стоял крест, сделанный из двух связанных поперек жалобных, дрожащих ветвей. Мать села у этого креста; под ним лежали ее нагие дети, умерщвленные, поруганные и брошенные в прах чужими руками.

Наступил вечер и обратился в ночь. Осенние звезды засветились на небе, точно выплакавшись, там открылись удивленные и добрые глаза, неподвижно всматривающиеся в темную землю, столь горестную и влекущую, что из жалости и мучительной привязанности никому нельзя отвести от нее взора.

— Были бы вы живы, — прошептала мать в землю своим мертвым сыновьям, — были бы вы живы, сколько работы поделали, сколько судьбы испытали! А теперь что ж, теперь вы умерли, — где ваша жизнь, какую вы не прожили, кто проживет ее за вас?.. Матвею-то сколько ж было? — двадцать третий шел, а Василию двадцать восьмой. А дочке было восемнадцать, теперь уж девятнадцатый шел бы, вчера она именинница была... Сколько я сердца своего истратила на вас, сколько крови моей ушло, но, значит, мало было, мало было одного сердца моего и крови моей, раз вы умерли, раз я детей своих живыми не удержала и от смерти их не спасла... Они что же, они дети мои, они жить на свет не просились. Я их родила, пускай сами живут. А жить на земле, видно, нельзя еще, тут ничего не готово для детей: готовили только, да не управились!.. Тут жить им нельзя, а больше им негде было, — что ж нам, матерям, делать-то? Одной-то жить небось и не к чему.

Она потрогала могильную землю и прилегла к ней лицом. В земле было тихо, ничего не слышно.

— Спят, — прошептала мать, — никто и не пошевелится, — умирать было трудно, и они уморились. Пусть спят, я обожду — я не могу жить без детей, я не хочу жить без мертвых...

Мария Васильевна отняла лицо от земли; ей послышалось, что ее позвала дочь Наташа; она позвала ее, не промолвив слова, будто произнесла что-то одним своим слабым вздохом. Мать огляделась вокруг, желая увидеть, откуда зовет к ней дочь, откуда прозвучал ее кроткий голос — из тихого поля, из земной глубины или с высоты неба, с той ясной звезды? Где она сейчас, ее погибшая дочь? — или нет ее больше нигде и матери лишь чудится голос Наташи, который звучит воспоминанием в ее собственном сердце?

Потом мать задремала и уснула на могиле.

Полночная заря войны взошла вдалеке, и гул пушек раздался оттуда, там началась битва. Мария Васильевна проснулась, и посмотрела в сторону огня на небе, и прислушалась к частому дыханию пушек. «Это наши идут, — подумала она. — Пусть скорее приходят».

Мать снова припала к могильной мягкой земле, чтобы ближе быть к своим умолкшим сыновьям. И молчание их было осуждением злодеям, убившим их, и горем для матери, помнящей запах их детского тела и цвет их живых глаз...

К полудню русские танки вышли на митрофаньевскую дорогу и остановились возле посада на осмотр и заправку.

Один красноармеец с танка отошел от машины и пошел походить по земле, над которой сейчас светило мирное солнце.

Возле креста, связанного из двух ветвей, красноармеец увидел старуху, прикинувшую к земле лицом. Он склонился к ней и послушал ее дыхание, а потом повернул тело женщины навзничь и для правильности приложился ухом к ее груди. «Ее сердце ушло», — понял красноармеец и покрыл утихшее лицо покойной чистой холстинкой.

— Спи с миром, — сказал красноармеец на прощанье. — Чьей бы ты матерью ни была, а я без тебя тоже остался сиротой.



Анатолий Михайлович Абрамов (1917–2005). Родился в станице Качалинской Области Войска Донского. Литературовед, литературный критик, поэт. Доктор филологических наук, более 50 лет проработал на филологическом факультете Воронежского государственного университета. Член Союза писателей СССР. Автор книги стихотворений и многочисленных литературоведческих и исследовательских трудов. Член редколлегии журнала «Подъём». Участник Великой Отечественной войны, награжден боевыми орденами и медалями.

Анатолий Абрамов

НЕТ ГОРШЕ В МИРЕ НИЧЕГО

«ВЕРНИСЬ!»

Только слово одно
Ты тогда мне сказала...
Это было давно,
Было там, у вокзала.

Возле братских могил,
В незатейливом сквере.
Я тот миг не забыл,
Я по-прежнему верю.

И куда ни ведут
С той поры меня дали,
Помню, где меня ждут,
Где «вернись!» мне сказали.

Это слово одно
Мне навеки священо...
Это было давно,
Но и нынче — нетленно.

1941

ШЕЛТОЗЕРО, 1944

Вот здесь, в июне, на рассвете,
В дни наступленья, в том году
Шли в бой шелтозерские дети,
Чтоб отвести от нас беду.

Я видел вынутые ими
На вознесенском большаке
Противотанковые мины,
А рядом — трупы на песке.

И тут же залитые кровью
Живые —
 в рытвинах по грудь...
Нет, не свинцом,
 они любовью
Бойцам прокладывали путь.

Потом я видел их в санбате —
Культияпки рук и ног в бинтах...
И пусть мне говорят:
 мол, хватит,
Мы это знаем все и так.

Я должен все переупрямить,
Все помнить, бывшее окрест...
Тот, кто зачеркивает память,
На будущее ставит крест.

1945

СИДОР

А вы когда-нибудь мешок,
Солдатский сидор, собирали
На фронт? И сердцем обмирали,
Переступив через порог
С той, кем он чинен-перечинен
Был много раз?.. И вот — прощай!

Все обрывалось.
 Утром ныне
Здесь знали, подступает край:
Последнее «прости» и сидор,
Прилаженный — не на парад...
А вами хоть однажды видан
Был этот горестный обряд?

Вы вышивали тот мешок
Рукой, исколотой от дрожи?
И был неровен тот стежок,
И будто бы он жизнь итожил.

А впереди... Но до сих пор
Суть остается неизвестной —
Что в битве: жизни ли простор
Иль глухота могилы тесной?

И чтоб ни делали потом,
И где б ни были, как ни жили —
Мечтали, плакали, тужили, —
Вам не забыть вовек тот дом.
И тот пирог, и то «прощай»,
И сидор, вынесенный вместе...

Нет, ты меня не угощай,
Солдатка, я с плохой вестью.
Затем я здесь, что сидор этот
Его, и с ним почти два лета
Пришлось солдату воевать.

С ним он шагал любой дорогой,
И в воду и в огонь ступал.
Солдат в сраженье шел — и знал:
С ним теплота души далекой.

И что осталось от него,
Все здесь...

А вы сюда входили
С такую вестью? Вы здесь были?
Вы муку полной мерой пили?
Нет горше
в мире
ничего.



Евгений Иванович Носов (1925–2002). Родился в селе Толмачево Курской области. Участник Великой Отечественной войны. Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии РФ и других престижных премий. Почетный гражданин города Курска. Важнейшие темы его творчества — военная и деревенская. Большой успех имели повесть «Усвятские шлемоносцы», рассказ «Красное вино победы» и многие другие произведения. Награжден орденом Ленина и Отечественной войны, медалями. Многие годы был членом редколлегии журнала «Подъём».

Евгений Носов

КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ

Рассказ

Весна сорок пятого застала нас в маленьком подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплутав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона секло сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым озябшим путейским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.

После серых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь накаты сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах, — после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то

неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную умиротворенную невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша неподвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежащим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельтешенье снега, двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек, белые гипсы, белые бинты, белые халаты сестер и врачей и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки. Белое, белое, белое... Какое-то изнуряющее, цинготное состояние от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь пропитались желто-зеленой жижей тлеющих под ними ран. От них неистребимо тянуло сладковатым духом тления, воздух в палате стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть как-то его уснастить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачихи и школьницы начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергивали их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрасом как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинили, — журила умывавшая нас по утрам старая нянька тетя Зина. — Все мои веники потрепали, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте... С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на Западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, страшная мясорубка крутилась на предельных оборотах, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелоном перед ликвидацией госпиталя. И может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все — и медперсонал и мы, раненые, — со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточно-пруссских укреплений. Нас подобрали в Мазурских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже зем-

ля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже мало-мальского городишки. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении среди этих мрачных болот Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Вместе с жадной победы росло и простое любопытство — посмотреть на страну, сумевшую заглотить чуть ли не половину России. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю нас уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой рощице, куда долетала канонада близкого фронта. Роща была начинена повозками и грузовиками, беспрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — очередь непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его костреч, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, на котором с каждой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палатке разползался незнакомый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты.

Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал что-то в цинковый тазик, пододвинутый к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямлялся и, как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском ручкомойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было и не было условий, чтобы щадить нас этикой милосердия.

Обработанный солдат какие-то минуты еще оставался в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормозить, приговаривая:

— Солдат, а солдат... Солдат, а солдат...

Она произносит это с механической однотонностью, как говорила уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, что длинной вереницей лежали за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везли сюда, и многим другим, которые в этот час находились к западу от сосновой рощи, были еще целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра или через неделю...

— Солдат, а солдат...

Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому. Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очухивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят, сестра ребром ладони смахивает в таз темные студенистые сгустки, оставшиеся после него на клеенке, другая сестра поливает горячей водой из голубого домашнего чайника, третья затирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони.

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посередине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для разжижки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не общались, и когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным одноколейным путям, только что уложенным на жидкую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежачих и подавали на нары консервную жестянку, служившую вместо лазаретной утки.

В Россию въехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые оконца могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезла едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги и было щемяще-радостно узнавание родной стороны по бабыим и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим!» — и, пытаюсь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: «Самосадик я садила, сама вышла продава-а-ть...»

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от пекла войны.

— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовались тоска и зависть.

Войска восточнопрусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Информбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топчут ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло...

— На войне как в шахматах, — сказал Саша. — Е-два — е-четыре, бац! — и нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой. К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе, с высоко задранной ногой.

— Теперь мат будут ставить без нас, — задумчиво продолжал он.

— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед Бородухов.

— Да как-то ни то ни се... Шел-шел и никуда не дошел... Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить.

— Зато дома наверняка будешь. А то мог бы еще и два аршина схлопотать... Под самый конец.

Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весомо и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала, как веревочный гамак. Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закряхтев, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролежала плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворочало, перебило, нарушило и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупновских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои медяки в школьную кассу МОПРа. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих пахло *собственным* трупным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя собственную смерть понять и допустить по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание. Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допус-

кал понимания, что тоже могу превратиться в нечто непостижимое, до- ступное червю и мухе. Пули врага долгое время облетали меня, и я ду- мал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали высокочивших из горящего танка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и но- гами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова караб- каться в своем насекомьем безумии. Мы били по ним болванками с трех- сот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, хотя страху на- гоняла изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, меж тем как проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бег- ством врага, хохотали у орудия. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом сшиб нашу пушку. Он разделал нас каким-то городошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш рас- чет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще ликовало чувство торжества, а быть может, в это са- мое мгновение я даже хохотал над удиравшими танкистами и непроиз- вольно закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями. Видно, в мире все построено на таких вот непредвиденных подножках судьбы.

— А ты не балуй на войне, — резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь. — Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копешкин. У Копешкина перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагрудный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копешкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, торчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпор- ками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «са- молетом». Копешкин, как нам удалось у него дознаться, числился в обо- зе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, летом, если позволяли фрон- товые условия, гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном вся- кую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, каптерское имущество, патронные цинки.

— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.

— Дак какие медали... — слабым сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копешкин. — За езду рази дают...

— Ты, поди, и немца-то до дела не видел?

— Как не видел... За четыре-то года... Повида-а-ал.

— Стрелять-то хоть доводилось?

— Дак и стрелял... А то как же... В окруженье однова попали... Вот как насел немец-то, вот как обложил... Дак и стрелял, куда денешься.

— Убил кого?

— А шут его разберет... Нешто там поймешь... Темень, пальба ото- всюдова.

— Небось перепугался?

— Дак и страшно... А то как же...

— Это где ж тебя так разделало?

— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда... Поехали за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею... Куда колеса, куда что... Обоих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: и бомбили, и чего только не было... А тут вот и получилось нескладно...

В последние дни Копешкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло под гипсовым скафандром, он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, сбритую которую мешали бинты.

Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.

— Ты давай ешь, — наставлял его Бородухов. — Перемогайся, парень. Вон скоро война кончится. Пошто уж теперь зазря гибнуть-то.

Копешкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, и сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.

— Ему бы клюквы надавить, — говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копешкина сестру с тарелкой на коленях. — Дак где ж ее взять. Нежели посылку из дому затребовать? У нас ее сколь хошь. Вот как добро жар утушает, клюква-то.

Как-то раз на имя Копешкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спросил Бородухов. Подернутые температурным нагаром губы Копешкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?

Копешкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.

— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

— Сам хочет, сам, — догадался Самоходка.

— Ежели может, дак пусть сам, — сказал Бородухов. — Своими-то глазами лучше.

Косячок развернули и вставили ему в руки.

Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копешкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал ночью. А может быть, и не спал... Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, надписанными послужившим чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень».

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж, с тем чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито медицинской комиссии, выкроить из этих хромоно-

гих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие там были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места пользовались привилегией: от туда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бессарабского городка Флаешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением округлого лица, на котором примечательны и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза, и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже будучи коротко остриженным под машинку, был золотисто-рыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу, — рассказывала нянька, — а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сынок, стоишь, говорю я ему, давай, милай, помогну. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся... Все, бывало, стоит ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как тяжело переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то поверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копешкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.

— Чего ему? — поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копешкина.

— Спрашивает у Михая, что видно за окном, — разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

— Солнце вижу... Поле вижу... — не оборачиваясь, ответил Михай.

— Далеко? — спрашивает, — переводил я шепот Копешкина.

— Поле? А там... За рекой.

— Какое оно? — говорит. — Что посеяно?

— Зеленое. Хлеб будет.

Копешкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виднелось нам, лежащим у дальней стены, очистившемуся, синему, высокому, чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.

— Дома, люди...

— Девчата ходят?

— Ходят.

— Красивые? — допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

— Ему теперь не до девок, — сказал Бородухов.

— Эх, братья славяне! — с горькой веселостью воскликнул Самоходка. — Мне бы девчоночку! Дошкандыбаю до своей матушки-Волги — такие страдания разведу, елки-шишки посыпятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливых — Саенко и Бугаев, — почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они рассовывали по карманам курево, спички, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаев левую, — упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветреной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадился под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на самую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганистой трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

— Нэ надо... Что тебе стоит?

— Не положено. Кто-нибудь схватит пневмонию. Разве вам мало форточки?

— А! — морщился молдаванин. — Ты послушай, послушай... Птица поет.

Михай культей обнимал Таню за плечи и подводил к подоконнику.

— Слышишь, как поет? А ты говоришь — фортóчка! — Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.

Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы.

Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазых, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, война все еще продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца взвинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно понимали, будто на изломе погоды.

От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было насторожено — и слух, и нервы. Саенко и Бугаев отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газетами. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник. Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай,

разбросав по подушке культи, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошел восьмой день мая и томительно-тихий вечер.

А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, промелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.

— Спишь?

— Да нет...

— Кажется, Дед приехал.

— Похоже — он.

— Чего бы ему ночью...

По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливой слышался сдержанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но и уважали: был он строг и даже суров, но считался хорошим хирургом, и в тяжелых операциях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду, благодаря чему получавший всякие поблажки: лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее, — поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались, почему этот казак поднял тарарам: донец похаживал в общежитие к ткачихам, а потому не хотел появляться перед серпуховскими девчатами в заплатанной пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав, в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста: «Чтобы носить эту Звезду, сказал он ему, одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонаркуком. Его жесткий сухой бас, казалось, про сверливал стены:

— ...выдать все чистое — постель, белье.

— Мы ж тильки змэнили.

— Все равно сменить, сменить.

— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.

— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.

— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всий душою. Всэ, що трэба...

— Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

— Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохи.

— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то... День! День-то какой, голубчик вы мой!

— Та ж яснэ дило... — Шаги и голоса отдалились.

— Бу-бу-бу-бу...

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три

часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время...

Что-то враз обожгло меня изнутри, гулками толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на моем виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.

— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он. — Это, братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаюсь прийти в себя, как об сук, потерся глазом о правый обрубок руки.

— Михай, победа! — ликовал Саенко.

Спрыгнул с койки Бугаев, схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.

— Сашка, проснись!

Бугаев запрыгал к Сашкиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сцапать Бугаева за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаев, тискавая Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная... Победа, а ты дрыхнешь... Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался... Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня... нога привязана... — сопел Самоходка. — Я бы тебе... перо вставил, куда надо...

— Бросьте вы, дьяволы, — окликнул Бородухов. — Гипсы поломаете.

— А, хрен с ними! — потрянул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:

Эх, милка моя,
Юбка лыковая!

Бугаев, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, трясая, будто бубнами, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.

У меня теперь нога
Тоже липовая...

За окном в светлой лунной ночи сочно расцвела малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рыкнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.

— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. — Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего резиновым набалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.

— Это что еще такое? Сейчас же по местам! — Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка! Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая полами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили. — Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети... Бугаев! Подними-

те подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит.

Таня подсела к Копешкину и озабоченно потрогала его пальцы.

— Спице, спице, Копешкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!

Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее. Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он был не властен.

Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые, ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.

Город тоже не спал.

Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежду — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а иные и просто в одном исподнем белье — повалили на улицу. Саенко и Бугаев, распахнув для нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.

— Что там, Михай?

— А-яй-яй... — качал головой молдаванин.

— Что?

— Цветы несут... Обнимаются, вижу... Целуются, вижу...

Люди не могли наедине, в своих домах переживать эту ошеломляющую радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося Михая, послышался девичий возглас «держите!», и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам куцые предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми рукавами.

— Да миленькие ж вы мои-и-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, увидевшая беспомощного Михая. — Ох да страдальцы горемычные-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а...

— Мам, не надо... — долетел взволнованно-тревожный детский голос.

— Ой да сиротинушки вы мои беспонятны-и-и! — продолжала вскрикивать женщина. — Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

— Ну не плачь, мам... Мамочка!

— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится, — уговаривал старческий мужской голос. — Мало ли что...

— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечны-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Музыка звучала торжественно и сурово. Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то тяжелую поступь.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истово, выплескивая еще оставшиеся запасы святой ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острое, пронизывал хор:

Идет война народна-йа-ая-я...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Саша Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку и самого себя. Запел, раскачиваясь туловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за нами песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас.

Оркестр смолк, и сразу же без роздыха, лихо, весело трубы ударили «яблочко». Дробно застучали каблучки.

Эх, Гитлер-фашист,
Куда топаешь?
До Москвы не дойдешь —
Пулю слопаешь...

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.

И уже совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка, —
Ненаглядного ждала
Своего дружочка.
Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их...

Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался: видно, замполит и сам порядочно волновался. Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружеские всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.

— Давай, кто там?! — отозвался Саша Самоходка.

— Разрешите?

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял суконную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. — Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии, — сказал Саша Самоходка. — На нас одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестием по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков... И так, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату вверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящеватом носу. — Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.

— Все будет в лучшем виде, — приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михея сверкающие пуговицы. — Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку... Прекрасно! Можете удостовериться. — Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя. — Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

— Как — чину? — не понял Михай.

— Сержант? Старшина?

— Нэ-э... — замотал головой Михай.

— Он у нас рядовой, — подсказал Саша.

— Это ничего... Если правильно рассудить — дело не в чине.

Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, пришил их к широким плечам Михая.

— Желаете с орденами?

— У него при себе нету, — ответил за Михая Самоходка. — Сданы на хранение.

— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?

— Не надо... — покраснел Михай. — Чужих не надо...

— Какая разница? Если у вас есть свои, то — какая разница? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая деревянным аппаратом на треноге. — Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, не хочу.

— Скромность тоже украшает... Так... Одну секундочку... Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

— «Отечественная», папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— И Славу повесь.

— Можно и Славу. Можно и полного кавалера, — нимало не смутившись, предложил старичок, видимо, поняв, что Саша все обращает в шутку.

— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму, — изумленно хохотал Самоходка, — как же меня с такой ногой? Койка будет видна.

— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке. — Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.

— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка. — А гранату не дашь? Противотанковую?

— Этого не держим, — улыбнулся старичок.

На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения. Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивался и устраивал перекур.

— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.

— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?

— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имел благодарности.

— Тоже «в боевой обстановке»?

— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не налезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья. — Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверю вас: все будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря, нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

— Тогда давайте вы. — Старичок цепким взглядом окинул Копешкина, должно быть, прикидывая, какую можно к нему применить декорацию и бутафорский реквизит, чтобы и этому недвижимому солдату придать бравый вид.

— К нему, дед, не лезь, — сказал строго Бородухов.

— Но, может, он желает?

— Ничего он не жалуется... Не видишь, что ли?

— Понимаю, понимаю, — старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки. — Хотя можно было и его... Что-нибудь придумали б... У меня, знаете, были очень трудные случаи...

— Давай, давай...

— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много другой работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что подделаешь... Теперь нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава Богу, дожили наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бебехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

— Трупоед... — сплюнул Бородухов. Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце. Саенко и Бугаев вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охалками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом зареванная по случаю праздника, с распухшим носом тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие. — Концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки. — Суп-то нынче добрый... Ох ты господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то итажам выбегала, сколь носилок перетаскала и — ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои... Да неужто, думаю, все уже кончилось? Аж не верится. Какую долю вытерпели, какого сапустата одолели. Как вспомню, как вспомню...

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталось...

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

— Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

— З победою вас, товаришчи, — поздравил он усталым, по-детски тонким голоском. — Скильки вас у палати?

— Семеро осталось.

— Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядись.

— Есть, распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку. — Давайте с нами, товарищ начхоз. За победу.

— Ни, хлопци. Нема время. — Он вытер рукавом халата потный лоб. — У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывая в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, вино это досталось ему нелегко.

— Так вы давайте... А то суп охолонет.

— Спасибо.

— Було б за що.

Он ушел.

Саенко медленно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди. Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, как волнующее таинство.

Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.

— Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли... — предложил Саенко.

— Да, давайте.

— Пусть сперва Михай, — сказал Бородухов.

— Верно, пусть он сперва. А то как же ему...

— Это само собой. — Бугаев взял Михаев стакан. — Давай присядь, а то не дотянись.

Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.

— Ну, браток... За Победу?

— Ага.

— Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

— Ну ничего... поехали.

Мы смотрели, как Бугаев, осторожно наклоняя стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.

— Во, парень, — удовлетворенно сказал он. — Это дело. Ничего, наловчишься... — Бугаев вытер пижамным рукавом Михая подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить. — Я знал одного такого, как ты, так он приспособился зубами брать стакан за край и высасывал все до доньшка.

— Вино пить можно. А как теперь его делать будешь! — Михай потрянул узлами рукавов. — Вину руки нужны.

— Ничего, братка! Не падай духом. Жинка поможет.

— Аяй-ай-ай... — Михай покачал головой.

— Ну, будет, будет про это... — прервал Бородухов и степенно провозгласил: — Давайте, ребята, за дальнейшую нашу жизнь выпьем... Как она дальше пойдет... Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копешкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки. Копешкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.

— Ты ему винца всплесни, — посоветовал Саенко.

— Вы что, смеетесь?

— А что? Пусть солдат разговееется.

— Ему же нельзя.

— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

— Не говорите глупостей.

— Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что посошок выпить. Сердца у вас нету.

— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку, — решительным тоном сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.

— Не выпишут — убегу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!

— По дороге потеряешь, — усмехнулась Таня.

— Честное гвардейское, не потеряю! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться. — Саша заметно окосел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами. — Ребята, поехали? — говорил Саша, хмельной и добрый. — Нашими дружками будете. Такую свадьбу сварганим. Эх и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко! А внизу Волга. Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароходы идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

— Не-е, я домой.

— Что у тебя там? Успеешь.

— Как что? — Михай вскинул рыжие брови. — Как что? Не был — не говори.

— Нет, брат, — Самоходка мечтательно уставился в потолок. — Где Волга не течет, там не жизнь.

— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Не пил.

— Квас, знаю.

— Что понимаешь? — горячился Михай. — Давай спорить! Квас, да? Налью тебе кружку, вот такую большую, — он сдвинул культы, показывая, какую кружку нальет Самоходке. — Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду не пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — покачала головой Таня, насильно вливая Копешкину бульон. — Ну съешьте еще ложечку. Горе мне с вами...

— А у нас на Мезени пиво теперь варят. — Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая доньшко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют, — сказал Саенко.

— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени. А пиво я люблю, чтоб с брусникою. — Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену. — Благо! Давно не пивал. — И добавил, задумавшись: — Поди, теперь не из чего варить.

Таня кое-как покормила Копешкина и, сама больше намучившись, ушла. Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль, что еще не посидела с ними. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбередило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаевым, стали рассказывать о Сибири. Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских холов, а Бугаев — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле, — думал я, слушая разговоры. — Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетались по русской земле...»

— Тише, ребята... — Бородухов первый заметил, как Копешкин зашевелил пальцами. — Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

— Пить?

Копешкин отрицательно пошевелил кистью руки.

— Утку?

Припрыгал Саенко, наклонился над ним.

— Ты чего, друг?

Копешкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

— Так, так... Ага, понял... — Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копешкин, расшевеливайся! Вот, молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну и что там у вас?

— Хорошо тоже... — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копешкина.

— Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копешкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копешкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копешкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые... И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза эта где-то не то возле мордвы, не то по соседству с чувашами. Ну, а где эта самая мордва?.. Я и прежде почти никогда не вспоминал, что есть такая территория в России, хотя когда-то сдавал экзамены по географии. Сдал да тут же и позабыл... Где-то там в неведомом краю стоит и копешкинская деревенька с загадочным названием Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копешкина являет она собой центр мироздания. Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов, вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежет молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копешкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картину в руки Копешкина. Тот почувствовал прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с осмысленным вниманием разглядывал рисунок. Потом прошептал:

— Домок прибавь... У меня домок тут... На дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картину.

Копешкин, одобряя, еле заметно закивал восковым, заострившимся носом.

Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаевым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечеряющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, тяжело вздыхая между песнями, и надолго задумывался.

Прислоненная к рукам Копешкина, до самых сумерек простояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копешкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.

Но Копешкина уже не было...

Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михеевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домино. Этого никто не знал.

В сущности, человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголове участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от этих берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одеревенев, иссохшие ноги Копешкина, уложили все это на носилки, накрыли простыней и унесли. Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать кулаками подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную праздную белизну и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже ничто... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копешкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это уже будет не он, а то самое непостижимое ничто, именуемое прахом... «И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. — Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле?» Эта его возможность появления сберегалась тысячелетиями, предки понесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры тайнства, и он наконец родился... Но его срезали осколками, и он снова исчез в небытие... Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскрыют, установят причину смерти и составят акт. Потом его останки свезут на серпуховское кладбище, где для таких, как он, госпиталь арендует угол, и там закопают — без речей, без почетного караула, без прощальных залпов, — закопают, так сказать, «в рабочем порядке», как обычно хоронили по лазаретам ничем не отличившихся солдат.

— Ох ты, грехи наши тяжкие... — проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарями картинку с Копешкиной избой и прислонила ее к нетронутому стакану с вином. — Вот и пожар затушили, а, видно, чадить еще долго будет. Уж больно раскочегарено...

Мы промолчали: разговаривать ни о чем не хотелось.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копешкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой, — такая и стоит она где-то там на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копешкина в госпитальном морге, в окна его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копешкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь тоже знает о победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст Бог, все обойдется...

Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них.

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копешкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил напоследок, — сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне. — Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном, кажется, — сказал Саша.

— Ну... Прости-прощай, брат Иван, — Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копешкин. Вино густо окрасило белую накрахмаленную наволочку. — Вечная тебе память.

Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

1969





Тихон Николаевич Павлов (1920–1980). Родился в Воронеже. Ушел добровольцем на фронт. Несколько раз был тяжело ранен. Бронбойщик сержант Павлов награжден двумя орденами Славы. После войны вернулся в родную Чижовку, а спустя двадцать лет начал писать стихи. Все они были о войне. Последние годы работал бригадиром слесарей на Воронежском шинном заводе. В 1979 году в Центрально-Черноземном книжном издательстве вышел его единственный сборник «Стихи солдата».

Тихон Павлов

МНЕ СНИЛСЯ СОН

* * *

Развернуть бы свиток жизни
и прочесть ее сначала,
чтобы детство,
светом брызнув,
звонким смехом прозвучало.

Чтобы юность
взор туманный
устремляла к горизонту,
чтобы девушке желанной
посылались письма с фронта.

Развернись, о свиток жизни!
Я хочу прочесть с начала
список павших за Отчизну,
изрешеченных металлом.

МАЙОР

Войдет тихонечко в палату,
скрестивши руки на груди,
и шепчет: «Танечка, не надо,
не надо — спящих не буди».

И было так порой неловко,
когда она — наш врач, майор, —
как мать, погладит по головке
тебя в присутствии сестер.

И спросит: «Письма маме пишешь?
Пиши почаще, не ленись...»

И словно мать родную слышишь
и от смущенья смотришь вниз.

Уйдет майор, сутуля спину,
в просторный белый кабинет...
Там на столе есть фото сына,
а самого уж год как нет.

БЫЛА ТИШИНА

*Памяти
младшего сержанта Харина*

Лицо, прикрытое пилоткой.
Как ни зови — не встанет друг.
И беспокойно ходит ротный
и веткой отгоняет мух.

А я лопаткою саперной
срезаю травянистый пласт,
чтоб свежие квадраты дерна
закрыли черной ямы пасть.

Шальную разрывную встретил.
И как она сквозь лес прошла?..
А солнце так над нами светит,
как будто в мире нету зла.

ПРАВЫЙ САПОГ

Внесли два дюжих санитаря
носилки в познаньский вокзал.
Внесли,
поставили на нары,
и я невольно
рядом встал.

Я помню,
вдруг она сказала:
— Влюбился, что ли, землячок?
Наверное, ты добрый малый...
Прикрой, пожалуйста, плечо.

— Куда ж тебя?
— Сама не знаю...
Переобуться бы помог.
Нет сил подняться...
Понимаешь,
проклятый правый
жмет сапог.

В крови засохшей одеяло
я приподнял за уголок.
Где ноги —
 пустота зияла...
«Какой сапог?! Какой сапог?!»

* * *

Солдаты шли не строем —
кучкой,
неловко тыча костыли.
Над ними низенькие тучи
из мокрых нитей
сеть плели.

Как труден путь по косогору!
А дождевая пелена
совсем закрыла мокрый город —
одна лишь улица видна.

Остановились на пороге.
Дождь сеял капли
в тишину...
И молча парень одноногий
прильнул к родимому окну.

Я ЗНАЛ ИХ...

Пожар войны гасили кровью.
Священна кровь солдат тех дней.
Кладут цветы к их изголовью
кто был, кто не был на войне.

Ни речь, ни голос надмогильный
из глаз моих не выжмет слез.
Я знал их, юных, духом сильных,
кто честь страны, как знамя, нес.

Не идеальные — простые,
как все трудяги на земле,
женатые и холостые,
в рассвете сил своих и лет —

табак курили, пили водку,
любили женщин и девчат...
Здесь, на окраине слободки,
святые грешники лежат.

СОН

Приснилось мне:
идут в атаку
три роты,
впереди — комбат.
И странно:
в сизом полумраке
я вижу вновь своих ребят.

Они все живы и здоровы,
никто не ранен,
не убит.
И на снегу
не видно крови,
никто не просит тихо:
«Пи-и-ть!»

И Витька Красиков
от боли
мне не кричит:
«Добей, добей!»
Не дергает
меня за полу
шинели старенькой моей.

Не клацают зловеще
траки,
и гарью
не закрыт закат...
Мне снился сон:
идут в атаку
три роты
и живой комбат.

* * *

Сиреневую даль небес,
поля, луга и огороды,
и этот плес, и этот лес
мы покидаем — мы уходим.

И пусть в прощальный этот миг
склоняется над изголовьем
все то, что отстояли мы
любовью,
мужеством
и кровью.

МОИМ ОДНОПОЛЧАНАМ

Пусть счет моих годов
необратимый
течет во мне,
течет неотвратимо.

Недолюбили мы
своих любимых,
и юность наша
проскользнула мимо.

Но и поныне,
и поныне зримы
лицо Андрея
и лицо Кирима.

Мои однополчане-побратимы,
мы были смертны,
но непобедимы.



Иван Иванович Евсеенко (1943–2014). Родился в селе Займище Щорского района Черниговской области на Украине. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор многих книг повестей и рассказов. Лауреат ряда литературных премий, среди которых — премии им. И.А. Бунина, им. В.М. Шукшина, «Родная речь» журнала «Подъём». Член Союза писателей России. Более 30 лет работал в журнале «Подъём», в том числе в 1997–2006 гг. главным редактором.

Иван Евсеенко

НЕТЛЕННЫЙ СОЛДАТ

Рассказ

Ранней осенью сорок третьего года в этих местах шли тяжелые, не смолкающие ни днем, ни ночью бои. Наши войска хотели во что бы то ни стало до наступления зимних холодов переправиться на правый берег реки Десны и захватить там хотя бы небольшой плацдарм. А немцы всеми силами старались удержаться за рекой, где у них были хорошо оборудованные и укрепленные позиции.

В кровопролитных тех боях солдат и с немецкой, и с нашей стороны погибло несметное число. Хоронить их было особенно некому. Наши войска в конце концов противника одолели и погнали его все дальше и дальше на запад. Погибших красноармейцев предавали земле похоронные команды и уцелевшие местные жители, прятавшиеся во время боев в окрестных лесах. Немцам же и тем более было не до похорон. Под напором Красной Армии они безоглядно бежали несколько суток, пока опять не зацепились и не устроили новую оборону на правом берегу реки Ипути, уже почти на самой границе с Белоруссией. Хоронить погибших, брошенных в спешке на местах гибели немецких солдат и офицеров тоже пришлось нашим похоронным командам, да опять-таки стари-

кам, женщинам и детям-подросткам. Сколько-нибудь приметной разницы в захоронениях бывших врагов-противников не было. На конных, а то и на ручных волокушах, запрягаясь в них по три-четыре человека, убитых свозили в траншеи, блиндажи и окопы и зарывали землей. Различие, пожалуй, было лишь в том, что над могилами наших солдат деревенские жители и бойцы похоронных команд ставили кресты или четырехугольные, вошедшие в воинский обычай пирамидки с жестяными звездочками наверху, а немецкие оставляли без всякого обозначения, сравнивали с землей, жестокосердно, но справедливо, по их преступлениям и злодеяниям поминая фашистских захватчиков-оккупантов недобрым словом: вы хотели нашей земли, так вот она вам, сырая и холодная на веки вечные...

Почти семьдесят лет пролежали погибшие солдаты обеих армий в бывших траншеях, блиндажах и окопах. Одни в непреходящей скорби и памяти, оплакиваемые матерями, женами и детьми-сиротами, а другие в полном заслуженном ими забвении.

Но вот то ли по велению какого высокого, верховного начальства, то ли по собственной воле, никем не понуждаемые, объявились и на левом, и на правом берегу реки небольшие поисковые отряды, которые разрывали густо заросшие теперь лесами, кустарниками и травой бывшие эти траншеи и окопы, чтоб отыскать там хотя бы кости погибших советских солдат (а если повезет, так и узнать их имена) и захоронить уже по-человечески, с отданием всех необходимых воинских почестей. Останки же гитлеровских солдат передавались германской стороне, и их хоронили отдельно на возникающих по обоюдной договоренности России и Германии то там, то здесь немецких кладбищах, несмотря на глухое молчание жителей близлежащих деревень.

Объявился такой отряд и в правобережном селе Березанке, в окрестностях которого когда-то был как раз и захвачен нашими войсками крохотный плацдарм, откуда после началось победное наступление всех подтянувшихся к Десне армий.

Руководил отрядом мужчина лет пятидесяти, Николай Петрович, говорят, участник афганской и чеченской войн, недавно вышедший в отставку в звании подполковника. Ему помогали три крепких молодых парня — Алеша, Витя и Славик, тоже, по слухам, недавние, правда, уже мирного времени солдаты. По всем армейским пехотным правилам они разбили в тени и защите речной уремы палаточный лагерь и принялись за раскопки.

Березанцы нет-нет да и заглядывали на эти раскопки, интересовались, что удалось бойцам добровольного отряда отыскать на месте давних боев. Чаще других повадился ходить к поисковику, прикипел, считай, к ним всей душой непоседливый, разговорчивый старичок, по деревенскому прозвищу — Прошка. Звали его на самом деле не Прохором и не Прокофием, как поначалу подумали было поисковики, а Егором Дмитриевичем. Но об этом мало уже кто в Березанке и помнил. Весь деревенский его род прозвался Прошками, должно быть, в память какого-нибудь древнего зачинателя этого рода, действительно Прохора или Прокофия. Прошка на прозвище свое не сетовал, охотно откликался на него, похоже, и сам забыв даденное ему по крещению имя. Необидно ласковое прозвище даже больше подходило к нему, чем строгое крестительное имя: Егор, Георгий. Росточка он был невысокого, щупленький, худенький, но жилистый и не в меру говорливый, хотя, казалось бы, при его ремесле

столяра и плотника, которыми Прошка владел в великом умении, ему полагалось бы быть молчаливым и задумчивым.

Но Прошка был иным. По возрасту своему (ему шел уже семьдесят шестой год) он был домочадцами — женой, гораздо моложе его по годам, сыном, невесткою и двумя взрослыми внуками — почти полностью освобожден от всех домашних обязанностей и забот и безотлучно целые дни проводил с поисковиками. Веселил их несмолкаемыми разговорами, давал дельные, а иногда так и не очень, советы, где, в каких местах и в каком направлении надо вскрывать землю, вспоминал военные годы, когда он совсем еще мальчишкой вместе с матерью занимался похоронными работами, водил под узду запряженную в волокушу лошадь. Но особенно любил Прошка посидеть с поисковикам поздно вечером возле костерка, выпить с ними по рюмочке, обсудить прошедший трудовой день, повнимательней рассмотреть найденные трофеи: насквозь проржавевшие наши и немецкие автоматы и винтовки, каски, позеленевшие латунные бляхи от ремней, опять-таки, наших и немецких солдат. наших — с пятиконечной лучезарной звездой, а немецких — с угрожающей и кощунственной надписью: «Gott mit uns», что означает «С нами Бог». О найденных же солдатских останках, костях и черепах, говорили редко. Разложенные по дощатым ящичкам, (наши — отдельно, немецкие — отдельно, хотя, может быть, и ошибочно: человек, он только при жизни отличим друг от друга внешним своим обликом, дарованным ему от рождения языком-речью, да одежками, а по смерти, прахом своим, костями и черепом одинаков — они разговора и обсуждения не требовали.

* * *

За два месяца работы поисковики на месте боевых действий противоборствующих армий, немецкой — захватнической, и Красной — освободительной, солдатских останков нашли немало. Имена погибших, правда, удалось установить лишь в двух случаях: ножами или какими-нибудь иными остро заточенными инструментами-орудиями они были глубоко и аккуратно нацарапаны на немецких похожих на шлемы тевтонских псоврыцарей касках. Наши же все беспечные солдатки так и остались безымянными.

В конце августа поисковики собрались из Березанки уезжать. Они заметно уже притомились тяжкими своими трудами, да и по их прикидкам все, что можно было вырыть и найти на заливных пойменных лугах, на приготовленных уже к осенней пахоте полях и огородах, в березовых рощах и сосновых борах, они нашли и вырыли. К тому же и отпуска, в счет которых поисковики занимались изысканиями, у них заканчивались.

Прошке расставаться с поисковиками было огорчительно и жалко: где он еще найдет таких внимательных и усидчивых слушателей? От скорой разлуки с новыми своими друзьями и товарищами Прошка горестно вздыхал, печалился, стал даже приходить на раскопки с березовым посошком, чего раньше за ним не водилось: он без всякого посошка и подмоги был еще проворен и легок в шаге.

И вот в один из последних перед расставанием вечеров, сидя с поисковиками возле костерка, Прошка, прервав обычные свои затяжные разговоры-повествования, вдруг попросил их:

— Ребята, вы бы копнули еще вон там, возле старого глинища.

Шатким сучковатым посошком он указал при этом далеко в сторону от бывших траншей и окопов, где, примыкая к смешанному березово-хвойному лесочку, действительно виднелось давно заброшенное и заросшее негустой полынью глинище.

— А что там может быть? — не очень заинтересованно переспросил его Николай Петрович, кажется, легко разгадав незамысловатую хитрость деда Прошки.

— Все может! — воодушевился тот и начал в который уже раз рассказывать о том, как в сорок третьем году, когда наши войска захватывали плацдарм, он с матерью и другими березанцами прятался именно в этом лесочке, за глинищем. Но к прежним своим рассказам Прошка добавил теперь одну подробность, которая раньше ему не вспоминалась. С уверенностью бывалого, опытного солдата он принялся вспоминать достоверную эту подробность о том, как наши бойцы цепью, правым ее краем (в пятидесятых годах Прошка служил в пехоте и считал себя большим знатоком пехотных цепей и построений), бежали вдоль глинища, а немцы, подпустив их поближе, открыли встречный, заградительный огонь. Красноармейцев и командиров полегло там немало. Женщины, старики и дети на волокушах привезли оттуда к братской могиле человек, наверное, пятнадцать, но многие могли остаться и под землей, засыпанные глиной.

— Надо бы копнуть, — заключил он основательный свой рассказ.

— Ладно, — не стал обижать Прошку Николай Петрович. — Завтра с утра поглядим...

* * *

Обещание свое Николай Петрович выполнил. Едва Прошка появился возле палаточного лагеря, он позвал Алешу, Витю и Славика и пошел вслед за настырным проводником к глинищу с необходимым для раскопок снаряжением: металлоискателем, разных размеров лопатами (штыковыми, совковыми и особой закалки и остроты — стальными, саперными), длинными железными штырями и даже с небольшой удобной складывающейся лесенкой на тот случай, если придется вдруг опускаться глубоко вниз разрытых ячеек.

По указке Прошки Николай Петрович, самолично вооружившись металлоискателем, стал переходить от одного места к другому, внимательно прислушиваться, не раздастся ли в наушниках обнадеживающий прерывистый сигнал, да на всякий случай поглядывать на заброшенные шурфы-колодцы глиняных выработок, в которые ничего не стоило провалиться. Но металлоискатель помалкивал, ничего не обнаруживая под землей. Ничего не находили там и помощники Николая Петровича, хотя, опять-таки, по подсказке Прошки, со всем прилежанием и тщательностью обследовали длинноколющими штырями заросшие луговой овсяницей и осокой подступы к глинищу.

Неразгибно трудились поисковики, ведомые Прошкой все утро, но часам к одиннадцати, когда солнце поднялось уже над речной уремой и разгорелось по-августовски жарко, они решили к великому его огорчению и расстройству работы сворачивать — больше искать было вроде бы негде, да и понапрасну.

Николай Петрович и притомившиеся ребята собрались под высокой, начавшей уже в преддверии осени кое-где желтеть листом березой, чтоб, немного передохнув, возвращаться в лагерь и готовиться к отъезду из

Березанки. Прошка больше поисковиков не останавливал и не уговаривал. Он тоже подошел к березе, повинно присел на песчано-глинистом бугорке и, прерывисто вздыхая, принялся перебирать в памяти детские свои видения, задним числом сомневаться — бежали здесь, вдоль глинища, захватывая плацдарм, красноармейцы или не бежали. Но чем больше Прошка думал и вспоминал, тем все сильнее укреплялся в вере, что все ж таки бежали и он в заблуждение поисковиков не вводит.

Белоствольной раскидистой березы, под которой поисковики сейчас собрались, тогда на опушке глинища не было. Она объявилась и проросла самосевом много позже, после войны, а в сорок третьем году от глинища, уже и тогда наполовину заброшенного, и до самой окраины села простиралось открытое луговое пространство. Малый, но зоркий и ко всему внимательный Егорка-Прошка никак ошибиться не мог: низко пригибаясь к земле и выбрасывая далеко вперед длинноствольные винтовки и автоматы с круглыми патронными дисками, красноармейцы все бежали и бежали вглубь этого пространства, а немцы, стараясь остановить их, все плотнее и плотнее стреляли из орудий и минометов. Земля от разрывов вздымалась на дыбы, гудела и дрожала, казалось, сама готовая взорваться. В этих земляных смерчах и пороховом дыму красноармейцы на минуту исчезали, падали, но когда земля оседала, а дым рассеивался, они опять, пусть и меньшим уже числом, поднимались и неудержимо бежали вперед.

Николай Петрович, впервые увидев Прошку столь задумчивым и молчаливым, подошел к нему поближе и присел рядышком, намереваясь утешить старика каким-нибудь ободряющим товарищеским словом. Длинный, будто сенные грабли, металлоискатель с насадкой на конце он положил чуть в стороне, в тени березы, так, чтоб тот не грелся и не раскалялся на солнце. Подыскивая необходимые для Прошки утешительные слова, Николай Петрович начал было закуривать сигарету и вдруг бросил ее незажженную на землю и встревожено вскинул голову. Из наушников, лежащих на травянистой кочке, доносился едва слышимый, но настойчивый сигнал, словно кто-то невидимый давал из-под земли о себе знать азбукой Морзе.

Николай Петрович подхватился на ноги, надел наушники и, приказав всем собравшимся возле березы, пребывать в полной тишине и молчании, стал сантиметр за сантиметром обследовать возвышающуюся бугорком у ее подножья луговую задернившуюся площадочку. Прошка, несмотря на его запрет, тоже подхватился и, пристроившись рядом, шепотом, вполголоса спросил:

— Есть что-нибудь?

— Похоже, есть! — на мгновение отвлекся от прослушивания Николай Петрович.

— Я же говорил, — совсем воодушевился, продвигаясь за ним шаг в шаг, Прошка, — надо копнуть...

— Копнем, — заверил Прошку Николай Петрович и, чтоб окончательно рассеять и свои, и его сомнения, протянул Прошке наушники.

Тот проворно перенял их и, спрятав за пазуху дарованную ему внуками бейсболку с длинным укрывающим от солнца глаза козырьком и какими-то непонятными иноземными надписями, приладил пружинчатую дужку поверх седеньких истончившихся волос. Наушники минутами помолчали, как будто собираясь с силами, а потом зашлись в непрерывном тревожном сигнале, который все усиливался и усиливался по

мере того, как Николай Петрович, обойдя бугорок по кругу, остановил насадку металлоискателя в самом его центре. Теперь уже Прошка, погрозив пальцем и Николаю Петровичу, и Алеше с товарищами, чтоб они стояли, не шевелясь, потуже прижал ладонями к вискам наушники, и ему вдруг показалось, что оттуда, из-под земли, сигналы эти подаются специально для него, старого Прошки, как бы в награду за то, что он с самого начала был тверд и непоколебим в своей вере насчет глинища, где находка обязательно должна была обнаружиться.

Когда же Прошка вдоволь наслушался стонущих подземных сигналов и сказал про себя тому, кто подавал их: «Потерпи маленько, потерпи, сейчас добудем», Николай Петрович распорядился своим помощникам:

— Копайте вот так — по кругу.

Алеша, Витя и Славик, вооружившись лопатами, тут же принялись выполнять его приказание. Первым делом они сняли травянистый дерн и уложили его рядком под березой. Прошка еще в начальные дни раскопок заметил, что и Николай Петрович, и его подчиненные (особенно самый старший из них — Алеша) относятся к земле с полным бережением и ответственностью. Выкопав яму и отыскав в ней все, что можно было отыскать, они зарывали ее обратно и обязательно укладывали поверх сырого потревоженного грунта цельнотравяной дерн. Прошка такое поведение поисковиков всемерно одобрял и поддерживал. Земля здесь еще со времен войны вон как повреждена и изуродована. Раненая, а местами, так и вовсе убитая, мертвая земля. Столько лет прошло с той погибельной поры, а она никак не может залечить свои раны и воскреснуть к новой плодородной жизни.

Вслед за дерном на два-три штыка шла сухая серо-сыпучая супесь, а потом вдруг показалась красная с белыми прожилками и отливами глина. По краям намеченной ячейки она была каменно-твердой, веками слежавшейся в пласты и глыбы, а в самой середине, по центру, тоже сыпуче-рыхлой, и довольно легко поддавалась штыковым и совковым лопатам.

Работали ребята споро и опытно, вначале все втроем, а когда ячейка углубилась до коленей, уже поодиночке, часто подменяя друг друга, чтоб было сподручней и вольней разворачиваться в ней и выбрасывать на поверхность глину. Разгорячившись, ребята снимали рубахи и майки и теперь блестя на жарком солнце загорелыми за лето до жгуче-коричневой темноты мускулисто-натренированными телами.

— Молодцом, ребята, молодцом! — поощрял землекопов Прошка, поочередно заговаривая то с одним, то с другим, то с третьим.

В молодые свои годы он тоже был мускулисто-крепеньким, упорным и тягловым в работе. Летом, когда доводилось артельно рубить дома или заниматься на свежем воздухе каким-либо иным плотницко-столярным мастерством, Прошка непременно снимал рубаху и майку, и старшие его по возрасту напарники точно так же завидовали его силе, здоровью и загорелому, не знающему усталости телу. Теперь же дряхлый и ослабевший Прошка (чего уж тут попусту хорохориться!) нескрываемо тосковал по настоящей мужской работе и несколько раз порывался спуститься в ячейку, чтоб, завладев лопатой, в полную силу потрудиться, тем более при такой, считай, похоронной работе, которую, может быть, надлежало бы свершать именно старому, пожилому человеку.

Но Николай Петрович каждый раз останавливал его, словно берег для каких-то иных, еще более ответственных дел.

В перерыв, когда ребята сменялись в яме, Николай Петрович опускал в красно-горячую ее глубину металлоискатель, напряженно прислушивался к его то отрывисто-кратким, то, наоборот, протяжно-длинным сигналам и подбадривал неутомимых работников:

— Ближе уже.

Но было вовсе еще и не близко. Ребята, углубляя и расширяя ячейку, проходили штык за штыком, но ничего в ней пока не отыскивалось: ни латунно-медной пряжки от солдатского ремня, ни разрозненных деталей винтовок и автоматов, ни даже стреляных гильз, которые в других местах встречались чаще всего. Прошка не на шутку обеспокоился таким обстоятельством и, подступая поближе к Николаю Петровичу, принимался подсказывать ему:

— Левее надо было взять! Левее!

— Возьмем и левее, — успокаивал Прошку Николай Петрович и опять опускал в ячейку металлоискатель, не дожидаясь даже пересменки ребят.

И вот во время одного из таких погружений металлоискатель зашелся в неостановимом пронзительном сигнале.

— Осторожнее! — крикнул Николай Петрович работающему в эти минуты в ячейке Алеше.

Но тот уже сам, без всякого напоминания Николая Петровича понял, что надо работать осторожней и бережливей. Он отбросил в сторону лопату, опустился на колени и начал где ладонями, а где одними только чуткими, ловкими пальцами разгребать сухую даже здесь на полутораметровой глубине глину.

Все остальные работники во главе с Николаем Петровичем сгрудились наверху, у самого обрыва ячейки, понапрасну стараясь определить, что там проявляется под ладонями и пальцами Алеши. Но пока ничего не было видно: вздрагивающей своей от напряженной работы и учащенного дыхания спиной он застил все днище раскопок.

Прошка, нарушая приказания Николая Петровича, самовольно вздумал было спуститься по лесенке Алеше на подмогу, но тот наконец разогнулся, отпрянул спиной к холодной глиняной стенке и, с трудом сдерживая волнение, проговорил сдавленным тревожным полусшепотом:

— Смотрите...

Все глянули и в первое мгновение не могли сказать в ответ Алеше ни единого слова. Даже словоохотливый, непоседливый Славик и тот затих, не в силах ничего произнести и выговорить. Горячий, яркий луч солнца, пробившись сквозь зелено-багряную занавесь березовых ветвей и листьев, осветил на дне ямы молодое, не тронутое тлением лицо погибшего в бою солдата. Было оно худым и изможденным, но не землисто-серым, каким обычно бывает у умерших людей, а светло-коричневым, загорелым, совсем, как у Алеши, Вити и Славика.

Раньше других опомнился и пришел в себя Николай Петрович.

— Ничего не трогай и вылезай наверх! — отдал он приказание Алеше.

Тот беспрекословно подчинился этому приказанию, выбрался на поверхность и, переводя дыхание, тяжело присел на глиняной насыпи. Долговязый Витька протянул Алеше фляжку с водой, а Прошка тут же вытащил из-за пазухи бейсболку, аккуратно расправил ее и передал Алеше, чтоб тот мог прикрыть от солнца и ветра-сквозняка разгоряченную во время работы голову. Алеша ни от фляжки, ни от внимания Прошки не отказался. Он долго взахлеб пил воду, пока фляжка не опорожнилась до

самого доньшка, потом натянул бейсболку на голову и теперь уже с высоты глиняного бугорка посмотрел на лицо обнаруженного им солдата.

— Надо же! — все так же, полушепотом, словно робея собственного голоса, произнес он. — Сроду такого не было...

— По Божией воле и промыслу, — легонько и успокоительно прикоснулся к плечу Алеши заскорузлой стариковской ладонью Прошка, — может быть еще и не такое.

Николай Петрович вмешиваться в их переговоры не стал. Добыв из рабочей походной сумки обыкновенный мастерок-кельму, которым пользуются печники-каменщики и целый набор разных по размеру кисточек, он спустился по лесенке в ячейку. Точно так же, как и Алеша, Николай Петрович встал вплотную к стенке на колени и принялся кельмой и кисточками дальше высвобождать из глиняного плена солдата. Алеша со своего бугорка, а Прошка с Витькой и Славиком, пристроившись на противоположном обрыве ячейки, неотрывно следили за каждым его движением. Из-под рук Николая Петровича вначале показалась по-юношески тоненькая шея, потом белым-белая гимнастерка с погонами рядового бойца Красной Армии. Судя по этой гимнастерке, воевал он давно, по крайней мере, все лето, и она выгорела на палящем солнце до первоизданной холщевой белизны. На ремне, туго защелкнутым на талии пряжкой с потемневшей, но все равно хорошо различимой звездой, были приторочены — с правой стороны подсумок и точно такая же, как у поисковиков, алюминиевая фляжка, а с левой, выглядывая из-за бедра, — саперная стальная лопатка. Брюки-галифе у солдата тоже были выгоревшими до белизны и, чувствовалось, немало уже ношенные, в нескольких местах наспех зашитые широкими стежками. Обут красноармеец был в грубые солдатские ботинки с идущими почти до самых коленей обмотками, удивительным образом сохранившими зеленый защитный цвет.

Широко, вразлет разметанные руки солдата Николай Петрович высвободил из-под глины в самом конце раскопок, и тут обнаружилось, что в правой ведущей руке тот держит крепко зажатую ладонью за цевье винтовку-трехлинейку, а левую в последнее мгновение жизни обронил вольно, словно давая ей отдохнуть от тяжелых солдатских трудов.

Но больше всего поразили и Николая Петровича, и заглядывающих в ячейку ребят, и Прошку березовые розоватые корни, которые охранно оплели солдатское тело по груди и поясу. Казалось, они навечно связывают его с землей и ни за что не хотят отпускать наверх.

— Подайте секатор! — разгибаясь в полный рост, попросил Николай Петрович.

Алеша, уже воспрянувший духом после минутного забвения, протянул ему обыкновенный садовый секатор на длинных ручках, который на такой вот случай, когда приходилось в глубине раскопанной ячейки обрезать корни деревьев и кустарников, в запасе у поисковиков был.

Николай Петрович перехватил секатор и, опять припав на колени, осторожно и умело обрезал коренья. Витя и Славик забрали их у него и отнесли за глиняную насыпь в заросли полыни, чтоб они не мешали в дальнейшей работе. Корни были еще живые, наполненные соком, но отсоединенные от березового ствола, как-то сразу померкли, потеряли упругость и жертвенно легли в полынные белесые заросли.

Пока ребята относили обрезки корней, Николай Петрович мягкой невесомой кисточкой обмел с груди солдата густо обронившиеся на нее комочки глины. Когда же он кисточку отнял, то все увидели, что на ле-

вой стороне груди солдата, захватывая и накладной, застегнутый на пуговку карман темнеет широкое с рваными краями пятно. Глядя на это пятно и разметавшиеся в предсмертном шаге руки, нетрудно было догадаться и понять, как солдат погиб. Вражеская свинцовая пуля попала ему в самое сердце. Солдат запнулся на стремительном своем бегу, взмахнул руками и упал навзничь в глубокий глиняный шурф, через который всего за мгновение до этого перепрыгнул. От близкого разрыва снаряда глина рядом с шурфом вздыбилась и навсегда засыпала, похоронила его в отдельной, единолично доставшейся только ему могиле. Потом год за годом поверх глиняной насыпи влажным, речным, и суховеиным, полевым, ветрами нанесло тоненький слой плодородного грунта; он пророс луговой овсяницей, осокой, неброскими цветами (по большей части желто-горячими лютиками), которые невидимо сокрыли могилу, не обозначенную ни православным крестом, ни пирамидой-звездочкой, ни хотя бы сколько-нибудь приметным бугорком-холмиком.

Освободив грудь солдата от березовых корней и глиняных комьев, Николай Петрович уже хотел было подниматься по лесенке наверх, чтоб обсудить с Прошкой и ребятами, как поступать с обретенным солдатом дальше, но вдруг в прорези растегнутой его гимнастерки он заметил ярко блеснувший и будто загоревшийся под лучами проникшего в глубину ячейки солнца огонек-искорку. Николай Петрович замедлил шаг, снова низко склонился над солдатом и бережно извлек из прорези гимнастерки вначале серебряный крестик, покоившийся тоже на серебряной тонкого плетения цепочке, а потом изготовленную в виде махонькой дощечки (опять-таки из серебра) иконку-ладанку. Солнечный луч, обходя плечо Николая Петровича, высветил на крестике не помутневшее ни единой черточкой за долгие годы лежания в подземелье распятие, а на ладанке такой же чистоты и ясности икону Тихвинской Божией Матери, извечной заступницы и охранительницы воинства. Удерживая обе находки на ладони, Николай Петрович перевернул ладанку тыльной стороной и вдруг обнаружил там надпись.

— Самохин Иван Тихонович, — вслух начал читать он, — тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения, село Знаменка, Ярцевского района, Смоленской области.

Прошка и ребята-поисковики, затаив дыхание, внимали голосу Николая Петровича да издалека смотрели на серебряный нательный крестик солдата и словно обновившуюся в лучах утреннего солнца икону Божией Матери.

Наконец Прошка глубоко, но как-то по-стариковски робко вздохнув, прервал это молчание:

— Комсомолец, должно быть, а верил...

— На войне все верят, — тоже утишив голос, из темноты ячейки отозвался Николай Петрович, сам побывавший на двух войнах, раненный там и контуженный.

Он вернул крестик и иконку-ладанку на прежнее их место и попробовал извлечь из левого нагрудного кармана убитого солдатскую книжку и комсомольский билет, чтоб прочитать и там фамилию, имя и отчество солдата и удостовериться, что они точно такие же, как и на тыльной стороне ладанки. Но ничего из попыток у Николая Петровича не вышло: солдатская книжка и комсомольский билет были повреждены, разорваны пробившей их пулей и густо, нечитаемо, залиты кровью. Он обратно застегнул на кармане пуговку, разгладил образовавшуюся складочку, но

прежде чем шагнуть к ладанке, еще раз, теперь уже про себя, повторил для более прочного и твердого запоминания отчетливо обозначенные на ладанке слова. Похоже, бумажным легко уничтожаемым документам, погибший солдат не особенно доверял, а вот надписи на ладанке верил крепко и незыблемо.

Призван он был на фронт (или ушел добровольно, как уходили тогда многие его нетерпеливые ровесники, едва-едва успевшие окончить школу-десятилетку), скорее всего, еще до оборонительных тяжелых боев у стен Смоленска и занятия его немцами.

Серебряный нательный крестик и иконку Тихвинской Божией Матери-Заступницы, несмотря на комсомольские его клятвы, тайком надела на грудь своему, может быть, и единственному неудержимо рвущемуся на войну сыну Ивану, Ване, мать. В минуту разлуки, перед отправкой в Ярцево пешим порядком или на какой-нибудь шаткой колхозной телеге, мать крепко обняла его, поцеловала и осенила напутственным крестным знаменем.

И вот это крестное знамение, нательный серебряный крестик, иконка-ладанка, материнское объятие, поцелуи и слезы почти два долгих года хранили Ивана от гибели. Не каждому солдату, тем более солдату-пехотинцу, выпадала на войне такая участь и такое счастье. Смертельная вражеская пуля настигла его лишь осенью сорок третьего года на правом берегу реки Десны, у старого заброшенного глинища, совсем уже неподалеку от родной его Смоленщины.

— Что будем делать? — выбравшись из ячейки, обратился почему-то к одному только Прошке Николай Петрович.

— Как что, — еще раз острым, пронзительным взглядом окинул тот недвижимо и выжидательно лежащего на дне глиняного склепа солдата. — Надо позвать из церкви отца Михаила.

— Пожалуй, что и верно, — согласился с ним Николай Петрович и тут же отдал приказание всегда быстрому на ногу Славику: — Сбегай в храм, позови батюшку.

Славику дважды повторять приказание не надо было. Он накинул майку и нацелился было мчаться к церкви, что виднелась голубой маковой поверх деревенских крыш и деревьев на высоком холмике, рядом со школой. Но совсем неожиданно объявились в подмену Славику еще более проворные гонцы и посланники. Мимо глинища, от реки в деревню, шли с удочками в руках мальчишки, большие охотники до утренней рыбалки и купания. Заметив под березой деда Прошку и поисковиков, с которыми они за лето, часто бывая на раскопках, успели хорошо подружиться, знали всех поименно и пофамильно, свернули туда с наторенной луговой тропинки. Прошка вздумал было поначалу не пускать их к разрытой ячейке, боясь, что мальчишки заробеют при виде обретенного солдата, но те, ловко ускользнув от деда, без всякого позволения просочились к глиняной насыпи и заглянули вниз. Заробели, приметно даже побелев личиками, только самые маленькие, дошкольного еще, почти младенческого возраста ребята, а те, что постарше, глядели безбоязненно и внимательно. Они лишь непривычно для себя примолкли и, соприкасаясь высоко над головами ореховыми гибкими удочками, потеснее сошлись у насыпи. Прошка, видя стойкую храбрость мальчишек, простил им их непослушание и вместо Славика, который мог в любую минуту понадобиться возле ячейки, вызвал к себе самого старшего и надежного по возрасту рыбака и купальщика.

— Василек, — быстро признав, чей мальчишка, какого деревенского рода и фамилии, наказал он ему, — беги в церковь и скажи отцу Михаилу, чтоб немедленно шел сюда — найден, мол, нетленный солдат.

Василек, Васька, ощутило гордьясь, что поручение дано именно ему, бросил свою удочку и лозовую снизку с рыбой — плотвичками, красноперками и окуньками, в траву и прямо по лугу, чтоб спрямить и ускорить дорогу, побежал в деревню.

Остальные мальчишки, отпрянув от ячейки, окружили плотным кольцом Алешу, Витю и Славика и начали вполголоса, с оглядкой на Николая Петровича и Прошку, которых все ж таки немного побаивались, расспрашивать, как отыскался в земле солдат и почему он лежит, будто живой.

Николай Петрович тем временем принялся звонить по диковинному для Прошки, умещающемуся целиком в ладошке мобильному телефону.

— Ты куда это?! — поинтересовался Прошка.

— В военкомат.

— И зачем?

— Ну, как — зачем?! — престал колдовать над мобильником Николай Петрович. — Солдата все-таки нашли, без военкомата нельзя.

— Эт ты зря! — осудил его Прошка. — Сейчас налетят вороньем, все испортят.

— Что испортят?! — не совсем понял Николай Петрович.

— А все и испортят, — еще более туманно и обиженно ответил Прошка.

Николай Петрович вступать в дальнейшие собеседования с ним поостерегся, зная, что Прошка в иных случаях бывает на редкость неуступчивым и твердым. Опять прижав телефон к уху, он отошел за глиняную насыпь, в заросли полыни, где ему никто не мог помешать, и стал по-военному четко докладывать в военкомат о неожиданной находке в селе Березанке, на краю заброшенного глинища.

— Сейчас подьедут, — закончив разговор, известил он Прошку, надеясь, что тот смягчится и поймет Николая Петровича, который по-иному поступить никак не мог. Раскопки повсеместно велись, хоть и не под очень настойчивым, но все-таки присмотром военкоматов, и доложиться туда полагалось и по военному уставу, и по гражданскому закону.

— Пускай едут, — действительно немного оттаял душою и как бы даже пренебрег известием Николая Петровича Прошка.

Прикрываясь ладонью от встречного солнца, он принялся дальнорочно высматривать не появится ли на тропинке отец Михаил. С полчаса никого видно не было: тропинка и луг гляделись пустынными и заброшенными, будто по ним никто и никогда не хаживал. Но вот из-за лозовых низкорослых кустов, окаймлявших деревенские огороды, показался вначале Васька-гонец, а потом, почти ни на шаг не отставая от него, и отец Михаил. Был он в посеребренной широко развевающейся на ветру ризе и голубой камилавке, которые, должно быть, услышав рассказ Васьки о нетленном солдате, забыл или не успел снять. Риза ярко горела, искрилась на солнце, а камилавка сливалась в один цвет с голубой маковкой церкви и заголубевшим на горизонте, наверное, к дождю небом.

Подбежав к разрытой ячейке, отец Михаил вначале было растерялся (ему тоже никогда прежде присутствовать, а тем более совершать молебен при обретении нетленного тела не доводилось), но потом успокоил шаг и дыхание и, осенив себя крестным знамением, взглянул на солдата.

— На нем и крест есть, и иконка-ладанка! — упреждая Николая Петровича, объяснил Прошка.

Отец Михаил опять свершил крестное знамение, взял в руки наперсный крест и начал проникновенно читать молитву-Трисвятое, которая после недавно заверченной заутренней службы, похоже, была еще у него на устах: «Святой Боже, Святой крепкий, Святой бессмертный...»

Предельно кратких ее покаянно-клятвенных слов никто, кроме Прошки, достоверно не знал, но все: и маленькие притихшие мальчишки, и молодые ребята-поисковики, и серьезно-суровый Николай Петрович почувствовали, что так сейчас надо, что без молитвенного слова и возгласа сейчас никак нельзя.

Молитву отец Михаил прочитал, как и полагается, троекратно, за каждым разом все больше и больше сплачивая и объединяя вокруг разрытой ячейки детей-подростков, взрослых мужчин и деда Прошку.

Они действительно объединились, верующие и не очень верующие, забыли обо всех своих предстоящих делах и не заметили, как едва различимая прежде на горизонте тучка стремительно начала продвигаться по небу, играть многоцветной, все ярче и ярче проступающей радугой. Но вот она зависла над глинищем и с нее вдруг сорвались крупно-тяжелые капли солнечного слепого дождя.

Отец Михаил осенил себя крестным знаменем и с беспокойством посмотрел на тучу, начавшую опасно темнеть и скрывать полоска за полоской радугу. Не смогли утаить тревогу при виде надвигающейся тучи и поисковики. Всякий раз, собираясь на раскопки, они захватывали с собой на случай дождя вместе с инструментами и солдатскую непромокаемую плащ-палатку. А сегодня опрометчиво оставили ее в лагере: день обещался быть вроде бы сухим, ведренным, да и, несмотря на заверения Прошки, ничего отыскать они не надеялись...

А туча над глинищем между тем все темнела и сгущалась, грозясь разразиться настоящим ливнем: всего еще несколько минут тому назад, хотя и крупные, но вовсе неопасные капли теперь слились в хорошо различимые дождевые полосы. Обретенного солдата, навзничь лежащего на дне глиняной ячейки, надо было чем-то срочно от них защитить. Поисковики заметались, начали поспешно собирать свои рубахи, майки, но всех вдруг опередил отец Михаил. Он быстро снял с плеч епитрахиль и серебряно-белую ризу и протянул их Николаю Петровичу:

— Укройте!

Николай Петрович ловко подхватил одежды-облачения отца Михаила, спустился по лесенке в ячейку и тщательно укрыл ими солдата, оставив на виду лишь светло-коричневое, будто загоревшее его лицо, которому теперь никакой дождь повредить, наверное, уже не мог.

Дождь и вправду минут пять-десять шел обильным непроглядным потоком, заставив всех спрятаться под березой, но потом вдруг словно кто-то невидимый обрезал его точно по краю глиняной насыпи. Косые дождевые струи с тяжестью и надземным шумом падали на бесплодное глинище, на луг, на реку, застили от взгляда шиферно-серые крыши деревенских домов и голубую церковную маковку, а над убежищем солдата ярко сияло августовское жаркое солнце.

— Ты погляди! — изумился этому явлению Прошка, поплотнее прижимаясь к стволу березы.

Николай Петрович с помощниками тоже немало удивились увиденному, а самые младшие неразумные еще мальчишки-дети так даже опять

зарабела и, побросав удочки, начали искать защиты возле деда Прошки. И лишь один отец Михаил ничему не удивился и не пришел в боязливое изумление, а, словно продолжая молитву, произнес:

— Все в руках Божиих!

Когда же туча, гонимая ветром, уплыла за реку, унося туда с собой скоротечный слепой дождь, он твердым шагом вышел из-под березового лиственного шатра, будто из-под Царских врат, и направился к ячейке.

В ее глубине ничего не повредилось и не порушилось: стенки ячейки были почти сухими, нигде не оплыли, не взялись влажными разводами и потоками. Только на епитрахили и ризе отца Михаила кое-где виднелись небольшие лужицы-озерца дождевой прозрачной воды, да лицо солдата было омытым, по-утреннему чистым и свежим.

— Как живой! — созерцая обновленного солдата, не преминул воскликнуть Прошка и настоятельно призвал к обрыву ячейки малых детей и ребят-подростков, чтоб те тоже посмотрели на омытого дождем, будто живого и воскресшего солдата.

Николай Петрович и отец Михаил не стали мешать наставительной беседе Прошки с детьми, а отойдя в сторону, принялись обсуждать и советовать, как быть и как поступать с солдатом дальше.

Но не успели они перемолвиться еще и двумя-тремя словами, как из деревенской улицы, бороздя и ломая пешеходную тропинку, выметнулась на луг легковая бежевого цвета машина «Волга». В мгновение ока она круто развернулась возле ячейки, и из нее выбрался крупнотелый, тучный мужчина в белой рубашке с короткими рукавами, но при тяжелом клонящем его голову книзу галстуке.

— Военком, — почему-то вздохнул Николай Петрович и пошел на встречу мужчине.

А Прошка остался к нему совершенно безучастным. Несмотря на свою тучность и важность, военком не произвел на него никакого впечатления. Прошка еще с давней своей юности, когда он только собирался идти служить в армию, привык к тому, что военком — это всегда человек военный (не зря же он и зовется военным комиссаром), в значительном даже звании — подполковник или, в крайнем случае, майор. Этот же, хотя и был надменно-важным и при разлапистом галстуке, но гражданским, нестроевым. На нем, как и на нынешнем министре обороны, тоже человеке сугубо гражданском, трудно было представить туго затянутый ремень, портупею через плечо и погоны. Никакой власти такого военного комиссара Прошка над собой признавать не желал. С места он не стронулся, а опершись на посошок, стоял возле глиняной насыпи в окружении мальчишек и без всякого волнения дождался, пока тот в сопровождении Николая Петровича подойдет поближе.

Военком, в свою очередь, тоже не обратил особого внимания ни на Прошку, ни на отца Михаила, который без облачения мало чем был похож на священника-батюшку — обыкновенный деревенский мужик, да и только, ни на Алешу с Витей и Славиком, ни тем более на малых беспоконных мальчишек — как будто здесь, у глиняной насыпи, никого из них вовсе не было. Тяжело, по-медвежьи переваливаясь с ноги на ногу, он подошел к краю раскопок и, еще не заглядывая в их глубину, немного как бы с досадой и недовольством спросил у Николая Петровича:

— Ну, что тут у вас?!

— Да вот, — подробно не распространяясь, указал ему на нетленного солдата Николай Петрович.

— Та-ак, — долго и придирчиво смотрел в ячейку военком.

Все в тревоге примолкли, ожидая от него самого справедливого решения. И военком решение это принял. Уверенной рукой поправив на шее ослабевший под собственной тяжестью галстук, он, несмотря на всю свою важность и значительность, сказал действительно справедливо и разумно:

— Ну что ж, похороним с отданием воинским почестей! Что здесь неясно?!

Он собрался уже возвращаться назад к машине, но тут Прошка неожиданно для всех и в первую очередь для гражданского военкома выказал свой характер. Он вышагнул из рядов и тени мальчишек и застыл в шаге от грозного военкома, невысокий росточком, поседевший, но крепенький в эти минуты, телом и духом.

— Больно ты скор, — смело и с вызовом сказал он ему, — похороним...

— А что же иначе?! — только сейчас, кажется, и увидел Прошку военком. — Под открытым небом оставим, что ли?!

— А это все в Божией власти, не нашей, — почти точь-в-точь повторив слова отца Михаила, произнес Прошка,

— Ну-ну! — только и нашелся, что ответить ему, военком.

Он непредвиденно ловко для своего отяжелевшего тела развернулся и пошел назад к машине. Но прежде, чем сесть в нее, подозвал к себе Николая Петровича и предупредил его:

— Куда надо, мы сообщим!

— Хорошо, — пожал ему руку Николай Петрович, и на том все переговоры с военкомом завершились.

Шофер сразу, как только военком захлопнул дверцу, завел машину, и она стремительно помчалась в село, поднимая позади себя пыль, неизвестно откуда взявшуюся на мокром после дождя лугу...

* * *

Слух о том, что поисковики нашли на старом глинище нетленного солдата, быстро облетел все село. Принесли его туда малые мальчишки-рыбаки, которые, забоявшись, что матери будут их ругать за долгую отлучку, разбежались по домам, едва только военкомовская машина отъехала от глинища. Ну, а коль узнали о нетленном солдате женщины, то слух о нем уже как бы сам собой побежал от дома к дому, от подворья к подворью, тревожа и поднимая на ноги всю Березанку.

Поисковики ни о чем еще не договорились и ничего определенного не решили (вернули лишь отцу Михаилу епитрахиль и ризу, открыв опять солдата полуденному свету и солнцу), как от села к глинищу стал стекаться и прибывать народ: не занятые на осенних полевых работах старики и старухи, шустрые мальчишки, которые нескрывая завидовали своим сверстникам, прознавшим о нетленном солдате раньше их. Теперь они старались наверстать упущенное и, обгоняя друг друга, бежали кто по разрушенной военкомовской машиной тропинке, а кто лугом, примыкавшими к глинищу дальними огородами и илистым речным берегом. Прервав самую срочную страду-жатву, появились на окраине села и занятые на полевой этой страде мужчины и женщины.

Но впереди всех, сопровождаемый внуком, шел, ощупывая дорогу длинной тоненькой палочкой, последний оставшийся в Березанке в жи-

вых солдат-фронтовик Сергей Махоткин. Во время войны на подступах к городу Будапешту он был тяжело ранен в голову, еще тяжелее контужен и почти полностью потерял зрение. Увечью своему Сергей, правда, не поддался, не впал в отчаяние, а, обходясь остатками зрения, работал в колхозе наравне с остальными здоровыми мужчинами, удачно женился на деревенской подростке к его возвращению с войны и госпиталя девочке, родил троих сыновей. Но постепенно зрение Сергея все-таки покинуло, и лет десять, а то и все пятнадцать он пребывал уже в непроглядной крошечной темноте. Жена, сыновья и внуки возили его по разным больницам, клиникам и глазным институтам, вплоть до московских повсеместно известных, но врачи лишь разводили руками: сами по себе глаза Сергея для его возраста были не так уж и плохи и еще могли служить и служить ему. Вся же беда Сергея заключалась в том, что в результате ранения и особенно контузии у него повредились глазные нервы, а против такого увечья наука и врачебное искусство, говорят, пока что бессильны.

Сергея с внуком на тропинке никто, даже нетерпеливые мальчишки, обгонять не решались, чувствуя и понимая, что он, фронтовик и участник войны, должен приблизиться к обретенному солдату первым. Пусть Сергей его и не увидит, но ощутить ощутит и уже от одного этого поздоровеет и укрепится силами.

К приходу Сергея Махоткина отец Михаил снова облачился в ризу и епитрахиль, словно перед самой торжественной службой и литургией. Прошка тоже подобрался, отряхнул с рубахи и брюк налипшие глиняные крошки и всякие иные соринки и встал рядом с батюшкой, готовый встречать односельчан приветливо-обходительным словом, объяснять любому и каждому, что тут на глинице и как случилось.

Сергей Махоткин по разговору и негромкому покашливанию Прошки догадался, что тот здесь на боевом посту и что без него столь необыкновенное происшествие никак обойтись не могло. Он легонько постучал палочкой возле обутых в летние переплетенные наперекрест всего двумя кожаными полосками сандалий Прошки и попросил, обращаясь по природному его имени:

— Егор, подведи меня к нему!

— Так он ведь пока на глубине, в ячейке! — не предвидя такой просьбы Сергея, растерялся тот.

— Ничего, — не отступал от своего намерения Сергей. — Лесенка небось есть?

— Лесенка есть, — с готовностью отозвался Прошка.

— Я и спущусь по ней, — опять постучал впереди себя палочкой по травяному насту Сергей. — Ты только укажи — куда.

Прошка подхватил Сергея под руку и начал подводить к обрыву ячейки, безошибочно метая на выглядывающую из ее недр алюминиевую рабочую лесенку поисковиков. Ему принялись помогать внук Сергея, ребята-поисковики, Николай Петрович и даже отец Михаил, обнимая и придерживая незрячего фронтовика за плечи. Но Сергей, нащупав руками лесенку, дал им знать, что он и сам справится. За долгие годы слепоты Сергей привык и приловчился все, что было ему возможно и доступно, делать самостоятельно, никого не обременяя излишней о себе заботой: одевался-обувался, аккуратно брился опасной бритвой-складеньком, помогал жене по дому и двору, мог даже (понятно, когда был помоложе) принести от колодца ведро-другое воды.

Пошатав лесенку из стороны в сторону и убедившись, что она стоит прочно, Сергей развернулся и начал ощупывать ногой первую перекладинку, чтоб, вступив на нее, погрузиться в ячейку. Но тут его вдруг опередил неугомонный Прошка:

— Погоди немного, — остановил он Сергея, — я спущусь вперед, чтоб принять тебя на глубине.

— Спускайся, — дал согласие на его помощь Сергей и, пропуская Прошку, отступил на шаг от обрыва.

Прошка на редкость проворно для своего тоже уже немолодого возраста проник в ячейку и крикнул оттуда, из подземелья, Сергею:

— Давай!

Сергей, оставив на поверхности ореховую свою палочку-поводыря, опять нацупал ногой ступеньку и стал спускаться в ячейку. Прошка удачно принял его, прислонил к глиняной стене, потом подождал немного, пока Сергей устоится, обретет равновесие и подсказал:

— Теперь склоняйся на колени.

Сергей, скользя и придерживаясь плечом о стенку, выполнил команду и требование Прошки, опустил на узенькую глиняную площадочку по правую сторону от солдата. Прошка сделал то же самое по левую сторону.

— Где он? — повел впереди себя рукой Сергей.

— Пониже опусти ладонь, пониже, — подсказал Прошка.

Сергей снова безропотно подчинился ему, опустил ладонь как можно ниже, к самой земле и угодил солдату на плечо и погон. Осторожно, но крепко, он сдвинул худое это, угловатое плечо, будто поздоровался с солдатом, которого когда-то хорошо знал, но непредвиденно, как часто и случалось на войне, разлучился с ним на фронтовых дорогах.

Секунду помедлив, Сергей все так же бережно и чутко начал перебирать пальцами дальше, продвигаясь к лицу солдата. Вначале он прикоснулся к его щеке, потом к виску и коротко остриженным, не потерявшим своей жесткости волосам.

— Молодой? — уследив по учащенному дыханию, где находится Прошка, спросил он:

— Молодой, — утвердительно и разборчиво ответил тот. — Двадцать третьего года рождения. Иваном зовут, из-под Смоленска.

— Годок, — погладил Сергей солдата по стриженной, почти детской еще голове, словно малого, невыросшего ребенка, который годился теперь ему в сыновья, внуки и правнуки.

— На нем и крест есть, и иконка-ладанка Пресвятой Богородицы, — опять вступил в разговор Прошка. — Там все и написано: кто он и откуда.

Но Сергей оставил этот доклад Прошки пока без внимания, словно намеренно откладывая его на будущее, когда они поднимутся из ямы на поверхность и взаимно успокоятся. А сейчас он спросил Прошку совсем о другом:

— Куда его убило?

— В самое сердце, — после краткого молчания сказал Прошка.

— Легкая смерть, — словно завидуя солдату, вздохнул Сергей. — Мгновенная.

Он подвинул руку с его головы на грудь, обнаружил там крест и иконку, но не тронул их, как того ожидал Прошка, а закрыл широкой своей отяжелевшей за долгую жизнь и неустанную крестьянскую работу ладо-

ню рану солдата под левым карманом гимнастерки, как будто хотел охранить его от летящей смертельной пули.

В недвижимом этом положении Сергей стоял долго над поверженным солдатом, к чему-то напряженно прислушивался внутри самого себя, что-то обретал и никак не мог поверить этому обретению.

— Я вижу его, — вдруг взволнованно и тревожно произнес он.

— Кого? — вначале ничего не понял в словах Сергея Прошка.

— Солдата, — уже чуть громче, твердея голосом в каждом звуке, проговорил тот. — Лицо его вижу, грудь, винтовку в руке, крест и ладанку на груди... И тебя, Прошка, вижу. Седой ты весь и щуплый.

Прошка замер, безмолвно прислонившись спиной к глиняной стенке. Замерли на верху ячейки, расслышав получше, чем туговатый на ухо Прошка, слова Сергея, Николай Петрович, отец Михаил и ребята-поисковики.

А Сергей, все так же не отрывая ладони от груди солдата, высоко запрокинул голову и, просветлев всегда по-старчески темным лицом и затянутыми незрячей пеленой глазами, сказал уже совсем уверенно и отчетливо:

— Березу вижу и солнце.

Он опять сам по себе, отвергая помощь Прошки, поднялся с коленей, отыскал взглядом лесенку и поднялся наверх. Там его сразу окружили односельчане и поисковики и начали наперебой спрашивать, до конца еще не веря откровениям Сергея:

— Правда, видишь?!

— Вижу, — рассеял все их сомнения тот и безошибочно указал на своего внука. — Вот это внук мой, Сергей, очень похож на меня в молодости.

Это было и вправду так. Старики и старухи, которые помнили Сергея Махоткина в молодые его довоенные и послевоенные годы, говорили ему всегда то же самое, мол, Сережа больше похож на деда, чем на отца с матерью. Теперь же Сергей сам убедился и удостоверился в этом. Он обнял, прижал внука к себе твердой, обретшей уверенность в движении, будто тоже в одно мгновение прозревшей рукой и сказал, не скрывая своей радости:

— Наших кровей, махоткинских.

Стал Сергей узнавать и других березанцев, называть их по именам и фамилиям, опять несказанно радовался этому узнаванию сам и радовал все тесней и тесней окружавших его односельчан, которые намеренно старались попасться ему на глаза и окончательно утвердиться в вере, что ни в чем не обманывает их Сергей — видит все вокруг и различает.

Пока длилось это узнавание, Прошка тоже выбрался из ячейки и, переходя от одной стайки березанцев к другой, восторженно рассказывал, как там, на глубине, все случилось, как Сергей, положив руку на простреленную грудь солдата, вдруг прозрел, увидел вначале убиенного, а потом и его, Прошку, и ни на вот столечки не ошибся, что это именно он, Егор Дмитриевич, весь седой и белый, в клетчатой летней рубаше.

Прошку все внимательно слушали, интересуясь самыми малыми подробностями произошедшего, а когда тот умолк, несколько человек, которых давно тоже одолевали неизлечимые болезни и увечья, робко спросили его, нельзя ли и им спуститься к солдату.

— Это как отец Михаил решит, — не посмел дать подобное позволение Прошка.

Болящие начали пробиваться сквозь толпу к отцу Михаилу, но в шаге от него остановились и безропотно притихли. Отец Михаил вдруг негромким, но по-особому проникновенным голосом стал читать молитву на обретение святых мощей, хотя без разрешения высшей духовной власти, может, и не имел на то должного права: «Ныне силы небесныя с нами невидимо служат, се бо входит Царь славы, се жертва тайная совершена дароносится...» Кто как умел и мог, поддержали его, и торжественно-скорбное это песнопение широко растеклось по суховейному глинищу и по лугу.

Не пел лишь один Сергей Махоткин. Он все глядел и никак не мог наглядеться на это пожухлое к осени глинище, на высокоствольную березу, на луг и речку, но больше всего на прозрачное голубое небо, заново обретая его и как будто заново нарождаясь на свет Божий.

Когда соборная молитва была завершена, отец Михаил, тоекратно благословил березанцев крестным знамением и повелел им расходиться по домам до нужного часа. Но никто уходить не торопился. Березанцы еще теснее сгрудились вокруг разрытой ячейки, стараясь хоть краешком глаза посмотреть на нетленного солдата, а болящие, наконец, пробившись к отцу Михаилу, принялись слезно просить у него позволения спуститься к солдату по лесенке

— Не надо его пока тревожить, — удержал их отец Михаил. — Моей власти здесь мало...

Березанцы вроде бы и согласились с отцом Михаилом, что только высшие духовные лица могут определить участь нетленного солдата, признать его мощи святыми или не признавать, но вместе с тем и тревожились, как скоро это случится и где быть до той поры обретенному.

И тут вдруг возник рядом с отцом Михаилом совсем было затерявшийся в толпе Прошка.

— В раку его надо заключить, — подсказал он верное, неоспоримое решение. — Заключить и в церкви под Престолом поставить. А там видно будет...

Отец Михаил окинул притихшую стайку своих не всегда прилежных в служении и церковных обрядах прихожан пристальным пастырским взглядом, словно советуясь с ними и совместно сомневаясь, дозволено так поступить или не дозволено, потом перевел взыскующий этот взгляд на нетленного солдата и, наконец, спросил выжидающе застывшего Прошку:

— А ты раку смастерить сумеешь?

— Отчего ж не сумею, — загорелся просьбой-наказом отца Михаила Прошка. — Сладим с Божией помощью.

— Тогда и благослови тебя Бог! — осенил Прошку наперсным крестом отец Михаил. — А мы все будем молиться и ждать...

* * *

Молва о нетленном, обретенном в Березанке солдате быстро облетела все окрестные деревни и села, и к нему потянулись пешие, конные и автомобильные паломники. Но на подступах к глинищу их неприступным кордоном встречали поисковики, которые переместили туда свою палатку и теперь несли посменно караульную службу. Каждодневно был там и кто-нибудь из добровольных церковных помощников отца Михаила (а часто и он сам). Встречая паломников, караульщики сочувственно, но непреклонно говорили им:

— Пока рано. Вот заключим в раку, получим благословение высших духовных властей, тогда и приезжайте.

Паломники на эти запреты караульных не обижались, понимая, что так оно, наверное, и должно быть: без позволения главенствующих духовных лиц приложиться к нетленному солдату не положено и нельзя. Они лишь просились хотя бы издалека посмотреть на глиняную ячейку, где солдат лежит и покоится. На это разрешение им давалось. Паломники, не отрывая глаз, глядели на прикрытую поисковиками брезентом ячейку (вдруг опять нагрянет дождь, да еще если с грозой), вздохнули и тоже соглашались ждать, сколько будет назначено и необходимо...

А Прошка все эти дни неустанно мастерил раку.

У него давно лежала в повети дубовая в два обхвата толщиной колода. Приобрел ее Прошка в лесничестве на осенней расчистке и намеревался, распустив на плахи, сладить в доме новые подоконники-подушки взамен старых, заметно уже подгнивших. Но дело это у него все откладывалось и откладывалось. Самостоятельно распустить колоду на плахи ручными пилами Прошка по слабости своих сил уже не мог. Надо было везти ее на пилораму в район за двадцать километров (своя, колхозная, разрушилась и бесследно исчезла вместе с колхозом), но доставить туда колоду у Прошки опять-таки не имелось никакой возможности: ни грузовых тяжелых машин, ни тракторов с прицепами в Березанке тоже не осталось. Несколько раз Прошка заикался насчет колоды и подоконников сыну, то тот не торопился исполнять его настоятельную просьбу: то некогда сыну было, недосуг, то вдруг надумал он поставить в доме какие-то диковинные пластмассовые окна (и начал уже для замысла того накапливать деньги), которые теперь повсеместно ставят в городских каменных квартирах.

Так и долежала колода до нынешнего сокровенного часа. Выкатив ее на середину повети-мастерской, Прошка, помолясь, и приступил к ней со всеми необходимыми инструментами. Несмотря на свой суетный разговорчивый характер, плотником и столяром он действительно был отменным, редких наклонностей и искусства. Рубил ли Прошка дом-сарай, вязал ли косяки-лутки, рамы и двери, так делал он все это не только ради прочности и повседневной необходимости, а еще и ради красоты, чтоб и дом, и сарай, и окна-двери не просто служили по принадлежности своей, но и радовали, веселили глаз. На крыше дома или сарая Прошка непременно воздвигал голосистого сторожевого петушка, оконные наличники-обиконцы ладил резными, с затейливыми кружевными и ажурными кокошниками наверху. Такими же кружевными, воздушно-легкими выходили из-под руки Прошки и подстрешные «фартуки», на изготовление которых иные-прочие нынешние столяры не желали тратить ни сил, ни времени.

Не раз и не два за свою долгую жизнь приходилось Прошке мастерить скорбные, но, куда же деваться, необходимые в завершение человеческого земного срока деревянные прибежища всего на четыре доски — гробы-домовины. Только и они у Прошки получались, хотя и скорбными, но не устрашающими, тяжелыми и гнетущими, а всего лишь печально-грустными, по-живому пахли сосновой смолой-живицей, чем облегчали участь и усопшего, и остающихся пока на этом горевом свете его собратьев и сородичей.

Раку же Прошка мастерил впервые. Прежде он лишь несколько раз видел ее во время солдатской своей службы в городе Киеве в подземных

пещерах Киево-Печерской лавры, да в знаменитых древних монастырях, куда заглядывал не столько по богомольному своему пристрастию, сколько по молодому задорному любопытству. Но, вот же довелось и досталось смастерить и раку.

Перво-наперво Прошка принялся вырубать столярным малым топориком, долотами-стамесками разных размеров, подчищать рубанком-горбатиком ложе раки. Потом взялся за наружные ее стороны. В изголовье он вырубил православный восьмиконечный крест, а в ногах — веночек полевых неброских цветов и трав. На продольных же боковинах Прошка пустил стремительно бегущие веточки-вьюнки с продолговатыми листочками, одинаково похожими и на лавровые, и на более привычные в их местности — вербные.

Село в ожидании, пока Прошка справится с ракой, притихло и непривычно замерло. Нигде не было слышно ни громких переключек, ни праздного веселья, ни даже ребячьих шумливых голосов. Лишь изредка, встречаясь где-нибудь на улице или возле колодцев, березанцы, настороженно прислушиваясь к ударам Прошкиного топора, к шорханью рубанка-горбатика, полусшепотом говорили:

— Рубит...

— Строгает...

И опять замирали в безмолвии и поспешно расходились по домам...

* * *

Завершил свою работу Прошка на третий день к вечеру и пригласил в поветь отца Михаила с Николаем Петровичем поглядеть и определить, ладно ли у него все получилось, достойно ли и не требуется ли еще какая-нибудь дополнительная доводка.

— Все ладно, — в два голоса сказали отец Михаил и Николай Петрович, дивясь искусству старого Прошки.

Рака и вправду вышла у него редкой красоты, искусства и легкости. При свете заходящего августовского солнца, которое проникало сквозь широкое обрамленное резными наличниками окошко в поветь, она первозданно, прозрачно сияла, словно была сделана не из обыкновенного дерева-дуба, а из чистейшего серебра-золота. Полевыми своими цветами и травами, туго сплетенными в веночек, лавровыми и вербными продольными бегунками, а больше всего православным намоленным крестом в изголовье рака, казалось, зримо и осязаемо поднималась над усыпанным стружками полом повети и парила в вечернем воздухе.

Отец Михаил окропил раку святой водой, прочитал молитву и при полном согласии Николая Петровича и Прошки назначил, что завтрашним днем они переложат в нее нетленного солдата и понесут Крестным соборным ходом в церковь.

* * *

Прознав об этом решении отца Михаила, село с раннего вечера начало готовиться к завтрашнему Крестному ходу. Женщины достали из шкафов праздничные выходные наряды, мужчины отложили задуманные на завтра самые срочные работы и поездки, повымылись в банях, чисто в два захода побрились, а дети без долгих уговоров и напоминаний пораньше легли спать, чтоб пробудиться утром ни свет ни заря вместе с

отцами-матерями и не пропустить, как будут поднимать из глиняной ячейки и опускать в раку нетленного солдата.

Когда же августовская наполненная ожиданиями ночь иссякла, березанцы, наскоро управившись с домашними обязательными заботами (подоили и выгнали в стадо коров, накормили кур-уток, обиходили прочую мелкую живность да протопили наспех печки), семейно и одиночно потекли к глинищу.

Часам к девяти начали подходить и подъезжать пешие, конные и автомобильные паломники из соседних дальних и ближних деревень, куда слух о сооруженной Прошкой раке и о подняттии солдата долетел по проводным и повсеместно модным нынче беспроводным карманным телефонам, а еще надежнее сам собою, не зря же говорят — земля слухом полнится.

Отец Михаил в церковном горящем на солнце облачении, подтянуто-значительный Прошка в белой фланелевой рубашке и Николай Петрович с помощниками, все в камуфляжно-зеленой форме (жаль, без погон) встречали их и расставляли вокруг ячейки по бугоркам и холмикам, так, чтоб всем было одинаково видно, что возле нее происходит и свершается.

Из церкви были доставлены хоругви, иконы, выносной крест с окаймленным Божественным сиянием ликом Иисуса Христа, фонарь на длинной точеной ручке с загодя установленной в нем восковой, рассчитанной на долгий срок горения свечой. По указанию отца Михаила хоругви, крест и фонарь были розданы самым крепким и надежным мужчинам, а иконы женщинам и детям.

Но главное, что влекло и приводило в тревожно-печальный восторг паломников, была установленная у края ячейки рака, которую Прошка вместе с Николаем Петровичем, Алешей, Витькой и Славиком привезли сюда, считай, еще затемно на легковой оборудованной верховым багажником машине.

В изголовье раки на табурете сидел Сергей Махоткин, тоже по-праздничному принаряженный домашними в новую рубашу, пиджак и легонькие летние туфли. Говорят, внук хотел еще прикрепить на грудь Сергею все его фронтовые и послефронтовые ордена и медали, то тот решительно предостерег его от подобного намерения: «Ни к чему это все нынче!» И внук не посмел противиться деду, хотя до конца и не понял, что означает это его запретное «ни к чему».

Паломники с удивлением и похвалой глядели на дубовую беломраморного цвета раку, на ее резной крест, цветы и листья, но еще с большим удивлением глядели на Сергея Махоткина. Впервые за долгие годы руки его не были заняты длинной ореховой палочкой-поводырем, и он не знал, куда их девать: то тяжело складывал в покое на коленях, то опускал почти к самой земле вдоль табурета, то прикасался к раке, словно согревал их исходящим от нее теплом и светом.

Все было уже готово к подъему солдата и Крестному ходу, но Николай Петрович, то и дело прикладывая к уху махонький телефон-мобильник, просил отца Михаила подождать еще немного — обещался подъехать военком с офицерскими какими-то чинами, а без них идти Крестным ходом было и преждевременно, и нехорошо.

Но вот наконец Николай Петрович после очередного телефонного разговора сообщил собравшемуся на лугу народу:

— Вроде бы едут...

Березанцы и паломники сразу заволновались, потеснее сгрудились в стайки на бугорках и холмиках: как-никак, едет начальство, к тому же

военное, всегда более суровое и требовательное, чем привычное для сельских жителей — гражданское, и еще неизвестно, как оно себя поведет. Вдруг опять вознамерится похоронить нетленного солдата на деревенском кладбище, рядом с братской могилой. И как тогда противиться несговорчивому начальству, как оборонять солдата от этого, пусть, может, и законного, а все ж таки не Божеского намерения.

Ждать пришлось недолго. Не успели березанцы и паломники даже накоротке переговорить между собой о предстоящей обороне, как из окраинной деревенской улицы вынырнула «Волга» военкома. Подъехав к глинищу, она, чуть потеснив мужчин с хоругвями на торфяник, остановилась в двух шагах от раки.

Но вместо военкома из «Волги» совсем неожиданно для березанцев и паломников, выбралась маленького почти неприметного росточка старушка в белом, повязанном под подбородок платочке и мужчина лет шестидесяти, заботливо поддерживающий ее под локоток.

Старушка поясню поклонилась народу, осенила себя незыблемо-твердым крестным знаменем и встала под занесенную уже для благословения руку отца Михаила.

— Сестра убитого с сыном, — тут же побежала по бугоркам и холмикам, неведомо от кого и как возникнув, молва о старушке и сопровождавшем ее мужчине.

— А где же военком?! — озабоченно спросил шофера Николай Петрович.

— Подъедет попозже, — ответил тот и поспешно стал разворачивать машину, чтоб отправиться назад в город.

Николай Петрович опять было приложил мобильник к уху, но потом спрятал его в карман и, ничего больше не говоря шоферу, тоже подошел к старушке.

Отец Михаил троекратно благословил ее, приобнял за плечо и, зорко следя, чтоб она случайно не оступилась на травянистом уже затоптанном сотнями ног дерне, повел к обрыву ячейки.

Старушка поправила на голове платочек, прикрыла даже перед горестным испытанием глаза, потом долгим неотрывным взглядом посмотрела на затененного в глубине глиняного склепа солдата.

— Он, — едва слышимо выдохнула она. — Ванечка! — И, закрыв заплаканное лицо худенькими ладонями, припала к груди подоспевшего ей на помощь сына.

Отец Михаил отдал ему старушку на полное попечение, чутко понимая, что в эту тяжелую минуту ей лучше побыть в объятиях и утешении родного, кровного человека.

Старушка и вправду вскоре успокоилась, вытерла глаза кончиком платочка и уже просветленным, ясным взглядом еще раз посмотрела на лежащего в глиняной тверди брата с широко разметанными руками.

Ни отец Михаил, ни сын, ни Николай Петрович с ребятами-поисковиками не посмели нарушить этого созерцания. Они молча стояли поодаль, за спиной старушки, не зная, что и как можно сказать в такую минуту.

И вдруг растерянное их молчание прервал Сергей Махоткин. Он поднялся с табурета, почти уже привычно, без чьей-либо посторонней помощи подошел к старушке, прижал ее к себе, тихо поцеловал во влажные вновь наполнившиеся слезами глаза и еще тише произнес, указывая взглядом на ее брата:

— Я только прикоснулся к нему — и вот вижу. А до этого двадцать лет был незрячим.

Старушка ответно обняла Сергея, погладила по щеке старенькой своею теплой, почти обжигающе горячей ладонью и сказала:

— Он всегда таким был, будто ангел небесный.

Отец Михаил, Николай Петрович и сын старушки почувствовали себя при таком взаимно-откровенном разговоре Сергея с сестрой солдата лишними и бесшумно отошли от ячейки к мужчинам-хоругвеносцам.

Старушка не стала их окликать и удерживать, как будто и прежде рядом с ней и Сергеем никого постороннего и не было. Она вдруг достала из бокового кармана кофточки-джерпера тщательно завернутый в носовой платочек узелок, осторожно развязала его и протянула Сергею старую пожелтевшую фотографию довоенных еще времен. Сергей, удерживая ее на доступном для глаз расстоянии, принялся внимательно и пристально рассматривать. На фотографии был изображен молодой, может, всего четырнадцатилетний парень в рубашке-косоворотке и чуточку уже коротковатых для него брюках, а рядом совсем малая русоволосая девчонка в легоньком летнем платьице с надплечными крылышками.

— Это мы с Ваней в тридцать шестом году, — пояснила Сергею старушка.

— Какой молоденький, — словно припоминая самого себя в давние те довоенные годы, отозвался на ее слова Сергей.

— Молоденький, — еще раз посмотрев на фотографию, вздохнула старушка и вдруг начала рассказывать Сергею о брате все, что знала и что запомнила из его юношеской жизни. — Бывало, заболел, так Ваня сядет рядышком, положит руку — вот так — на лоб и будто забирает болезнь на себя, она сразу уходит, отпускает — и к вечеру я уже совсем здорова и весела.

Сергей никакими дополнительными вопросами и любопытством не перебивал старушку, а лишь украдкой глядел на нее просветленными своими глазами и все больше и больше узнавал в ее лице черты старшего брата: такой же высокий чистый лоб, такие же гибкие, в широкий разлет брови, такой же тонкий заостренный подбородок. И только взгляда, глаз старушки и брата он сравнить и сличить не мог. У старушки взгляд был живой и теплый, а подвижными, чуть покрасневшими от слез веками, а у брата веки были крепко-накрепко сжатыми.

О чем еще говорила, что еще рассказывала Сергею о брате старушка, того никто не слышал. Никто не уловил и ответных слов Сергея. Отец Михаил и Николай Петрович в который уж раз принялись советоваться между собой, как извлекать солдата из ячейки, водружать в раку и после нести Крестным ходом в церковь. Они заглядывались по сторонам, ища среди березанцев и паломников Прошку, чтоб спросить и его мнения. Уж кто-кто, а Прошка подсказал бы им, что и как надо делать: в войну ему вон сколько довелось поднимать из земли, переносить и перевозить убитых.

Но Прошка нигде не отыскивался. Как только раку установили возле ячейки, он незаметно затерялся в толпе, в самых дальних ее рядах. За ним давно водилась странная такая привычка: срубив дом, сарай или баньку с воинственно вознесенными на их кровлях сторожевыми петушками или, приладив на окнах резные наличники, а в подстрешье «фартуки», он всегда отходил в сторону, давая возможность хозяевам, их соседям и всем прочим жителям без стеснения оценить его плотницкое уме-

ние и искусство. Но еще с большим пристрастием оценивал Прошка в такие минуты это умение сам и почти всегда находил какие-нибудь до-
садные недоделки и недочеты.

Он и нынче, выбрав себе местечко на маленьком бугорке-торфяной кочке, взыскательным взглядом окидывал раку из-за спин березанцев и паломников. И ему зримо и явственно виделось, что в переплет с бегущими по обеим ее сторонам вьюнками из лавровых и вербных листьев все-таки надо было пустить полевые и луговые цветы: звонкие колокольчики, васильки-волошки, вереск и чабрец, и тогда бы рака смотрелась, может, даже ничуть не хуже, чем в Киево-Печерской лавре.

В изножье раки, рядом с веночком, Прошка обнаружил один недобранный стамескою и рубанком бугорок и так раздосадовал этому недочету, что вообще готов был уйти домой и затвориться где-нибудь в повети.

Отец Михаил, не найдя Прошку, своей волей и властью принял решение и сказал Николаю Петровичу:

— Давайте начинать. Пора!

— Давайте, — поддержал его тот и спустился по лесенке в ячейку.

Вслед за Николаем Петровичем спустился туда и совсем какой-то сегодня задумчивый Алеша. Вдвоем они опытно и согласно подвели под солдата заранее заготовленный дощатый помост; правую его руку с неотрывно зажатой винтовкой прислонили к бедру (и сразу получилось, как будто тот взял ее на караул, чтоб заступить на доверенный ему самый ответственный пост), а левую положили на грудь чуть повыше солдатского ремня с пятиконечной звездой.

Удостоверившись, что солдат лежит на помосте прочно и непоколебимо, Николай Петрович с Алешей оторвали его от земли и подняли наверх. Там помост из рук в руки приняли Витя со Славиком, отец Михаил, два-три мужчины-добровольцы из березанцев и паломников и Прошка, который, наконец преодолев все свои сомнения, объявился возле ячейки. Он немедленно откликнулся на просьбу Николая Петровича и отца Михаила и принялся распоряжаться работами, зорко следя за тем, чтоб при возложении солдата в раку никто не потревожил его лишним резким движением, не отвлек от постовой караульной службы.

Все у мужчин получилось, как нельзя лучше. Солдат лег в раку покойно и терпеливо, не выронив из правой руки винтовки, а левую не отняв от груди.

Ничто в нем не изменилось и не нарушилось: ни откиннутая чуть назад голова, ни по-юношески худенькие шея и плечи, ни в струнку вытянутые ноги в солдатских ботинках и обмотках. И лишь лицо солдата при ярком полуденном сиянии солнца вдруг просветлело, нестойкий коричневатый загар сошел с него; оно посвежело и даже как будто зарумянилось.

Старушка, до этого мгновения молчаливо стоявшая в сторонке, теперь подошла к раке, обняла брата за грудь, припала щекой к его просветленной, согретой солнцем щеке и сказала так, как, наверное, не раз говорила в далекой своей детской жизни:

— Братик мой милый...

Никто старушке не мешал, не тревожил и не торопил ее. Все понимали, что старушке надо хоть немного побыть с братом наедине, высказать ему все, что долгие годы разлуки таила и берегла в душе только для него одного, единственного. Ведь сейчас брата отнимут, отторгнут от нее, и он уже будет принадлежать не только ей, а и всем иным людям, перед

которыми неожиданно явился, нетронутый землей и тлением. Старушка еще теснее припала к брату и не смогла сдержать своего невольного горестного упрека:

— Мать так надеялась, так ждала, что ты вернешься...

Солдат, казалось, внимательно слушал сестринские упреки и обиды, слушал и внимал им. И вдруг как будто прошептал с успокоительной, чуть тронувшей его губы улыбкой: «Вот я и вернулся...»

Старушка заплакала совсем уже навзрыд, прощально обняла брата и уступила место возле раки своему сыну.

Тот склонился над ней, тоже заплакал, прикоснулся широкой ладонью к груди солдата, которого видел прежде только на фотографии, да знал о нем по рассказам матери.

— Оставь его, Ваня! — легонько тронула сына за рукав старушка.

Слова ее прозвучали негромко, но отчетливо и по-матерински повелительно. Их услышали даже на самых отдаленных бугорках и холмиках. Там все пришло в волнение и беспокойство. Отец Михаил больше медлить не стал и отдал распоряжение обустраивать Крестный ход.

Возглавляя его, далеко вперед, на луговую тропинку, вышел с иконой Пресвятой Богородицы в руках высокий, уверенный в шаге старик, Матвей Еремин, который во время любого Крестного хода: — на Рождество, на Пасху, на Троицу, в день Преображения Господня, на Спаса, — всегда и носил ее, задавая Крестному ходу особенно торжественную и мерную поступь. Вслед за Матвеем встал с престольным Животворящим крестом бывший учитель труда восьмилетней березанской школы, а теперь один из самых усердных помощников отца Михаила в церкви Александр Наумович. Потом, по-военному подравнявшись в единую шеренгу, выступили мужчины с фонарем и хоругвями и несколько женщин и детей со своими, снятыми с домашних кивотов иконами. Они все повернулись в полуоборот к ячейке и начали ожидать, когда отец Михаил, прочитав молитву, отдаст приказание отрывать раку от земли и вставать с нею в самом центре Крестного хода.

Минута была скорбная и напряженная, наполненная молитвенным голосом отца Михаила, дьякона и певчих. Но вот иссякла и она, и к раке с двух сторон подступили Николай Петрович с Алешей и Витя со Славиком.

По команде Николая Петровича они подняли раку на плечи, и она сразу взметнулась, вознеслась над людскими головами, почти вровень с хоругвями. Золототкаными своими полотнищами с ликами Иисуса Христа и Божией Матери они широко развевались на ветру, образуя вокруг нее охранный шатер.

Отец Михаил, дьякон и певчие, выждав несколько мгновений пока рака подтвержде укрепитя под этим шатром-хоругвями, расположились в двух шагах позади нее. Их примеру последовали старушка с сыном и Сергей Махоткин. Поддерживая друг друга, они отдельной, соединенной теперь почти родственными уже узами стайкой укрылись за спиной отца Михаила и приготовились к дальней и нелегкой для них дороге. А за ними, сколько видно было глазу, вдоль глинища и луга, до самой речной уремы выстраивались березанцы, пришлые и приезжие паломники

Прошка поначалу хотел было вслед за Николаем Петровичем и его помощниками тоже подставить плечо под раку, чтоб несменяемо нести ее к церкви, но потом отступился от этого своего намерения, вовремя определив, что он по сравнению с молодыми мужчинами маловат ростом: пле-

чом до раки Прошка не дотянется и будет лишь помехой для них, сбивая с ноги и шага.

Он опять затерялся в толпе и теперь уже совсем издалека, поверх людских голов, смотрел на раку и с двойным пристрастием укорял себя, что не пустил вдоль лавровых и вербных бегунков полевые и лесные цветы...

Но долго удерживать на этом внимание у Прошки не получилось. Отец Михаил осенил себя напутственным крестным знаменем и подал условный знак Матвею Еремину: мол, пора, выступаем с Богом.

Матвей долго ждать себя не заставил. Он поднял-взметнул икону Пресвятой Богородицы высоко над головой и сделал по торфяной тропинке начальный размеренно-твердый шаг. И в то же самое мгновение далеко в селе на церковной звоннице ударил колокол. Звонарем у них в Березанке был молодой выученик районной музыкальной школы по классу духовых инструментов, трубы-валторны Павел (Паша) Красавкин. Еще в первые годы музыкальной своей науки он пристрастился подниматься на звонницу, которой тогда безраздельно владел его дед, Борис Серафимович (Борис-звонарь, как все в Березанке от мала до велика звали его). Паша вначале на слух, а после уже и согласно нотной музыкальной грамоте перенял от деда старинное умение и тайну колокольного перезвона. Поименно различал он все, какие только бывают в храмах, колокола: большие и малые, праздничные, воскресные, полиелейные и еще особые — зазвонные колокольцы. Когда же дед Борис умер, Паша с полного согласия и благословения отца Михаила стал исполнять на них все будничные и праздничные благовесты, заупокойные службы и тризны уже в одиночку, ничуть не уступая, а может, даже и превосходя деда.

Нынче отец Михаил повелел Паше подняться на церковную колоколенку с утра пораньше и зорко следить за всем, что будет происходить на лугу. И как только Крестный ход с поднятой над головами ракой обустроится, чтоб идти к церкви, так, нисколько не медля, сразу ударить в колокола.

И Паша не упустил, не проглядел нужного мгновения. С первым шагом Матвея Еремина, он тронул главный, самый тяжелый колокол вначале чуть слышимым, далеким звуком, а потом, подстроив к нему колокола и колокольцы поменьше, огласил всю округу таким звоном, какого никто и никогда еще здесь не слышал. Он не был заупокойно-поминальным, но и не был радостно-праздничным, а каким-то особым, словно набат, возвышающим душу.

Отец Михаил, дьякон и певчие, едва лишь этот звон коснулся их уха, на одном породненном дыхании возгласили молитву-Трисвятое: «Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас...» На повторе ее подхватила из уст отца Михаила старушка, а вслед за ней сын и Сергей Махоткин, который впервые за долгие годы своей слепоты шел в столь дальнюю дорогу без палочки и сопровождения, смело и безоглядно.

От них молитва как бы сама по себе перекинулась на остальных паломников, волна за волною захватывая все новые и новые их ряды, — и вскоре уже пел весь Крестный необозримый ход.

Николай Петрович в просвет между хоругвями иногда обеспокоенно поглядывал на село, надеясь увидеть на его выезде машину военкома. Но она что-то никак не появлялась и не появлялась...

Крестный ход тем временем, стройно вытягиваясь в длинную нескончаемую ленточку на лугу, вскоре подошел к деревенским домам и начал заполнять широкую песчаную улицу.

И вдруг, откуда ни возьмись, над ракой, крестом, иконами и хоругвями взвилась стайка никем вначале не опознанных птиц.

— Горлицы это! Горлинки! — радостно воскликнул, первым узнавая их, Прошка.

Вслед за ним все березанцы и паломники тоже признали в метущейся птичьей стайке диких лесных голубей-горлинок. Признали и удивились, как это они не могли их различить сразу, когда те только появились над ракой, над иконами и хоругвями. Хотя, может, потому и не различили, что горлинки — птицы тайные, скрытные, в село к людям они не залетают, а живут в полном уединении в лесах и чащах.

Но вот сегодня, нарушив это уединение, залетели...

Когда показалась церковь с широко распахнутой дверью притвора, горлинки взмыли на голубую увенчаную крестом маковку и уселись там на карнизе.

Так, под колокольный звон, молитву отца Михаила и голубиное воркование раку занесли в церковь и поставили подле Престола и иконы Божией Матери.

Крестный ход у церковного порога разбился теперь уже в одиночную цепочку, и каждый паломник стал с крестным знаменем подходить к раке, прикоснуться к ней и склонять перед нетленным солдатом голову.

Людской поток паломников и березанцев шел до самого позднего вечера, и горлинки за все это время ни разу не стронулись с карниза. Но когда возле солдата остались одна лишь старушка с сыном да отец Михаил с Николаем Петровичем и Прошкой, они вдруг в единый взмах крыльев запорхнули в церковь и вихрем закружились над ракой, как будто возвращая солдату из высокого, только им одним доступного, поднебесья его молодую бессмертную душу...

13.12.2011 г. — 19.01.2012 г.

г. Воронеж





Виктор Михайлович Поляков (1921–1992). Родился в поселке Людиново Калужской губернии. Учился на литературном факультете Воронежского государственного педагогического института. В военные и послевоенные годы служил в органах железнодорожной милиции в Сталинграде, Балашове, Одессе, Ровно. Отмечен боевыми наградами. После отставки работал в редакциях воронежских газет, областном телерадиокомитете. Автор нескольких поэтических сборников.

Виктор Поляков

РУБЕЖ

МЕДАЛИ 41-го ГОДА

Медали сорок первого
иных дорожке втрое —
высокой мерой мерила
страна своих героев.

Нешадной мерой мерила,
Награды тяжелели:
медали сорок первого
носили на шинелях.

РУБЕЖ

Живыми из огня выпрыгивавшие,
с остановившимися лицами,
в крови запекшимися пригоршнями
мы пили из реки Царицы.

Берега коробились
от седьмого пота.
Сползала к Волге, горбась,
усталая пехота.

И на нее пикировал
8-й воздушный корпус,
ее давили гусеницами
танки Готта.

Стояла золотая
осенняя погода.
Река в геенне огненной
сжигала корабли.

И не было за Волгой
для нас земли.

Только берег правый,
злость и горечь.
И нет переправы
через совесть.

ОКОПНЫЙ СОН

Я уснул
и мать во сне увидел.
Плачет мать,
в руке зажав платок.
«Мама, мама, кто тебя обидел?» —
«Ты, родной, обидел, ты, сынок».

«Мама, мама, далека дорога,
на побывку не отпущен срок.
Я тебе сегодня не подмога...» —
«Не о том печалишься, сынок.

Не беда,
что не успел проститься:
закружил
и разлучил вокзал, —
для тебя приберегла мучицу,
а ушел —
и коржика не взял...»

НАБРОСОК РОМАНА

Все в душе отстоится...
Полюбя и губя,
не запомнил я лица,
еле помню себя.

Сколько было любовей!
Все они невпопад
преизбыточной болью
ночью душу свербят.

Надвигаются лица,
блиндажи, имена...
А в любви торопиться
нам велела война.

Нас она обучала
и жалеть, и беречь.

Нас она отлучала
от загадочных встреч.

Не убит и не ранен,
я по случаю жив,
героиня романа
по-над Волгой лежит.

Вспоминать неохота
тех прощальных смотрин...
Мне осталось лишь фото:
два на три.



Юрий Данилович Гончаров (1923–2013). Родился в Воронеже. Автор более тридцати книг, среди которых «Повесть о ровеснике», «Дезертир», «Целую Ваши руки», «Верность и терпение», «В голубом блеске Альтаира». Лауреат премии Союза писателей РСФСР, Государственной премии РСФСР, Воронежской областной премии имени А.П. Платонова. Участник Великой Отечественной войны, кавалер многих правительственных наград. Член Союза писателей России.

Юрий Гончаров

ДЫХАНИЕ ПАВШИХ

Рассказ

**«ЖИЗНЬ СЛОЖНЕЕ
ЛЮБОГО РОМАНА...»**

История войны в письмах

В Государственном архиве Воронежской области есть специальный фонд, посвященный жизни и творчеству замечательного писателя-фронтовика, лауреата Государственной премии РСФСР, Почетного гражданина города Воронежа Юрия Даниловича Гончарова (1923–2013). Среди материалов — рукописи, фотографии, документы и, конечно же, письма. Их много. Авторами некоторых являются известные советские писатели — В. Каверин, К. Симонов, В. Быков, В. Астафьев, Г. Бакланов, К. Воробьев, Ю. Бондарев, Е. Носов, А. Битов... Еще больше корреспонденций от воронежских братьев по перу и начинающих авторов. Но есть и особо ценные послания, которые были собраны Юрием Даниловичем в отдельную папку.

У этих писем — своя история. Фронтовая.

БОЙ, КОТОРЫЙ НЕ ЗАБЫВАЕТСЯ

Но прежде чем рассказать ее, необходимо упомянуть об одной особенности творческого стиля писателя Юрия Гончарова. Фронт многое определил в его жизни, поэтому для героев его военной прозы пространство войны никогда не

было отвлеченным и умозрительным. Абсолютная конкретность сражения воспринималась ими как ошеломляющий факт жизни, подчинивший себе все, что они до того момента любили, знали, желали. Их пространство войны лежало прямо перед глазами, и это была жестокая правда их жизни. Реальное пространство страдания и боли, где они проливают кровь.

При этом, в отличие от героев большинства авторов своего поколения, писавших о войне, герои военной прозы Ю. Гончарова почти всегда возвращаются со своего поля сражения (первый рассказ писателя, опубликованный еще в 1946 году, так и назывался «Возвращение»). Они получают лишь ранение — памятку-отметину на всю последующую жизнь.

Как правило, это ранение — в ногу.

К примеру, в рассказе «Война» (1958) читаем: «На окраине деревушки — он так и не вспомнил потом названия, где-то в Галиции, уже за старой государственной границей, — он лежал с простреленными ногами в пыльных лопухах на меже огорода».

В рассказе «В ожидании телеграммы» (1992) встречаем такие строки: *«Приговор госпитальной комиссии был кратким и категоричным: к дальнейшей службе в армии не годись».*

— Зато нога при тебе, — утешил меня возглавлявший комиссию главный госпитальный хирург. — Два сквозных пулевых ранения — коленного сустава и стопы, в окопной грязи, с клочьями сапожной кожи, портяночной ткани в ранах, — это почти всегда гангрена. А гангрена, ты это в госпитале повидал, как правило — ампутация. А у тебя обошлось. Хоть и хром, а все не полпуда железа и дерева вместо своей ноги...»

А вот диалог из знаменитой повести «Целую ваши руки» (1979), отмеченной в свое время Госпремией:

«— Ты был ранен? Опасно? — спросила Александра Алексеевна, оглядывая мою шинель, кирзовые сапоги, палку в моей руке».

— Пустяки! — сказал я. Пуля из немецкого автомата раздробила у меня ступню, она почти не сгибается и не будет сгибаться, но это в самом деле можно считать пустяком в сравнении с тем, что видел я на фронте и в госпитале. Нога все-таки при мне, своя. Натрудишь — отекает, по ночам ноет, но ходить можно. Из армии, однако, комиссовали по чистой: такие и в нестроевых не нужны...»

Подобные примеры можно приводить еще и еще. Они не случайны.

В своем творчестве Юрий Гончаров никогда не обращался к чужому для себя материалу, к проблемам, о которых имел самые приблизительные представления, к публицистическим рассуждениям обезличенного свойства. Вот и ранение в ногу, которое часто постигает его героев в разгар боя, — это тоже личный опыт писателя...

В 1980 году, в канун праздника 35-летия Победы, редакция газеты «Советская Россия» обратилась к группе известных писателей-фронтовиков с просьбой ответить на несколько вопросов, связанных с их военным прошлым.

На тот призыв Юрий Данилович откликнулся сразу. 1 мая 1980 года редакция опубликовала его ответы. На вопрос о «самом памятном бое, который стал в его творчестве и литературным фактом» воронежский прозаик ответил так:

«Я участвовал в тяжело, кровопролитном, тянувшемся несколько недель сражении на Курской дуге с того момента, как дивизии 53-й армии генерала Манагарова¹, стоявшие в резерве, в том числе и 214-я, в которой я был рядовым пехотинцем, были введены в действие и, проламывая оборону врага, стали обходить с запада немецко-фашистские части, державшие Харьков. Для меня это сражение кончилось второго сентября на скошенном поле после взятия деревни Старый Мерчик и многократных попыток перерезать шоссейную дорогу Харьков—Полтава. Я был ранен в тридцати шагах от немецкого пулемета, полузасыпанного дымящимися гильзами. Пулеметчик

стрелял остервенело, безостановочно, и спасло меня только то, что, падая, я угодил в глубокий след танковой гусеницы. Бой, в котором ты ранен, пуля, которая тебя пронизала, — это не забывается никогда».

В ту пору многие фронтовики еще были живы, поэтому ответы Ю. Гончарова на анкету «Советской России» вызвали немало откликов, общий смысл которых выразил в своем письме ветеран того же полка одессит Борис Иванович Штепа: «Дорогой Юрий Данилович!!! Думаю, не ошибусь, что тот день, когда я вычитал в газете фамилию однополчанина, для меня останется в памяти навсегда».

Но особо важным для писателя оказался отклик, который пришел из Армавира.

«Дорогой друг, товарищ и даже тезка мой Юрий! — начиналось то письмо. — Сразу же по прочтению первомайского номера „Советской России“ сел Вам писать, не зная даже адреса.

Что меня поразило — общность мыслей, судьбы и, самое главное, места действия. Это как чудо! Я тоже был в боях на Курской дуге, и был в том бою за Старым Мерчином, когда мы пытались перерезать шоссе Харьков—Полтава около г. Валки, где оно отходит от железной дороги. Только я был командиром танка Т-34 во 2-м танковой батальоне 24-й гвардейской танковой бригады в 5-й танковой ротмистровской² армии. И тоже именно 2 сентября на рассвете ранением в горющем танке на том же скошенном поле за Старым Мерчином кончилось и для меня это сражение (к счастью, только это, а не бои на фронтах войны). Возможно, в глубокий след гусеницы именно моего танка упали Вы в том бою...»

Автором этого письма был ветеран войны подполковник Юрий Максович Поляновский. Помимо всего прочего, он оказался еще и сыном писателя Макса Поляновского — соавтора Льва Кассиля по книге «Улица младшего сына», популярнейшей в 1950–1960-е годы по-

вести о жизни и смерти юного партизана Володи Дубинина.

Так, спустя три с половиной десятилетия, неожиданно нашли друг друга два участника одного боя, имевшего для них судьбоносное значение.

ЕГО КОЛЕЯ

В 1977 году в Воронеже вышла очередная книга Ю. Гончарова, названная писателем «Поле сражения». Примечательно, что конкретного произведения с таким заглавием у Юрия Даниловича нет. Это была общая формула его творчества, ключ к характерам гончаровских героев.

Поле сражения в прозе писателя — физически осязаемая территория, воспринимаемая автором как одна из важнейших характеристик войны. Оно статично и неизменно — это его поле сражения, и неважно, стреляют там сейчас или мирно шелестят травы. Потому что на этом поле всегда решается судьба конкретного человека, которая может в мгновение оборваться.

Когда-то пехотинцу Юрию Гончарову и танкисту Юрию Поляновскому повезло: судьба уберегла их на поле сражения, и теперь ветераны взахлеб рассказывали друг другу, как это получилось.

Ю.Д. Гончаров — Ю.М. Поляновскому:

«...Ночь на второе сентября началась с того, что, как всегда, юрко бегали и ползали связисты, проверяли и чинили провода. Привезли еду, разлили из ведер по котелкам. Раздавали патроны в бумажных пачках по 15 штук, гранаты с запалом Ковешникова³, но без ручек. Потом, в густой темноте, должно быть, уже в час ночи, нас собрали в кучку на склоне лога, и подполковник, замполит командира полка, объяснял нам задачу на следующий день: с рассветом будет артурдар по позициям немцев и после него все должны подняться в атаку. Во что бы то ни стало немцев надо столкнуть, впереди в километре-двух шоссе из Харькова на Полтаву, по нему выхо-

дят немцы из Харькова, вывозят свои склады, госпитали, технику. Бояться не надо, артналет будет мощным, подавит все пулеметы, ошеломит немцев. Надо только разом, дружно встать и броситься вперед...

Оставшуюся часть ночи мы использовали для того, чтобы ближе подползти к немцам и окопаться. Чтоб утром при атаке меньше бежать под их пулями и скорее достичь их окопов. Немцы бросали бело-зеленые ракеты, постреливали наудачу из пулеметов, низко, по самой стерне, но все же мы придвинулись к ним, отползли от края лога метров на 150–200. Казалось, что их позиции совсем рядом, так отчетливо слышалось, как они переговариваются между собой, как звякают ложки о котелки, коробки с пулеметными лентами, как лязгают рукоятки винтовочных затворов и пулеметные замки, когда они заряжают свое оружие. Чувство было томительное, ждущее. Я лежал в ячейке, вытянувшись в рост, земля была теплой и слегка влажноватой, как-то мирно и сладко пахла. В глубине немецких позиций время от времени тарахтели мотоциклетные, автомобильные моторы, кажется, раз или два слышался рокот танков...»

**Ю.М. Поляновский —
Ю.Д. Гончарову:**

«Три наших танка оказались на участке фронта стрелкового полка, и наш старший группы — командир роты ст. лейтенант Протасов — был приглашен в блиндаж командира этого полка. Вскоре туда позвали и нас — командиров танков. Помнится, командир полка был с черной бородой и фамилия что-то вроде Фиалковский. Нам объяснили обстановку. Полк был нацелен на наступление. В первую очередь надо было, преодолев поле (скошенное, по-моему), овладеть каким-то хутором. Но оттуда, против наступавших еще днем, выдвигались мощные танки и вели по открытому полю ураганный огонь из пушек и пулеметов. Личный состав полка был в основном из призванных в только что

освобожденных районах людей, не обученных и плохо экипированных. Танков на участке не было. Была приданная полковая артиллерия, но для ее прицельной стрельбы не было данных.

В принципе, мы не были приданы этому полку и могли уйти в бригаду, но командование полка просило нас принять участие в бою. Говорили: „Оставайтесь, мы вам спирта, водки подкинем”. Мы согласились.

Решили сделать так: утром на рассвете, когда плохо видно, наши три танка пойдут на немцев, они по нам откроют огонь, в штабе полка засекут их и накроют артиллерией. По-военному это называлось — боевой разведдозор (БРД). Фактически смертники — на убой, но это была наша законная фронтовая работа, а за спиной у нас были уже прохоровские⁴ танковые бои, и мы думали о том лишь, как лучше вести этот БРД.

Совместные решения были приняты на рассвете, когда начиналось раннее теплое утро. Мы попрощались друг с другом, наметили курс каждому танку и пошли в атаку...»

**Ю.Д. Гончаров —
Ю.М. Поляновскому:**

«В три начало светать. Со стороны Старого Мерчика стали бить наши пушки, а из оврага за логом — минометы. Но — жидко, взрброд, мощного, массивного огня не получилось... Минут через пять стрельба прекратилась, и, помню, у меня и у всех, кто должен был участвовать в атаке, было недоуменное чувство и разочарование: и это — все? Связной командира роты, мальчишка лет 17-ти, кричал сзади: вперед! вперед! Но никто не поднимался, всем мешало недоумение, страх попасть под свои разрывы, если артудар продолжится, хотелось что-то узнать, какой-то ясности, и все собирались с духом. В это время, упреждая атаку, немцы открыли сильнейший огонь из тяжелых минометов. Против нашего взвода стреляли шестиствольные. Их грохот оглушал, видно, они стояли очень близко, мины взрывали, уносясь ввысь, а оттуда с истощным

визгом и скрежетом рушились на нас. Разрывы были такой силы, что земля подо мной вибрировала, края ячейки сжимались и выталкивали меня наружу. Взрывной волной смело бруствер, который я насыпал, шинельную скатку и несколько гранат. Винтовку при начале обстрела я догадался втянуть в ячейку, а то бы и ее унесло, и я остался бы безоружным. Мощно, плотно промолотив центр наших позиций, немцы перенесли огонь на фланги. Пулеметы их частили безостановочно, из разных точек, трассы расходились над полем веерами, скрещивались. Над землей еще не совсем рассвело, солнце еще не выглянуло, к предрастветной мгле добавлялся черный дым от разрывов, пыль, и мелькание белых фосфорических светлячков по следу пуль над самой стерней было отчетливо видно. В нашей цепи появился сам командир роты, на корточках, с двумя саперными лопатками, одна за поясным ремнем для защиты живота, другая в руке перед грудью и лицом, стал кричать то же, что до этого кричал его связной: вперед! вперед! Увидел убитых, разорванных минами. „Они же пристрелялись, вас же всех здесь перебьют, вперед!“...»

**Ю.М. Поляновский —
Ю.Д. Гончарову:**

«Мой танк уже прошел половину пути по полю, когда я увидел в прицел длинный ствол танковой пушки. Это был „Тигр“ или „Фердинанд“ с 88-мм пушкой. Я выстрелил сначала уже заряженным осколочным, а потом броневой снарядом. Но следом страшной силы удар потряс мою машину, и вместе с ударом в голову я потерял сознание.

Когда пришел в себя, то, задыхаясь от дыма, понял, что лежу на полу на боеукладке на промасленном коврикe, который уже загорелся от пламени в моторном отделении, и горят на мне брюки и рубашка, отчего я, видимо, и очнулся. Хотел опереться на левую руку, но не смог — в ней сидел осколок, из головы шла кровь и с макушки клочьями висела кожа с волосами. Глаза заливали кровь со лба, вспоротого осколочка-

ми. Рядом лежал заряжающий с размозженной головой. Механика и радиста не было.

Превозмогая боль, дополз до открытого переднего люка механика-водителя и вывалился из танка, упав на труп радиста, которого, очевидно, застрелили, как только он вылез из люка. По мне уже не стреляли, так как танк горел. Помня, что как только огонь дойдет до снарядов и они взорвутся, с танка полетит вокруг все, в том числе и башня (кстати, те, кто видел на поле боя наши танки с сорванной башней, обычно ошибочно думают, что их сорвало попадание тяжелого снаряда, в то время, как их обычно срывает взрыв своих боеприпасов), я постарался отползти от него как можно дальше и, к счастью (как и Вы), попал в не очень глубокую воронку. Вновь теряя сознание, услышал, как взорвались снаряды.

Меня нашли и эвакуировали только, когда наша пехота пошла в атаку...»

**Ю.Д. Гончаров —
Ю.М. Поляновскому:**

«...Надо было подниматься. Ребята стали бросать вперед гранаты, чтобы прикрыть себя разрывами. Кто-то поднялся справа от меня, перебежал и упал впласт. На сердце было жутко. У меня уже был достаточный опыт пехотинца, я понимал, попытка наша бессмысленна, глупа, выйдет один убой — и больше ничего. Понимал это, конечно, и командир роты, но над ним был приказ и он должен был его выполнять. Помню, я ждал, что буду сразу же убит, едва поднимусь из ячейки, и приготовился к этому, вставал, уже мысленно и всеми своими чувствами простившись с жизнью. Но приподнялся, пробежал вперед шагов двенадцать, бросился на землю — и сам удивился: не зацепило. Но после окопчика чувство было полной беззащитности, такое, будто я лежу на поверхности поля весь голый и видный всем немцам. Немец-пулеметчик заметил меня и несколько секунд пули его брили стерню совсем рядом со мной и скользили над самым затылком. В ленте его



Студент Лесного института
Юрий Гончаров — боец Воронежского
истребительного батальона. 1941 год

были бронебойные, зажигательные, трассирующие, разрывные и обычные пули. Разрывные рвались с треском от соприкосновения с соломинами и былками травы. Но из стерни вставали, появлялись перед пулеметчиком другие наши солдаты, немцу приходилось все время поспешно ворочать стволом своего пулемета, переносить огонь на другие цели. Я бросил еще одну гранату, последнюю, вслед за разрывом вскочил, кинулся вперед, и тут, с высоты роста, впервые на миг увидел немца за пулеметом, его белое лицо, шальные глаза. Ему тоже было страшно. Он косил по стерне, не успел поднять ствол выше, и поэтому пуля ударила меня в низ ноги, в левую ступню. Был только очень сильный удар, мгновенное онемение всей ноги — и никакой боли. В первый миг я даже не понял, что это пуля, — точно споткнулся обо что-то...»

Бой у Старого Мерчика разделил жизнь писателя на «до» и «после», став не только фактом его биографии, но и важным для его творчества символом. Тем самым полем сражения, что в повестях и рассказах Ю. Гончарова почти всегда заменяет беспощадность рока. Детали пейзажа и даже библейская обреченность людей, идущих по этому полю на смерть — не дают точности в описании внутренней напряженности этого пространства. Потому что дорога через поле сражения — это всегда дорога боли и потери, крови и пота. А еще — путь к жизни и свободе.

Молодой двадцатилетний парень Костя из рассказа Юрия Гончарова «День рождения» (1966) воюет в пехоте. Он прошел почти всю войну, не раз был ранен и вот почти уже перед самой Победой, в день своего рождения, он получает в бою еще одно ранение. Последнее.

О том, что сам писатель пережил прочувствовал на поле боя под Старым Мерчиком можно понять по следующим строчкам этого рассказа:

«Его левая нога глухо ныла и была как деревянная. В последней перебежке, уже падая на землю, в колкую щетку стерни, он почувствовал сильный, тупой удар по ноге и сейчас, лежа, гадал, чем его так сильно ударило — комком земли, осколком? Почему по всей ноге такая ломота, такое онемение? Чтобы выяснить это, надо было сесть или повернуться на бок, подтянуть ногу, а ни того, ни другого сделать было нельзя — можно было только лежать, не подымаясь над стерней, вжавшись, вдавившись в пашню...»

Самое трудное под таким огнем — решиться и начать двигаться. К неподвижности возникает быстрая привычка, инстинкт и сознание связывают с нею то, что пули проходят мимо, она начинает казаться единственным условием спасения. Очень часто это действительно так. Но тут, на этом поле, где шел уже просто безжалостный убой, в неподвижности была только обреченность...»

Герой рассказа «День рождения» выжил, скатившись в гусеничный след, ос-

тавленый на скошенном поле одним из трех участвовавших в бою танков. По мысли автора, в день своего рождения Костя как бы родился заново для той новой жизни, что ждала его после войны...

В 2005 году журналист Артем Драбкин выпустил первое издание книги-интервью «Я дрался на Т-34», куда включил несколько бесед с ветеранами-танкистами. Одним из них был уже известный нам Юрий Максевич Поляновский. Рассказывая о фронтовых буднях, ветеран не забыл упомянуть и воронежского друга:

«В Воронеже есть писатель Юрий Гончаров. В 80-м году в газете „Советская Россия” накануне Дня Победы задавали вопросы. Спрашивали, с кем из друзей переписываетесь и так далее. Гончаров сказал, что ни с кем из друзей он не переписывается, потому что всех их потерял. Он был ранен 2 сентября 1943 года в селе Старый Мерчик, под Харьковом. И меня там ранило! Я написал Гончарову. Потом ехал через Воронеж, мы встретились. Он был пехотинец. Спасся только потому, что оказался в танковой колее, в грязи. А нас там только три танка было, так что может быть в моей колее он и лежал... Потом мы с ним попали в один госпиталь».

ТА САМАЯ ДЕВУШКА

Если поле сражения предполагает эпос, то госпиталь — исповедальную лирику. Потому что военный госпиталь — это всегда история о девушке, неожиданно возникающей среди мужской схватки и спасающей обреченного на гибель воина. Таких девушек-спасительниц на Руси исстари называли сестрами милосердия, но на той войне милосердие себя исчерпало, и девушек стали именовать просто — медсестрами.

Одна из них упоминается у Юрия Гончарова в том же рассказе «День рождения»:

«Ватным тампоном, смоченным в чем-то желтом, девушка-медсестра, опустившись перед Костей на корточки, промыла отверстие ран. Кровь из них

текла, но уже слабо, а от жидкости остановилась совсем.

— Жжет? — спросила девушка участливо, взмахивая ресницами и как бы озаряя Костю коротким, почти мгновенным взглядом крупных, светло-серых, с зеленцой глаз.

Костя кивнул. На него нашла какая-то затрудненность, которая мешала ему сказать девушке хотя бы слово. Ему мучительно хотелось, чтобы процедуры поскорее кончились, чтобы девушка отошла, перестала им заниматься, смотреть на него. Он вдруг устыдился своей обнаженной ноги, того, что она некрасиво-тонка, покрыта волосами, а пальцы грязны, пахнут потом, портянкой. Сколько же он не мылся, не снимал ботинок, не разматывал обмоток!.. А девушка была мила, у нее были такие чистые руки с удлиненными, в едва уловимой просини тонких вен пальцами, такая прелестная матово-смуглая кожа лица, которое он с непонятным спазмом в сердце видел от себя совсем близко, такие удивительные своей воздушностью, в шелковистом лоске пряди волос из-под зеленой беретки со звездочкой... Девушку нельзя было назвать красивой — слишком крупные губы, крупный нос, но в ней была прелесть юности, женственности, которые с избытком возмещали внешние недостатки. Халатик на ней распахнулся, темно-зеленая юбка туго натянулась на бедрах, обнажив голени голых, без чулок, ног — гладкие, глянцевитые, слегка загорелые, в светлом пушке...

Руки девушки, влажный теплый блеск ее глаз, то живое, что смотрело из них на Костю, как бы соприкасаясь, невидимо для окружающих вступая в волнуемое соединение с тем, что жило, вибрировало, волновалось в его душе, ее промытые, шелковистые волосы, ее колени с угадывавшимися под халатом линиями бедер, ног, узкой талии — все это было для Кости как какое-то чудо, опять как что-то такое, о существовании чего он когда-то знал, но почти полностью забыл, как одно из явлений того мира, что долго оставался для него где-



Медсестра Клава Якушина,
в замужестве — Клавдия Ивановна
Липовцева. Май 1945 года

то позади и вот опять был ему открыт, распахнут и встречал его, сделавшись во сто крат прекрасней, притягательней, новее и драгоценней каждой своей мелочью»...

Развития эта линия в рассказе не получила: там девушка-медсестра лишь мелькнула, став символом возвращения притягательного мира. Но вот спустя годы эта история получила неожиданное развитие. И причина этому — все то же выступление писателя в газете.

**К.И. Липовцева —
Ю.Д. Гончарову:**

«Дорогой Юрий Гончаров!

В газете „Советская Россия” за 1 мая я прочитала Вашу анкету писателя-фронтовика. Я тоже из 53-й армии Маннагарова (позже он командовал нами на Забайкальском фронте и наша армия 53-я участвовала в освобождении Порт-Артура), из армейского госпиталя ГЛР⁵ № 2919, старшая операционная сестра и очень обрадовалась, что „встретила земляка”...

Вам повезло, Вы после войны окончили институт⁶. Я до войны кончила мед. техникум и 3 курса Смоленского мединститута, добровольно пошла на

фронт. Вернувшись из Китая в январе 1946-го, пошла на 3-й курс 3-го Московского мединститута. Пришлось повторить материал за 3-й курс, т.к. это был февраль, а на 4-й курс пошла в сентябре 1946 г., но по состоянию здоровья не могла учиться. Так и прошла жизнь недоучем, правда, меня все утешали, что я грамотный фельдшер, а мне до сих пор снится, что я поступаю в институт уже вместе с дочками, и во сне же себя спрашивая: зачем же мне кончать институт, когда я уже на пенсии?

Наверное, надоела Вам со своим излишним, но так обрадовалась, когда прочитала Вашу статью: я из 53-й армии, и муж мой из 214-й дивизии...

На ответ — наверное, не надеяться?..»

**Ю.Д. Гончаров —
К.И. Липовцевой:**

«Дорогая Клавдия Ивановна!

И как это Вы могли закончить свое письмо такой фразой: на ответ, наверное, надеяться не надо!

Вы представить себе не можете, в какое волнение привело меня Ваше письмо! Ведь это не просто письмо читательницы и человека, одного из тех, кто составлял когда-то 53-ю армию, это ведь еще и как бы живой голос оттуда, из далекого-предалекого уже времени, из огненного лета 43 года! Значит, Вы были операционной сестрой в госпитале № 2919? Я сразу кинулся искать свои госпитальные бумажки. У меня их две: „Свидетельство о болезни” и „Справка о ранении”. Пожелтевшие, полуистлевшие, истершиеся на сгибах, с мочальными краями, но — сохранились. Развернул я их — именно так: эвакуогоспиталь № 2919...

Госпиталь, в котором я был на излечении, находился в Дергачах, севернее Харькова, в километре-полуторах от станции, в большом, кажется, четырехэтажном здании и окружающих его постройках. Вокруг здания были сосновые лески, метрах в двухстах к западу текла узкая речонка, кажется, называвшаяся Казачья Лопань. Помню разговоры, что в здании этом до войны поме-

щался какой-то харьковский институт, вроде бы зооветеринарный. Немцы оставили внутри здания на дверях свои надписи и наклеенные картинки; при них, кажется, в здании был тоже госпиталь. Я лежал в просторной светлой комнате на 3-м этаже, кроватей не было, просто вдоль стен была настлана солома, накрыта одеялами, и на этих одеялах, положив головы на свои вещевые мешки, у кого они сохранились, не снимая верхней одежды, грязных, разрезанных при перевязках, испачканных засохшей кровью гимнастеров, лежали мы, раненые бойцы из разных частей и полков. Я был из 788-го стрелкового полка, как Вы уже знаете — 214-й дивизии. Когда надоедало лежать, кто мог и как мог — хромая, ковыляя, прыгая на одной ноге, подпираясь костылями или палками, — выбирались по лестнице вниз, во двор, в сосновые посадки или на берег речушки. Около нее были огороды местных жителей. Овощи уже поспели. Хотя нас в госпитале кормили неплохо, но от скуки и бездеятельности у всех был повышенный аппетит, раненые ломали на огородах кукурузу, пекли на кострах. Около этих костерков, пока поспевала кукуруза, всегда шли интересные солдатские разговоры: кто откуда, как жил прежде, что довелось видеть на фронте, как ранило. Какие истории, какие сюжеты! — на двадцать писательских жизней. Но тогда я ничего не записывал, и большинство слышанного безвозвратно забыто.

В соломе в палатах от скученности заводились блохи и всякое другое зверье. Помню такое веселое событие: однажды по приказу начальства всю солому со всех этажей выбросили в окна, чтобы в палатах сделать дезинфекцию и заменить солому новой. Старую собрали огромными кучами и подожгли. Поскольку в палатах большинство бойцов лежали в одежде, а в карманах у многих были и патроны, и запалы для гранат, и сами гранаты, и патроны для ракетниц, часть этого добра оказалась в соломе. Когда ее подожгли, то началась такая пальба, как будто целый немец-

кий батальон прорвался к стенам госпиталя, а тех, кто не знал, отчего это, охватила даже паника.

За время лечения в госпитале я был много раз на перевязках, в операционной мне чистили рану, и, конечно, я не один раз должен был Вас видеть. Возможно, что я смогу узнать Вас, если увижу Вашу фотографию тех лет. Сестры и младшие врачи в перевязочной скоро узнали, что я студент первого курса (я был в очках, на передовой тоже был в очках), и отнеслись ко мне, как-то выделяя из других солдат, с особой теплотой. Однажды, это было под вечер, когда садилось солнце, одна из сестер, которую я раньше видел только в перевязочной, встретила меня возле здания; она была свободна от дежурства, не в халате, а в гимнастёрке с погонами, пилотке, и мы с ней долго и хорошо разговаривали. Отчетливо помню, что про себя она сказала, что училась в медицинституте и с третьего курса пошла в армию. Это могли быть и Вы. Девушка та была старше меня года на два, на три, среднего или чуть выше среднего роста, темноволосая, но не брюнетка, очень милостивая, доброта и сердечность так и струились из ее глаз. На погонах у нее, кажется, была одна звездочка — мл. лейтенант медслужбы. Я рассказал ей про себя, что я из Воронежа, окончил школу, поступал в Лесной институт, но — война, что очень люблю литературу, занимался в литкружке, хотел стать писателем. Девушка, ободряя меня, сказала: вы еще станете и про все про это напишете, что видели... Отчетливо помню такую детальку: в руках у девушки была пачка или две папирос, это она получила какой-то полагающийся ей паек, пачки были не большие, а узкие, по десять штук. Вы — если это были Вы — предложили мне взять папиросу, открыли и протянули пачку, и я тащил из пачки своей рукой. А рука у меня, хотя все мы в госпитале уже не один раз мылись, все еще была „окопной“, с глубокой вьевшейся грязью, синевой под ногтями, и мне было неловко и стыдно за эту грязь...»

**К.И. Липовцева —
Ю.Д. Гончарову:**

«Да, дорогой брат, это я была та девушка — в госпитале была только одна студентка, и лежали Вы в Дергачах наверняка в нашем отделении, т.к. мы — 3-е отделение — лечили „от пупка и ниже“, за что нам доставалось — ноги заживали хуже, чем руки, а нам устанавливали сроки на излечение каждого раненого.

Да! Солома та придерживалась речками, чтобы не разлеталась... Мы сутками не выходили из операционной и перевязочной, только раз удалось съездить в Харьков в театр, где я спала на „Сильве“, благо места были — бельэтаж.

Посылаю Вам фото. Узнали? Похожа на ту девушку?!»

**Ю.Д. Гончаров —
К.И. Липовцевой:**

«Дорогая Клавдия Ивановна, да, это были Вы, я узнал Вас на фотокарточке! Помню Вашу прическу, на снимке — она такая же. Действительно, все это как из придуманного романа — после стольких лет (и каких!) найти друг друга через газету и письма!.. Жизнь, это давно замечено, сложнее и хитрее любого романа, и зачастую устраивает такие штуки, какие ни одному романисту не придумать... Вообще, предвижу, разговоров у нас будет много».

...Их переписка оборвалась через год. О причинах гадать не буду. Знаю только, что выживать в мирное время фронтовикам, а тем более фронтовичкам было сложно. Как бы ни старались они прижиться в мирной почве, война рано или поздно настигала их. Вот и Клавдия Ивановна Липовцева схоронила мужа, ухаживала за перенесшим тяжелую операцию братом, растила маленького внука, который часто болел, а его родители были загружены работой... Обо всем этом она обстоятельно рассказывала в письмах к своему фронтовому другу, ставшему известным воронежским писателем.

А если выпадали спокойные минуты, спешила сообщить всяческие приятные «секреты».

«О! Если бы Вы знали, что было с Вашими письмом и книгой, — писала она в Воронеж в один из таких моментов. — Нина читала вслух с таким интересом и вместе со мной радовалась Вашему письму. Очень просила после прочтения дать ей и сыну прочитать „Дыхание павших“, но я сказала — нет, сходите и возьмите в библиотеке. Ну вот... Назавтра она рассказала на работе, что Клавдии Ивановне пришло такое письмо интересное и книга, и ее бабы послали за моим письмом и книгой, пришлось дать. Ну и был комментарий очень интересный — а у них в отделе почти одни женщины: бумажная фабрика — и все решили, что Вы тогда были в меня влюблены... Ну, как же и рук-то своих стеснялся „окопных“, и все запомнил — какая я была и т.д. и подпись в письме „Ваш Ю. Гончаров“. Мне прямо нравятся их непосредственность, простота и т.д. Говорю Нине, что так пишут, что он очень рад, что через столько лет и живой голос из далекого, страшного прошлого.

В общем, они меня развеселили. Некоторые меня не знают и спрашивали, а как теперь-то я, все симпатичная?»

Но при этом в каждом своем письме Клавдия Ивановна неизменно возвращалась к одной и той же теме — судьбах фронтовиков, ветеранов 53-й армии. Она знала все их адреса, помнила, какие проблемы со здоровьем были у каждого, кто испытывал бытовые трудности. И старалась помочь. Всем.

«Юрий Данилович! Какой же Вы молодец, как же хорошо Вы пишете, будто все это видишь своими глазами... Прочла „Дыхание павших“ и не смогла далее читать — плакала... Всех вас, моих фронтовых братьев, я прекрасно помню. И всех вас — люблю...».

Так заканчивалось ее последнее письмо.



Юрий Данилович Гончаров на площади Победы.
Воронеж, 9 мая 1991 года

* * *

«...Он то смотрел на памятник, на цветы, то поворачивался лицом к шоссе, слушал салютующие гудки проходящих машин. И думал о том, что он приедет сюда еще раз... Вот закончится в колхозе уборка, попросит он себе у председателя отпуск... Даша сошьет из холстины мешочек, насыпет он в этот мешочек деревенской земли, на которой вырос, вскормился, жил, работал его отец, которую он пошел защищать в сорок первом году для своих детей, — а теперь на ней живут и внуки, и недолго ждать уже до правнуков, — и привезет он сюда эту горсть, положит землю родной их Васильевки у памятника, где цветы, рядом с землей из других мест и краев России...

Как кладут землю с родины на далекие могилы своих близких, чтоб грела она их мертвые сердца...»

Юрий Гончаров. «Дыхание павших» (1978).

Дмитрий ДЬЯКОВ

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Манагаров Иван Мефодьевич (1898–1981) — генерал-полковник, Герой Советского Союза. С марта по декабрь 1943 года и с марта 1944 года и до декабря 1945 года командовал 53-й армией. В одном из писем Ю.Д. Гончарова есть такие строки: «Фамилию командующего 53-й армией Манагарова я узнал уже после войны, когда отпали многие секреты и в статьях и книгах стали называть номера частей и фамилии командиров. Между прочим, Манагаров живет в Ялте, уже глубокий старик, за 80 лет ему. На набережной есть стенд «Знатные люди Ялты», и в ряду с другими портретами висит и его портрет. Однажды, года три назад, я столкнулся с Манагаровым в ап-

теке. Он был в штатском, но я его узнал — по портрету. Он купил какие-то сердечные лекарства, вышел и медленно побрел в тени деревьев, опираясь на палочку. А я долго шел сзади, смотрел в его сутулую, старческую спину, на мелкие его шагжки и вспоминал, как в августе 43-го наступала под Харьковом его армия, беспрерывно гремел и грохотал фронт, как в черноте коротких ночей полыхали розовые зарева, ширились и двигались всё дальше и дальше в глубь немецкой обороны, и казалось, это не полки и дивизии ведут свое наступление, а огненная вулканическая лава обтекает занятый немцами Харьков с двух сторон... Подойти к Манагарову и заговорить я почему-то не решился: что мог такое я ему сказать, ведь я был просто рядовым солдатом, одним из двух-

сот или трехсот тысяч солдат, крохотной песчинкой в том урагане. Потом пожалел, что не подошел».

² По фамилии командующего армией Героя Советского Союза П.А. Ротмистрова (1901–1982).

³ Советский механический запал, созданный Федором Ковешниковым в 1920-х годах для замены запала образца 1915 года французского производства. Главное назначение — подрыв основного заряда гранаты через 3,5–4,5 секунды после броска.

⁴ Речь идет о знаменитом сражении в ходе Курской битвы в районе станции Прохоровка, произошедшем 12 июля 1943 года. Счи-

тается крупнейшей танковой битвой в военной истории.

⁵ Госпиталь легкораненых.

⁶ На вопрос анкеты «Советской России» о том, с чего начались для него мирные дни, Ю.Д. Гончаров ответил: «Через месяц после Победы я, принятый в Воронежский пединститут, вместе с другими студентами, среди которых почти все парни были в таких же, как на мне, фронтовых гимнастерках, выносил кирпичные обломки из обугленных стен нашего институтского здания. Мы сами, студенты с преподавателями, своими силами восстанавливали институт, чтоб было где сесть за учебные столы».

1

Когда рано утром, еще до начала работы, за шофером Алексеем Дмитричем Будаковым прибежала посыльная и сказала, что зовут в правление, к председателю, Будаков понял, что дело — сугубо важное. А то б не стали звать в правление, да еще к самому председателю. Верно, ехать ему в Воронеж. Или что-нибудь вроде этого. В такие ответственные поездки посылали обычно только его — самого опытного, аккуратного из колхозных шоферов, непьющего, и потому — надежного.

В Воронеж Будаков ездил, должно быть, сотню раз. Весь путь туда и обратно он знал наизусть: каждый спуск, каждый подъем, каждый изгиб, поворот дороги. Знал пригороды и центр, как лучше въехать, выехать, и никогда не терялся на городских улицах с их обилием транспорта, снованием прохожих, со светофорами и милиционерами на каждом перекрестке.

Но председатель первыми же своими словами огорошил Будакова: нет, на этот раз не в Воронеж, а совсем в незнакомую сторону, далекую, за полтыщи километров. В брянский племхоз. Колхозу занарядили двух породистых бычков. Зоотехник уже там, деньги заплачены, вот его телеграмма, надо забирать немедленно, пока кто-нибудь не перехватил. Упустим — тогда опять жди неизвестно сколько. И так два года ждали. Поэтому, сказал председатель, готовь, Алексей Дмитрич, машину немедленно и по готовности сразу же выезжай. И гони без остановки.

Чтоб завтра быть уже там. Это даже лучше — ночью ехать: прохладно и дорога пуста.

Сказав все это, председатель протянул Будакову путевой лист, уже заполненный и подписанный, с лиловой колхозной печатью. Канцелярской скрепкой к нему были приколоты талоны на бензин и командировочные деньги. Такая оперативность была совсем не обычна для колхозной бухгалтерии, проявлялась в редчайших случаях, и одно это уже свидетельствовало, сколь важно дело с бычками и как обеспокоен председатель, чтоб они были поскорее доставлены в колхоз.

— Напарником Павла Дударова возьми, — сказал председатель, заключая свои распоряжения. — Он по трассе еще не ходил, надо ему ума набираться. Только когда с бычками поедете — руля ему не давай, веди все время сам. Понял? Молод он еще. Растеряется — и загубите бычков. А это, знаешь, сколько рубликов?

— Тыщонки полторы? Две? — предположил Будаков.

— Если бы! — усмехнулся председатель.

На гаражном дворе шофера копошились возле своих машин, налаживая их, регулируя моторы, готовясь к выезду на работу. Кузова почти всех грузовиков были с надставками из досок. Колхоз косил на силос кукурузу, ее спешили убрать, пока она свежа, и все шофера в эти дни занимались одним: возили с полей зеленую массу к бетонным траншеям.

— Зачем вызывали? — окликнули Будакова. Ничто не остается в деревне сокрытым, все тут же расходится по людям. Кто-то, значит, слышал про его вызов в правление, сказал остальным.

— В командировку, — ответил Будаков буднично, точно несколько не был взволнован поручением.

— Далеко?

— Под Брянск, в племхоз.

— Ого! — присвистнул кто-то удивленно. Будаков не стал больше ничего пояснять, предоставив шоферам самим оценивать его сообщение. Большинство среди них — молодежь. Одни после сельской десятилетки окончили водительские курсы в райцентре, другие изучили шоферское дело на службе в армии. Технику, ничего не скажешь, все они знают хорошо, и на курсах, и в армии учат неплохо, но ездить им приходилось, в основном, внутри колхоза да по грейдерным дорогам своего района. Перед большими автомагистралями, дальними рейсами у всех у них не то чтобы страх, но вполне естественная робость, и тот, кто уже «ходил по трассе», кому доверяют дальние рейсы — в их глазах имеет особую цену, особый авторитет и почет. Будаков знал почтительное отношение к себе молодых шоферов, но никогда не козырял своим отличием от них, не важничал. Просто он намного старше — вот и все. Когда-нибудь и они наберутся опыта и, может, даже еще превзойдут его, Будакова. Не мудрено. Хороших дорог все больше и больше, год назад проложили асфальт от райцентра до Воронежа, не за горами время, когда ровные ленты асфальта соединят все до единого районные села, и всем шоферам подряд станут привычными высокие скорости, строгий порядок автомобильных шоссе, где только гляди да гляди, будь начеку, а то миг расплатишься за свое невнимание или небрежность.

Будаков сам когда-то был таким, как эта молодежь. Четверть века назад, когда он начинал свою шоферскую жизнь, внутри области вообще ни одной твердой дороги не было, только щебневое пыльное Задонское шоссе, и тогда тоже шофера с уважением, даже еще большим, смотрели на тех, кому довелось побывать вблизи Москвы, выезжать на настоящие автомобильные магистрали. Эти рассказы слушались, как воспоминания моряков, побывавших в неведомых краях, полных небывалых, удивительных вещей.

Павел Дударев обрадовался, как мальчишка, что он назначен в напарники. Во-первых, интересно прокатиться так далеко, повидать популярные места, незнакомые города и городишки. Он еще не бывал нигде. Колхоз, армия, опять колхоз — и все. Даже Москву не видел, а в Москве кто сейчас не бывал? Во-вторых, от ездивших в такие поездки он знал, что это дело калымное, на дорогах всегда просят пассажиры. Подвез — вот тебе с носа полтинник, а то и рубль. И обед, и ужин, и курево, и бутылка — считай, задаром! Невысокого росточка, верткий, чернявый, по моде деревенских парней отравивший волосы по самые плечи, он тут же возбужденно взгорячился и весь внутренне заспешил — в готовнос-

ти исполнять команды Будакова, скорей наладить машину к рейсу и тронуться в путь.

А Будаков, напротив, не стал торопиться. Присев на подножку своего старенького, но опрятного ГАЗа, старательно подкрашенного там, где облупилась краска, он вытащил пачку «Примы», закурил и стал размышлять, что надлежит сделать с машиной, чтобы она не подвела в пути. Он всегда так делал — сначала неторопливо намечал в уме, а уже потом приступал к делу. А то если засуетишься не подумав, обязательно что-нибудь забудешь, упустишь, а потом — кляни самого себя, свой спех и забывчивость.

Грузовики один за другим съезжали с гаражного двора, гремуче встряхивая пустыми разболтанными кузовами, и резво устремлялись вдаль, взбивая дорожную пыль. Веселая, азартная это работа — возить с полей зеленое, влажное от собственного сока крошево, шофера ее любят. И нетрудно, и заработки набегают приличные, и вообще это время летней заготовки кормов — вроде праздника, особенно если еще такие вот погожие, ясные дни, сухие дороги. Удовольствие — да и только!

Так, соображал про себя Будаков, значит, прежде всего — свечи в керосине промыть, почистить. Карбюратор продуть, жиклеры. Установку зажигания проверить, что-то, кажется, поздноватым оно стало, сбилось. Клапаны он недавно регулировал, трогать их не надо. Тормоза тоже в порядке, колодки новые. Колеса надо внимательно посмотреть, нет ли гвоздей в протекторе. А то, бывает, влезет, и едешь с ним. А потом он и камеру прокалет на ходу. А на трассе такое происшествие — не дай Бог. Машину сейчас же понесет в сторону, в кювет или на встречные. Вот и авария.

Подготовка протянулась до обеда. Залив полные баки бензина, Будаков подогнал «газон» к своему дому. Даша, жена, отпросившаяся с молочного завода проводить мужа, он еще в дом не вошел — уже поставила для него на стол полную миску жирных щей.

Будаков наскоро похлебал. Поднялся.

Даша подала ему сумочку с дорожными харчами, в нагрудный пиджачный кармашек сунула бумажку.

— Я тут тебе записала размеры. Посмотри там, где останавливаться будете, маечки для Витюшки, джинсы. Просит — и все, сладу с ним нет. И обувку какую-нибудь летнюю, хоть кеды, все равно. Полуботинки свои он уже добил совсем футболом этим окаянным, а в нашем магазине его номеров нету...

Павел Дударев, тоже бегавший домой подзаправиться и захватить нужные в дороге вещички, уже сидел в кабине.

— Поосторожней, Алеша, — попросила Даша.

Будаков чуть усмехнулся. Заботливая у него жена, да чересчур. Каждый раз она ему это напоминает. Не то он сам не смыслит?

— Ничего, не впервой. Ну, бывайте тут... Помидоры полей, а то желтеть уже стали...

— Папа, и я с тобой! Хоть до моста! — попросился Витюшка, самый младший из сыновей, третий по счету.

Пока Будаков ел щи, он то вертелся возле стола, то выбегал на улицу к стоявшей машине. Поглядеть на него — просто дикаренок. На голом коричневом теле одни трусы. Волосы почти белы от солнца, вихрами в разные стороны. Давно бы надо остричь, да не дается, сразу же в крик и слезы. И до таких малолеток длинноволосая мода докатилась. На щеке —

засохшая ссадина. Тоже, должно быть, футбольного происхождения, как и все его ежедневные синяки и шишки.

— Ладно, садись, — разрешил Будаков. Он помог мальчишке взобраться на высокую для него подножку, а там его подхватил Павел, посадил к себе на колени.

Будаков зашел с левой стороны кабины, сел за руль, прихлопнул дверцу.

Давным-давно, перед самой войной, он был таким же точно пацаном, гордым тем, что отец его Дмитрий Матвеич — эмтээсовский шофер, ездит на полutorке. Это сейчас шофера в деревне — через одного человека, а тогда профессия эта только начиналась, и в глазах мальчишек шофера были необыкновенные люди. Вот так же караулил он счастливые минуты, когда отец заезжал на машине домой, и вот так же просился прокатиться в кабине, и отец не отказывал, катал, часто — до того же моста на выезде из деревни. Мост и тогда существовал. Не такой, правда, пожиже, поуже, из хлипких бревен. Прочней тогда и не требовалось, техники в селе было еще не богато, ездили и работали в основном на волах и на лошадях.

Оттого, что он покидал деревню и дом на несколько дней и впереди предстояла длинная и трудная дорога, на которой всякое может случиться, и внутри, под сердцем, томяще шевелилось чувство разлуки со всем родным ему и домашним, Будакова пронзило это сходство между восьмилетним Витюшкой и им самим — из той давней, предвоенной поры, и остро всплыла память об отце. Он был рослый, рукастый, весь точно обугленный, прожженный насквозь солнцем, от него всегда заманчиво пахло машиной: кожей сиденья, резиной, маслом, дорожной и хлебной пылью. Бесконечно много прошло с той поры лет, но даже отцовскую полutorку не забыл Будаков и мог бы узнать из десятка других таких же машин. Стоит ему закрыть глаза — и вот она вся перед ним: темно-зеленый тусклый лак капота и помятых крыльев, желтоватое, местами расслоившееся внутри ветровое стекло, черный, всегда горячий летом руль в мелких бугорках снизу — чтоб плотней, удобней охватывали его пальцы, стертые до белого металла педали... С этой своей эмтээсовской полutorкой отправился отец на фронт, когда началась война, и не вернулся...

Перед мостом Будаков остановил машину, высадил Витюшку. Тронувшись, выглянул из кабины в открытое окно. Витюшка стоял на обочине: вихрастый, все косточки наружу, ножки тонкие, как две соломинки, — смотрел вслед. На этом же месте, бывало, стоял он сам, Алексей, провожая отца, и смотрел, пока машина не скрывалась вдаль...

2

— Ну, все, оторвались... — радуясь, сказал Павел. Он поудобнее откинулся на спинку сиденья, вытянул ноги. — Полчаса — и Хава, еще часок — и на трассе...

— Не говори — гоп... — рассудительно ответил Будаков. Ровный, накатанный грейдер лишь слегка потряхивал машину. Ветер хлестко бился в проемах окон.

Отца Будакова, Дмитрия Матвеича, случалось, тоже посылали в дальние концы. Куда — Алексей по малости лет не понимал и названий тех не запомнил. Мать тоже тревожилась — не случилось бы что в дороге, собирала ему харчишек, укладывала в плетеную кошелку. Были тогда в быту плетеные кошелки, для базара, покупок, сейчас таких уже нет, не

делают. Бывало, отец отсутствовал подолгу, по неделе. В детстве такой срок — бесконечность. Вся жизнь Алексея превращалась тогда в ожидание. Пропадал интерес к играм с соседскими мальчишками. Он выходил на дорогу, смотрел — не едет ли? Каждое облачко пыли вдаль казалось машиной. Возвращался отец — и обязательно привозил какие-нибудь подарки. И ему, и сестрам. Хоть малость какую-нибудь, безделицу копеечную, пряник обливной, но — обязательно. Теперь, вырастив двух сыновей, с подрастающим третьим, Будакову это очень понятно — какой было радостью для отца приглядывать, покупать эти подарки — поясок ли, свистульку из глины, детские часики на ремешке, распределять — вот это девочкам, это — меньшому, Алешке... Отец не умел говорить нежные слова, обнимать, ласкать детей руками, как иные отцы. Его любовь к ним была застенчивой, невидной, в таких вот поступках: купить, принести что-нибудь из обуви, одежды, одарить нехитрыми игрушками...

Что-то все чаще вспоминается ему отец... Казалось бы, не должно в его-то годы... В такую уже даль ушло все то — детство, война, как приходили похоронки на деревню, как голосили по избам, всей семьей, и старики родители, и бабы-солдатки, и малые дети, кучей облепившие мать. Неделю назад — в той избе, сегодня — в этой... Об отце даже похоронки не получили, просто перестали приходиться от него треугольнички торопливых писем — и все, не стало у Алексея отца. Где оборвалась его жизнь, в каких боях, при каких обстоятельствах — про это не узнали, и до сих пор не знает Будаков. Словно бы не погиб, не умер человек, а истаял без следа, без остатка в том огне, что валом катился от западных границ, все и вся пожирая...

Письма от отца были короткие — одна тетрадная страничка. И — спокойные, как будто он был совсем далеко от того, что сообщалось в сводках по радио каждое утро и каждый вечер, или даже совсем в другом месте. Отец писал, что кормят хорошо, дают и суп, и кашу, курева — вдоволь, сапоги и одежда на нем крепкие, портянок целых три пары. Получил ватник, называется — бушлат, в нем и зимой не замерзнешь. А пока годится спать. Ночи прохладные, спит он в машине или возле: завернешься в бушлат — и тепло, и мягко... Про дела свои на фронте, про обстановку отец писал скупно, как будто это было вовсе не главное, и так, будто никакие опасности ему не грозили: он только подвозит боеприпасы, разные грузы, — что прикажут; от передовых далеко, близко подъезжать не приходится, на километр-полтора, туда даже пули не долетают... И только из слов, что у него уже вторая машина, а с первой пришлось проститься, можно было понять, что не так все просто там, где находится отец, и пишет он так подробно про суп, кашу и сапоги потому, чтоб не писать про главное. Алексеева мать ясно все это понимала, бодрые отцовские письма приводили ее в скорбь и тоску и оставляли ожидание неминуемой беды, несчастья. А Алексей сожалел, что отец его не воюет, как настоящий солдат, с винтовкой или пулеметом, что он даже от передовой далеко, — вроде бы вообще не на войне...

Будакова не удивляло, что ему часто и по разным поводам приходят думы об отце. Причина была в том, что он сам подходил к его возрасту и чувствовал, как с этим сближением все отчетливей и ясней проявляются в нем отцовские привычки и черты. Оставаясь Алексеем Будаковым, он в то же время совмещает в себе еще и своего отца Дмитрия Матвейча, незримо для всех и только ощутимо для одного Алексея как бы продолжающего свою оборванную жизнь в его, Алексеевом, образе.

То в каком-нибудь разговоре сорвется фраза, и Будаков вдруг припомнит — так ведь это же так говаривал его отец! То вдруг жест какой-то, движение, не бывавшие у него прежде, а задумайся, напруги память — это тоже отцово. То вдруг размышления про что-нибудь, рассудительность — и опять это от отца: он так бы подумал, поступил... Отец был бережлив с вещами, подолгу носил свою одежду, всегда снимал пиджак, облачался в рабочий комбинезон, если надо было заняться починкой, полезть в мотор. Одежда не даром достается, зачем портить добро, зачем ходить грязным? И самому неприятно, и другим. Не приставало к нему неряшество, каким отличаются многие механизаторы на деревне; идет такой тракторист, шофер или слесарь-механик — страшила-страшилой, в какой только грязи он ни вымаранный; поди, и лицо-то моет от бани до бани... Отец не любил опрометчивых поступков, ни в чем, ни в работе своей, ни в домашних делах. Ехать куда — загодя выпросит, разузнает про дороги, выберет понадежней, верней. Если груз — трижды проверит, как он уложен, увязан. Корову покупали — так отец всех продажных коров в округе переглядел, сравнивая и выбирая. Мать иногда с ним ссорилась: считала, что он медлительный, тугодум. Сама она была иного характера, порывистого, безоглядного. Подолгу не гадала и, если ошибалась, так недолго жалела потом. Ошибалась она и в отце. Тугодумом он не был. Просто он любил добротность, основательность, прочность во всем...

3

В Хае трепыхались на легком ветерке флаги, атели полотнища плакатов, протянутые поперек улиц. Как всегда, в канун уборки готовился слет механизаторов, и столица района украшалась, пестрела кумачом.

На центральной площади с серым бетонным зданием гастронома и разными другими магазинами вразброс стояли грузовые автомашины, газики-вездеходы, колхозные «Жигули» — недавних выпусков, но уже с помятыми крыльями и боками. Несладко этим неженкам на деревенских ухабах!

Будаков тоже остановился: купить на дорогу ситро или минеральной воды.

Среди людей, толпившихся в гастрономе, оказались знакомые. Будакова узнали. Он пожал с десятков потных, заскорузлых, темных ладоней.

— Далече намылился? Ну-у! Чего это? Гляди-ка, забогатели, значит... Ну, давай, давай, счастливо тебе... В Ельце мост чинят, поосторожней там!

Будаков купил четыре бутылки яблочного ситро, воткнул в брезентовые карманы на борту грузовика. Ветерок на ходу будет их студить, на любой жаре в таких карманах бутылки остаются холодными.

Пока он заходил в магазин, Павел Дударев мотнулся по киоскам. В одном купил кучу чебуреков, сразу же насквозь промасливших газету, в другом — пачку сигарет.

— Смотри, — сказал он Будакову, — новая марка, заграничные. «Хеба».

— «Нева», а не «Хеба», — сказал Будаков, скользнув глазами. — Ленинградские.

— Да ну! — удивился Павел. — Верно, Ленинград!

В руках его была еще одна покупка: портрет киноактрисы Людмилы Гурченко. Павел пристроил ее перед собой в уголок ветрового стекла. В

его «газоне» портретами киноактрис была облеплена вся кабина. Даже с потолка смотрели чьи-то лица.

— Насобирали бабья, гарем целый! И что ты их катаешь? — спрашивали Павла друзья.

— А веселей. Вроде я на «газоне» не одни, в компании. Ну-ка, девочки, говорю, айда за навозом! А теперь, подружки мои дорогие, на станции химудобрения нас ждут!..

— Это, братцы, он себе жену подбирает! Это у него для образца...

— Таким я не нужен, — спокойно отвечал Павел. — Такие — вушлые, им лауреатов, министров подавай. И мне такая без пользы. Я уж возьму — так свою, местную, курносую. Чтоб щи варила, за коровой ходила, детей рожала-нянчила...

— Щи... Небось бы клюнула такая краля — не отказался.

— А, может, клевала уже, и не одна, откуда ты знаешь? А видишь вот — холостой... Не, меня не собьешь, у меня линия твердая...

От центральной площади районного села дальше вел уже асфальт, и пустая машина покатила по нему легко, непринужденно, без дребезга, — точно сама радуясь такой дороге. Мотор гудел ровно, негромко, безнатужно. Стрелка указателя скорости подрагивала на шестидесяти. Будаков не прибавлял газу. Шофер-новичок или просто молодой шофер не удержался бы, понесся побыстрее: ровный асфальт и сильный послушный мотор всегда пьянят, зовут превратить езду в полет, — чтоб свистел разрезаемый воздух, чтоб серая лента шоссе слилась в глазах, будто раскрученный на полные обороты точильный круг. Будаков все это пережил в свое время, и давно уже к нему пришла шоферская мудрость, нужное на дороге спокойствие за рулем. Шестидесят — самая подходящая скорость. И машина без напряжения, вполсилы, и шоферу покойно, можно и по сторонам глянуть; что случись, всегда есть запас пространства и времени для маневра, успеешь и собраться, и затормозить.

Нигде больше не останавливаясь, обогнув Воронеж по объездной дороге, они выехали на основную трассу, убегавшую на север, прочерченную по середине белыми полосами, прерывистыми и сплошными — там, где нельзя обгонять.

Солнце уже опускалось, низко висело слева. Узкие тени от придорожных деревьев резали асфальт поперек. Там, где лесные посадки становились гуще, солнечный диск стремительно летел за стволами и сквозящей листвой, словно бы стараясь не отстать от машины, сравняться с ней в скорости, и слепящие солнечные лучи пулеметно били из-за стволов по кабине, по ветровому стеклу, по глазам Будакова, заставляя его жмуриться, прикрывать лицо ладонью левой руки.

На шоссе был совсем другой темп, совсем другая плотность движения, чем на дорогах, которыми Будаков и Павел Дударев ехали до сих пор. Они почувствовали это сразу же. Сигналя, помигивая бортовыми и хвостовыми огнями, их неторопливый «газон» поминутно обгоняли рейсовые автобусы, набитые пассажирами, мощные ЗИЛы, порожние и проседающие на рессорах под тяжестью, лежащей в их кузовах, разноцветные «Жигули» и «Москвичи». Такой же непрерывный поток несся навстречу, по левой стороне шоссе. С однотонным басовито-трескучим ревом дизельных моторов, в какой-то зримой, осязаемой наглядности своего труда и напряжения, шли друг за другом длинные автопоезда, нагруженные широкими бетонными трубами, контейнерами, какими-то машинами, механизмами. Блестя алюминия своих огромных вагонов, величаво плыли реф-

рижераторы — с ростовскими, краснодарскими, бакинскими литеррами на бортах, возившие в Москву мясо и овощи и теперь спешащие обратно, за новым таким же грузом. И так же юрко, сноровисто, будто без всяких усилий, как выпущенные из пращи, выскакивали из-за других машин и проскальзывали мимо ярко-желтые, синие, красные «Жигули» с московскими, ленинградскими, прибалтийскими номерами, с закутанной в брезент и клеенку кладью на крышах. Туристы, отпускники, — на юг, к морю, на отдых...

Будаков все же малость поволновался, когда выезжали на трассу, и на первых ее километрах. Но быстро освоился, а затем и полностью пришел в равновесие. Да, здесь тесно от машин, идут они непрерывной чередой, обязательно кто-нибудь маячит у тебя впереди, и сзади все время поджимают, висят на самом хвосте, выбирая момент для обгона, но все водители тут помнят о дисциплине, правилах, без этого тут просто нельзя, и километра не проедешь, никто не лихачит по-глупому, не мешает другим.

Белый придорожный плакатик известил, что на пути — Конь-Колодезь.

Село растянулось вдоль шоссе длинно, километров на пять. Слева, за строениями и садами, поблескивала зеленая гладь Дона. В середине села, на взгорке, видная издали, как свеча, белела каменная, суженная сверху четырехгранная колонна с вырезанной из железа бойкой скачущей лошадкой наверху.

Будаков сбросил скорость, проезжая мимо, — разглядеть.

— Коняшка! — показал Павел рукой. — Она-то зачем?

— С петровских времен, — сказал Будаков то, что слышал про этот памятник. — Когда еще Петр корабли в Воронеже строил...

Больше он ничего не знал, говорившие ничего больше не добавляли. Видно, за давностью времени забылось, по какому случаю встал при дороге этот каменный столб.

Белый четырехгранник, железная лошадка медленно проплыли мимо, а Будаков с совсем другим чувством взглянул на расстилавшуюся перед его глазами дорогу. Все на ней современное, недавнее, свежее: асфальт, указатели, знаки, а подумать — ей же ведь сотни лет! Она вела из Москвы на юг, в крепости, защищавшие от татар. Шагали по ней полки длиннородых ратников... Сколько раз меняли свой облик окрестная земля, города, села, а дорога эта — как была, так и осталась, бежит по тому же месту...

— Может, поедешь? — предложил Будаков Павлу, когда проехали село и по обе стороны от шоссе опять вольно распахнулись поля.

Павел, время от времени подкреплявшийся купленными в Хаве чебуреками, как раз дожевывал последний.

Он поперхнулся, заерзал на сиденье. Ответил не сразу.

— Ладно уж, веди. Я еще не пригляделся...

Будаков взглянул на него, усмехнулся краешками губ. А дома, в деревне, лихой ведь парень! Да еще какой! И за словом в карман не лазит, и прихвастнуть мастер, и водитель вроде бы на все сто — так иной раз по деревне промчит, что куры летом во все стороны и еще потом полчаса квохчут. А уж перед девчатами — так совсем орел...

В полевом просторе рождалась синеватая дымка. Помутнели, затягивались мглой дали. Небо налилось зеленью, багровый пожар пылал на западе, за Доном, где садилось угольно-раскаленное солнце.

Потом и небо стало тускнеть, меркнуть, — в бледных крапинах первых звезд.

На встречных машинах зажелтели подфарники. Будаков тоже зажег наружные огни.

Ветер, врывавшийся в кабину, посвежел, стал холодить Будакову грудь, плечо. Мотор все так же вел свою ровную, урчливую песню. Равномерно шуршали шины. Шоссе плавно поворачивало — влево, вправо, опускалось в овражистые низины, возносилось из них на отлогие холмы, и с каждого такого перевала взорам колхозных водителей открывалась новая земная ширь, новые темнеющие дали.

С одного из холмов они увидели впереди, прямо по курсу, россыпи ярких электрических огней на продолговатой горе, сизый туман, кутавший ее подножие, и темную, тяжелую массу многоглавого собора, возвышавшегося из тумана и мглы. Километров десять было еще до города и собора, но даже на таком расстоянии ощущимо почувствовалась его грандиозная величина, тяжесть его стен, слитых из дикого камня, скупая, суровая красота всех его форм и линий.

— Вот и Елец! — сказал Будаков, как будто он уже видел когда-то прежде эту открывшуюся с холма картину, безошибочно понявший, что так выглядеть может только этот древний — древнее самой Москвы — город...

4

Будаков помнил приказание председателя: гнать всю ночь, но через час они все-таки остановились. Опыт и рассудок подсказывали Будакову, что такая спешка ни к чему. В темноте, по незнакомой дороге... Они и так уже порядком подустали за день, да если еще ночь без сна? Ну, доедут — и уже не работники. В обратный путь тут же не повернешь, все равно придется отдыхать и тратить на это дневные часы. Так лучше уж сейчас покемарить, а на рассвете — дальше, с новыми силами. Никуда бычки не денутся. Колхозный зоотехник там, телеграмма об их выезде ему послана...

Будаков высказал все это Павлу, и тот без возражений принял его решение. Будаков старший, от председателя получал задание он, ему, стало быть, и ответ держать, если что...

Они свернули с асфальта в сторону, к речушке. Там на бережку с редкими кустиками уже стояли ночлежники: две «Колхиды» с рефрижераторами и поодаль от них — тройка «Жигулей». Видать, это была одна компания. При последнем свете вечерней зари мужчины натягивали палатки, женщины готовили еду. Бегали детишки.

Будаков поставил машину в стороне от «Колхид» и «Жигулей», не желая нарушать людям уединение и отдых.

Спина ныла от долгого неподвижного сидения в кабине. А когда-то он вовсе не знал, что такое усталость за рулем. Годы, годы, никуда не денешься... Сорок с гаком — на его работе это ведь уже пожилой человек... В глазах Павла — так даже, наверно, старый... А разобратся, оглянуться назад — вроде бы и не жил еще, так быстро пролетели эти его годы...

— Купнемся? — предложил Павел.

Они подошли к речушке. Воду красил закат, она блестела тусклой, неподвижной медью. Пологий бережок был истоптан скотиной, по глубоким дырам, продавленным копытами, было видно, что дно илистое, грязное, речушка мелка, только попить коровам, а для купания — непри-

годна. И рыба, должно, в ней уже не водится, даже такая неприхотливая мелочь, вроде пескариков, ершей. А, похоже, еще не очень давно река была полноводней, чище, глубже, в заводях, плесах...

Павел огорчился, что нельзя искупаться. Будаков, оглядывая берега, русло, тоже испытывал огорчение, но другого порядка: и тут, в этих местах, такое же дело, не берегут реки, не жалеют...

В воздухе звенели комары, мелькали на узкой полоске заката. Будаков уже раздавил несколько у себя на лице. Подумал: зря заехали они на этот приречный лужок, надо было искать стоянку на высоком месте, сухом. Изжальят тут комары, спать не дадут.

— Разведи, что ль, костерок... — сказал он Павлу. — Дымком их хоть малость отгоним.

Павел пошел по кустам, собирая хворост.

Будаков попил из бутылки сидро. Есть ему не хотелось. От усталости, наверно. Залез в кузов. Уезжая, они с Павлом прихватили сена, брезент. Разровнял сено, погуще взбил под стенкой кабины, где будут их головы, растянул брезент поверху, оставив один край свободным, — накрыться им с Павлом.

Павел вернулся не скоро, с той стороны, где расположились «Жигули». Бросил охапку сучьев, обгорелые палки, подобранные на старых кострищах, натолкал под сучья бумагу, поджег. Оранжевые червячки неохотно зашевелились в сплетении сыроватых веток, постепенно набирая яркость. Поплыл прозрачный дымок, неощутимым движением воздуха его повлекло низко над лугом, в темноту уже совсем густых сумерек.

— Ну, химики! — усмехаясь, крутя головой, сказал Павел, разумея туристов на «Жигулях». — И столики у них специальные, и стульчики... Жратву на газовых горелках варят. Даже горшки детские! Уж горшки-то зачем с собой тащить? Смех да и только! Среди поля в горшки писать! Чудики городские!..

Пламя в костре вспыхнуло, поднялось, высветив вокруг траву, сделав ее цвет ярким, изумрудно-зеленым.

— Денег много, а ума нет! — сказал Павел презрительно, как бы подводя итог своим наблюдениям.

— Почему — ума нет? — поинтересовался Будаков.

— А разве есть? Я машину куплю — я столики, стульчики и прочую ихнюю дребедень заводить не буду. На курорт тоже не погоню. Я умней сделаю.

— Как же?

— У меня машина будет для пользы служить, а не так вот — для баблства. Своя машина — это ж какие деньги на ней делать можно! Да я в два счета ее цену верну. Картошкой загрузил — и в Краснодар. А оттуда — полтонны персиков. Или абрикосов. Знаешь, почему они на рынке в городе? Туда-сюда — и денег невпроворот. И тогда — что хошь!

— Например?

— Например — цветной телевизор куплю. Аккордеон самый лучший.

— На это у тебя и так хватит. Не бедно получаешь.

— Дом построю.

— А свой куда?

— Мать будет жить. А в новом — я с женой. Да мало ли что! Деньги — они всегда сгодятся.

— Жены еще нет, а ты уже — дом.

— Ну и правильно. Заранее надо думать, а не когда жена с матерью цапаться начнут.

— Бери такую, чтоб не цапалась.

— А как узнаешь, клейма на них не стоит. Поначалу они все ласковые. Замуж-то выскочить охота. А печать в паспорте шлепнули — тут вот только и увидишь, какая она на самом деле. Какие у нее коготки... Все нынче цапаются, дружно никто не живет. Ученые, образованные! Десятилетку кончит, нос — кверху! Никто ей не указ, на все свое мнение. Со своими-то родителями жить не хочет, лается, где уж там с мужней-то родней... Это раньше, стариков послушаешь, неделенными семействами жили. Невестки, зятя, — кучей. И все к старшим с уважением, поперек их слова — ни звука. Хозяйство общее, все заодно, как лыком связанные. А теперь такие семьи где увидишь? Теперь-то просто большой семьи не увидишь. Чуть подрос, выучился — уже норовит поскорей от дома оторваться, в отдельности жить. Родством даже не знают, не хотят... Матерей старых — и тех бросают! Сколько по деревням одиноких-то старух! Поглядишь, живет — будто и нет у ней никого, сирота горькая. А все — детные. У каждой и сын где-нибудь, и дочка, а то и трое, четверо. Один — там на производстве, другой — аж в саму Москву забрался. Квартиры отхлопотали в три комнаты, полированная мебель, ковры настелены, навешены... Автомашина своя. А родную мать приютить — нет на это сердца, побросали, в халупах свой век доживают. Письмецо раз в год и десяточку на праздник... А которые навещают — так у них больше свой интерес, насчет картошки, помидорчиков, лучка. Мать на огороде спину гнет, а они кошелки, мешки набили, а то и «Москвичок» доверху, аж рессоры трещат, — и назад в город. Будьте здоровы, мамаша, не болейте, трудитесь ударно, мы вас не забудем, это сожрем — сызнова навесить приедем...

Будаков вынул из костра на прутике огонь, прикурил.

— Осуждаешь, а сам? В задумке — тоже ведь от матери отделиться...

— Я ж колхоз не кидаю! Не на производство ухожу. Мать не одна останется. Я ж тут же, в деревне. Это разница. А что свекровь и невестка должны врозь проживать — это закон. Для общего мира и блага. Старые молодых сейчас не одобряют, молодые со старыми не согласны, и не надо им друг другу мешаться, жизнь портить. Старые пускай своими правилами живут, молодые — своими. Своим умом и разумом. А ума нет — так и дурью. Да своей. Все равно лучше. Пускай жена себя полной хозяйкой видит, как сделала — так и сделала, и нет ей суда. Что — неправда? Вот ваш Петька женился. От «Сельхозтехники» комнату получил, и сразу они отдельно, в ваши домашние дела не лезут, а вы — в ихние. А вместе б, в одних стенах? Мало-помалу, а пошла б грызня, не миновать... Это дело известное... Не удержалась бы мать, хоть во что-нибудь, а встряла. Непременно. Не так, мол, стряпаешь, не так стираешь, много мыла извела, не ту посуду берешь... А молодая — что, стерпела бы? Покорилась? Хо-хо! Так бы отлаяла — держись! Сейчас у каждой девки язык — бритва. Телевизоры смотрят, «Кабачок двенадцать стульев»...

Будаков молча затягивался сигаретным дымом, не споря с Павлом. Может, он и прав, так бы и вышло в его доме, кто знает, — действительно, много вокруг в семьях всякого разлада, неуживчивости, открытой вражды. И что это так, отчего? Жизнь устроенная, все сыты, обуты, одеты, ни у кого нет нехваток насущного, как после войны или даже еще лет двадцать назад, а добра, душевности, дружелюбия друг к другу —

убавляется... Когда он женился, привел Дашу в дом, у него и в мыслях не появлялось, уживутся ли они с матерью. А Даша пришла, можно сказать, ни с чем, да и у него что было — сапоги, стеганка, что на службе в армии выдали. И дом пустой. Стол, лавки, чугуны, ухваты. Две кровати железные. Сестры на печи спали. В те поры ничего того в домах не водилось, что теперь есть, и самих домов таких в деревнях не было, — мазанки, хатенки. Черная солома на крышах. В колхозах за труд палочки писали. Садилась Алексей с Дашей за обед, мать садилась, две сестры старшие, — все из одной миски ели, по очереди ложки ко рту несли, чтоб никому обиды не сделать... Алексей в МТС работал, там платили неплохо, дети у них с Дашей пошли, своя уже вроде бы отдельная семья, но все равно, пока мать была жива, сестры незамужние, так сообщца хозяйство и вели, не считаясь, кто сколько вложил, кто больше, кто меньше. И никогда никаких ссор в доме, недовольства, чего-либо исподтишка, втайне от других...

Разговор, что затеял Павел, был, в общем, ни к чему, совсем случайный, им обоим следовало ложиться на сено да поскорей засыпать. Июньская ночь коротка, не успеешь закрыть глаза — уже светает.

Будаков швырнул в костер окурок, сказал:

— Ладно, гаси огонь, все равно без толку!

И с колеса перелез через борт.

Павел пожевал что-то из своих припасов, тоже попил из бутылки, затоптал ногами нагоревшие уголья. Шумно влез в кузов, плюхнулся рядом с Будаковым на брезент, спросил: «Сколько ж это мы накрутили сегодня, под триста, да?» Ответать не пришлось. Пока Будаков соображал, припоминал цифры спидометра, Павел уже засвистел носом.

5

А Будакова еще не скоро взял сон, хотя все тело ломила усталость, голова была тяжела, а веки сухи, жестки, точно под них попал песок. То ли речи Павла разбередили в нем что-то, то ли шум с близкого шоссе беспокойл, не давал уснуть, — вероятно, и то, и другое вместе.

Трасса не замолкала. Шум машин только спадал, ослабевал ненадолго, но ни на минуту не наступало полной тишины. В ту и другую сторону продолжали идти рефрижераторы, тяжелые грузовики с прицепами, ослепительно сверкая фарами, далеко высвечивая перед собой дорогу. Оттого, что вокруг были ночь, степь, безветрие и все молчало, и шум от движения машин был единственным звуком, он слышался громче, чем днем, назойливо лез в уши. В нем появился другой, скрежещущий оттенок; казалось, грузовики, автопоезда катятся не на колесах, а волокутся по асфальту железом своих днищ.

Мысли текли отрывочно, и в то же время была в них какая-то нить. Сложное все-таки дело — жизнь, думал Будаков, даже такая вот простая, нехитрая, как у него... Нести свой мужской, отцовский долг, кормить семью... Сколько поделано всякого труда, на работе и дома, изо дня в день, не зная передышки, отдыха... Вырастить детей, поставить на ноги, сделать так, чтоб не сбились в дурное, выучились, приспособились к делу, профессии, стали самостоятельными людьми... Не просто все это. Старший, Петр, окончил техникум, парень смекалистый, с головой, ценят его, недавно перевели на инженерную должность. За него уже можно не переживать. Средний — тоже в техникуме, через год будет специалистом.

Что касается старшего и среднего, то уже сейчас можно сказать, что их родительские с Дашей труды не пропали. А у иных дети — только мука для сердца! Ничего путного не вышло. Великовозрастные уже, а знают только одно — хулиганить, лодырничать. В двадцать лет — законченные алкоголики. А то и по тюрьмам...

Могла его жизнь и иным путем пойти... Подался бы он тогда, молодым, неженатым, в начале пятидесятых, когда деревни пустели, в какой-нибудь город, на завод, на стройку... Что ж, теперь бы, может, осталось у него побольше здоровья, не выглядел бы он таким старым, беззубым, не резали бы лицо глубокие морщины... Не сладок труд колхозного шофера. Большую часть года — бездорожье. Сколько он буксовал под дождями в липкой грязи, в снегу, сколько его тросами вытягивали, сколько вытаскивал он... А лето пришло — вкалывай без счету времени, потому как — надо. Уборка, вывозка хлеба — так и ночи напролет без сна... С запчастями туго, сломалось что — сам ищи, добывай, ремонтируй. Сам и слесарь, и сварщик, и электрик, — все должны уметь его руки... Городские жильцы получают готовое, ключик от квартиры, — пожалуйста, живите! А они с Дашей дом сами строили. Весь, от начала до конца, от первого кирпича в фундаменте и до козырька на печной трубе... Даже кирпич он сам возил, из Латного. Ровно сто километров по спидометру от деревни, и обратно — сто. Благо еще что шофер, и председатель разрешал машиной воспользоваться, а остальные колхозники, кто строиться вздумал, еще и за перевозку немалые деньги плати...

Что же его не пускало тогда из деревни, требовало: нет, вот твое назначение, здесь твое место?

Он знает — что. Сказать только не просто, облечь в слова. Он и не говорил про это словами, ни себе, никому. Просто чувствовал. Просто это было в нем — и все... Когда сел он с шоферскими правами за баранку, стал ездить теми же дорогами, какими ездил отец, ему все казалось, что откуда-то издали точно бы глядят на него отцовские глаза, и тихо он радуется, что не все от него кончилось на земле, есть у него наследник, продолжатель его жизни и труда. Он, Алексей, когда подрастал, даже не думал, не размышлял ни одного часа, какую ему профессию выбирать, кем быть, где работать. Для него это как бы само собой разумелось: он — сын шофера Дмитрия Матвейча, которого весь район знал и помнит; не пришел отец с войны, где-то носит ветер его прах, размывают дожди, — стало быть, заступать Алексею на то же место...

6

Они выехали, когда вокруг только едва посерело, небо было еще полностью в звездах, холодная темная мгла его лишь начинала таять, а на востоке тусклой зеленью намечалась заря.

Луг был весь выбелен, осеребрен росой. За машиной по нему протянулось два явственных черных следа.

За рулем сидел Павел. Шоссе было в оба края пустым и молчащим. Вот только когда наступили для него передышка, покой: на рубеже ночи и рассвета.

Павел сразу же погнал на восьмидесяти. Пока шоссе свободно, надо пользоваться, проскочить подальше, до самого Орла или даже за Орел.

Шум колес, мотора, ветра достигал пронзительных нот, глушил в кабине голоса. Крутые подъемы издали казались вертикалью, направлен-

ной прямо в небо. Павел жал до предела на газ, машина разогналась, набирала инерцию, и — возносилась, точно на качелях. А через минуту они неслись опять под уклон, новый отрезок шоссе вел их в небо, и опять следовал стремительный взлет, — даже вдавливало в пружинную спинку сиденья.

Будаков, как все старые шофера, когда рядом новичок или просто водитель моложе по опыту, не умел сидеть пассажиром, отключенным от управления машиной. Чувства его принимали участие во всем, что делал Павел: вместе с ним он как бы нажимал своей ногой на педаль газа, отпускал ее на поворотах, притормаживая разгон машины, поворачивал с Павлом рулевое колесо, чтоб вписаться в закругление дороги, не выскочить на обочину или в кювет.

Деревни на пути еще не пробудились: ни дыма из труб, ни людей, ни кур перед избами. Даже собаки не бегали, спали, не настал еще час их службы.

Орел подступил что-то уж слишком быстро, Будаков и Павел даже удивились. Они поменялись местами, а, проехав город, совсем пустынный, безлюдный, мокрый от поливальных машин, с беззвучно, ни для кого, мигающими на перекрестках светофорами, Будаков опять отдал Павлу руль.

Уже попадались навстречу автомашины; кто-то в эту утреннюю рань с едва начинающим золотиться небом тоже торопился по каким-то своим срочным делам, — пока не загружено шоссе, не наполнилось транспортом и можно мчать без всяких помех.

Местность приобретала другой вид. По сторонам стало больше рощиц. Потом появились довольно обширные леса, пластавшиеся по взгорьям и низинам, густой синью закрывавшие горизонты. Сказывалась Брянщина, партизанский край.

А затем лес подступил к самой дороге, две зеленые стены встали слева и справа, замкнув ее, превратив в узкий коридор. Казалось, он смыкается вдаль, доедешь — и все, стоп, пути дальше нет. Но машина неслась, гулкое эхо ее движения отстреливало от обомшелых стволов, и коридор все расширялся, дороге не было конца, предела, она все так же прямолинейно убегала вперед, в неизвестную даль.

На редких облачках в вышине лежал розовый свет зари, лучи солнца уже пронизывали над лесом прозрачный воздух, но сам лес все еще был полон синеватого сумрака, тумана. Языки его выползали на шоссе, машина рвала их в клочья, и они бешено вихрились позади нее, точно дым от выстрела, в котором снарядом был несущийся на предельной скорости грузовик.

Большой плакат замаячил на правой обочине. Он был не похож на обычные дорожные указатели. Крупные красные буквы горели ярко. Но скорость была велика, и Будаков успел схватить глазами только отдельные слова: «Водитель! Впереди... Подай звуковой сигнал...»

— Притормози! — скомандовал он Павлу, еще не понимая, что ждет их за плакатом на дороге, почувствовав только, что неспроста этот призыв, эти ударившие по глазам слова, сейчас должно последовать что-то важное, необычное. Павел послушался, машина замедлила ход. Шум ветра, движения мгновенно стих, в открытые окна стало слышно, как свистят, наперебой щелкают в лесу птицы.

Плотная стена леса справа оборвалась, лес отступил от шоссе, открылась обширная квадратная поляна, аккуратно вырезанная, расчищенная

в лесном массиве, и что-то огромное, серое посреди нее — бетонное, гранитное, бронзовое... Памятник.

Выпрямленно, высоко вскинув голову, — в самое розовое от утренней зари небо, — на подножке подбитого, гибнущего грузовика, погибая сам, но не сдаваясь, нечеловеческим напряжением направляя руками руль, стоял фронтальной шофер — в последнем, смертном уже рывке вперед, туда, где идет бой, где ждут его груз. Пламя било из-под передних колес, лизало мотор, кабину, сжигало шоферу лицо, грудь...

Не спрашивая, Павел круто свернул с шоссе, остановил грузовик.

Не спуская с монумента глаз, Будаков вышел из кабины. Тишина объела его, тишина погожего утра, воздушного простора, в безмерную высь вставшего над поляной, над лесом, над гранитным монументом.

Но тишина длилась только миг, пока Будаков не шагнул к памятнику. Уши его явственно слышали, что гранит и бронза не безмолвны, памятник звучал, как может звучать только настоящий бой в минуты самого своего яростного накала: свистели над бронзовым шофером осколки, во всю свою мощь ревел дымящийся мотор, гудело пламя, трещал пробитый кузов с патронами и снарядами, которые должны решить судьбу сражения, судьбу бойцов: победа — или смерть... У Будакова сдавило грудь, пресеклось дыхание. Он замер на месте, с расширенными глазами, с чувством, как будто на своем колхозном грузовике он пронесся сквозь время, назад, на тридцать с лишним лет, и в лицо его пахло жаром и дымом далекой войны...

По шоссе приближалась машина. Шум ее усиливался, нарастал. Из-за леса появился грузовик, простой работяга, с высоко наложенными в кузове ящиками, и раздался протяжный автомобильный сигнал. Он длился все время, пока грузовик пересекал поляну, а когда замолк — зазвучал голос другого грузовика, идущего со встречной стороны.

— Салют! — догадался Будаков. — Вот о чем напоминал водителям плакат, поставленный на дороге!

Дыхание его сжалось снова. Тысячи машин проходят здесь каждый день, и тысячи салютов звучат в честь фронтальных шоферов, мертвых и живых, в память их известных и безымянных, нигде не записанных подвигов...

Низ памятника, его гранитный цоколь обрамляли цветы. Ярко пылали пунцовые канны. На маленьких железных табличках, воткнутых среди цветов, было написано, откуда привезена земля. Она была собрана почти со всех краев страны: сибирская, уральская, саратовская, вологодская, пензенская, орловская, казахстанская, ташкентская... Десятки делегаций ветеранов-фронтальных побывали тут.

Сзади снова нарастал шум проходящей машины. Будаков обернулся. Неторопливо, нагруженно двигался автофургон с синей надписью «Хлеб» на облезлом фанерном боку. Утренний, свежей выпечки хлеб вез куда-то молодой шофер, — в сельский магазин, может, рабочим недалекою стройки. Глуховатый, чуть дребезжащий гудок старого, заезженного грузовика прорезал воздух, простерся над поляной. Черная новая «Волга», в которых ездят важные лица, бесшумно выкатилась вслед за автофургоном, и, не умолк еще, не растаял в воздухе его сиплый гудок, как его продолжил бархатисто-музыкальный, баритонального тембра сигнал «Волги». Он встретился и пересекся с новым сигналом. Автокран ехал мимо поляны, наклонив желтую подъемную стрелу, с крюком, притороченным тросами к передку. Салют! Салют! Салют фронтальным шоферам, всем, кто под

бомбами немецких «юнкерсов», в жару и в мороз, в проливные дожди и пургу возил на передовые боеприпасы, спасал раненых, кто погибал вот так — не отступая, в пламени своей горящей машины, ослепленный дымом, до последнего биения сердца не снимая обожженных рук с рулевого колеса... Кто знает, кто расскажет теперь, что было с его отцом Дмитрием Матвейчем, как встретил он свой последний миг... Может быть, здесь — и его подвиг, и его судьба, в этом шофере из гранита и бронзы, вставшем у края бывшей фронтовой дороги, чтоб никогда не могла забыться память о тех, кто сражался и победил в самой страшной из всех бывших на земле войн...

— Ну, поедем, что ль? — уже в который раз спрашивал Будакова Павел. Он уже насмотрелся, покурил, успел заглянуть в мотор. Ему было невдомек, почему его старшой, всегда уравновешенный и спокойный, в таком волнении, почему у него такое лицо, почему он медлит, даже не слышит обращенных к нему слов. Ну, поглядели — и дальше, время-то идет... Памятник как памятник, много таких — летчикам, танкистам, артиллеристам...

А Будаков и правда его не слышал. В пальцах его была незакуренная, забытая сигарета. Он то смотрел на памятник, на цветы, то поворачивался лицом к шоссе, слушал салютующие гудки проходящих машин. И думал о том, что он приедет сюда еще раз... Вот закончится в колхозе уборка, попросит он себе у председателя отпуск... Даша сошьет из холстины мешочек, насыплет он в этот мешочек деревенской земли, на которой вырос, вскормился, жил, работал его отец, которую он пошел защищать в сорок первом году для своих детей, — а теперь на ней живут и внуки, и недолго ждать уже до правнуков, — и привезет он сюда эту горсть, положит землю родной их Васильевки у памятника, где цветы, рядом с землей из других мест и краев России...

Как кладут землю с родины на далекие могилы своих близких, чтоб грела она их мертвые сердца...

1978





Анатолий Владимирович Жигулин (1930–2000). Родился в Воронеже. Окончил Воронежский лесотехнический институт, Высшие литературные курсы. В 1949 году был репрессирован, освобожден в 1954-м. Автор более тридцати поэтических сборников и автобиографической повести «Черные камни». Лауреат Пушкинской премии Российской Федерации, премии Союза писателей Москвы «Венец».

Анатолий Жигулин

В ОБРУШЕННОМ СТАРОМ ОКОПЕ

ПОЛЕ БОЯ

О, поле боя, поле боя!..
Воронеж. Мне двенадцать лет.
И солнце светится рябое
На змейках пулеметных лент.

Нам повезло невероятно.
Растаял снег, ушла зима.
Винтовочных и автоматных
Патронов всюду
Просто тьма.

Наверно, в тех кустах полынных
По комьям плачущей земли
Меж черных проволочек минных
Нас Божьи ангелы вели...

Там был один окоп оплывший.
И в нем, откинувшись назад,
Стоял, как памятник, —
Застывший,
Погибший осенью солдат.

Худой, остриженный, белесый...
И прямо в середину лба
Осколком черного железа
Его отметила судьба.

Песок по брустверу ссыпался.
Былинки ежились, шурша.

Сжимали скрюченные пальцы
Чуть поржавевший ПППШ.

Немая горечь той картины
Из детской памяти ушла,
Но, словно взрывом старой мины,
Сегодня сердце обожгла.

...Я вижу вновь перед собою,
Уже не в детстве — наяву,
То роковое поле боя,
Сухую, ржавую траву.

Путем извилистым и длинным —
Уже который год подряд! —
Я вновь и вновь иду по минам
Моих печалей и утрат.

И понимается до боли,
До горьких дум в конце пути,
Что жизнь —
Она как это поле,
И надо поле перейти.

* * *

Ал. Михайлову

Еще не все пришли с войны.
Не все прогоны были сжаты.
Среди июльской тишины
Стояли сумрачные хаты.

И пожелтели огурцы
На приовражном суходоле.
И были сложены в крестцы
Снопы на бедном нашем поле.

Потом на глиняном току
Цепами женщины стучали.
И бесконечное «ку-ку»
Кукушки дальние кричали...

И ясно слышится теперь,
Как возле тока у колодца
Скрипел и плакал журавель
О тех, кто вовсе не вернется...

Открыты новые миры.
Покорены глухие дали.

Но журавель —
До сей поры —
Мелькнет вдали
Как знак печали.

И на любой тропе судьбы
Все вижу — явственно до боли, —
Как ровно сложены снопы
В послевоенном бедном поле.

* * *

В обрушенном старом окопе,
В оплывах намокшей земли
Нашли наконечники копий
И ржавые гильзы нашли.

Легли на ладонь человека
И были на миг сведены
Железо десятого века
С железом последней войны.

Стрелу или пулю обреза,
Литое ядро с корабля —
Земля
Принимала железо,
И тяжело вздыхала земля.

Молчала.
Но каждое лето,
Когда наступают дожди,
Оттенками ржавого цвета
Земля зацветает.

Гляди —
Ржавеют луга и дубравы.
Колюч, как железо, бурьян.
Качаются бурые травы
У вырытых бомбами ям.

Проносится ветер со свистом.
И в роще, черны и грубы,
Железные ржавые листья
Устало роняют дубы.

КАЛИНА

На русском Севере —
Калина красная,
Края лесистые,
Края озерные.

А вот у нас в степи
Калина — разная,
И по логам растет
Калина черная.

Калина черная
На снежной замети —
Как будто пулями
Все изрешечено.
Как будто горечью
Далекой памяти
Земля отмечена,
Навек отмечена.

Окопы старые
Закрыты пашнями.
Осколки старые
Давно поржавели.

Но память полнится
Друзьями павшими,
И сны тревожные
Нас не оставили.

И сердцу видится
Доныне страшная,
Войной пробитая
Дорога торная.
И кровью алою —
Калина красная.
И горькой памятью —
Калина черная.

Калина красная
Дроздами склевана.
Калина черная
Растет — качается.
И память горькая,
Печаль суровая
Все не кончается,
Все не кончается.



Василий Михайлович Песков (1930–2013). Родился в селе Орлово Центрально-Черноземной (ныне Воронежской) области. В 1953 году начал работать в воронежской газете «Молодой коммунар», с 1956 по 2013 год — обозреватель газеты «Комсомольская правда» (Москва). Автор многих книг, в том числе книги «Шаги по росе», за которую ему была присуждена Ленинская премия. Его журналистская работа отмечена государственными наградами, премиями Президента России, Правительства РФ. Почетный гражданин города Воронежа. Член Союза писателей России.

Василий Песков

Я ПОМНЮ...

Очерки

Обычный коробок спичек. Я нашел его неожиданно, отодвинув ящик стола. Стол этот в отцовском доме забыли. Когда переехали жить на станцию из села, старый стол поставили в угол чулана. Там он, покрытый тряпьем, связками старых журналов и всякой всячиной, отслужившей свой век, простоял много лет. Копаясь в тронутым червоточной выдвижном ящике, я обнаружил жестянку похожих на гвоздики патефонных иголок, обнаружил значок с надписью «Ворошиловский стрелок», футляр отцовских карманных часов. В столе лежали пакет порошков «от желудка», картонный елочный заяц, изношенный рубль довоенного образца, самодельное шило, моточек пропитанной варом дратвы... И этот коробок спичек.

Обычный коробок. Обычный, да не совсем! На желтой морщинистой этикетке, в том месте, где бывает рисунок, наискосок стояли три строчки, очень знакомые строчки:

Наше дело правое!

Враг будет разбит!

Победа будет за нами!

Спички 41-го года! Я достал одну из коробки. Зажжется? Зажглась.

И вот уже все в доме — отец, мать, сестра — разглядывают находку. Всем интересно. Но только мама может припомнить... Я гляжу на нее: неужели не вспомнит? Вспомнила!

— Это ж с той осени...

Не ждите рассказа о пушенном под откос поезде, партизанском костре или даже о перекуре во фронтовом блиндаже. Спичками из коробки не поджигали бикфордов шнур, и вообще ничего из ряда вон выходящего не стоит за находкой в столе.

Той осенью по дороге из Воронежа на Тамбов через наше село Орлово двигалась большая пехотная часть. Вспоминая сейчас бесконечную серую ленту людей, идущих под осенним дождем, невольно ежусь от холода. Грязь, непролазная черноземная хлябь, и по ней гуськом, заткнув за пояс полы мокрых шинелей, движутся люди. Усталые. Молчаливые. Куда? Почему? Мальчишкам заботы и горе взрослых понятны не в полную меру. Мы бегали на большак менять на морковку и лежалые груши пилотки, ремни, звездочки, пряжки и были довольны, что в школу ходить не надо — в ней разместили больных солдат.

Не помню уж, сколько дней двигалось войско. Но только поздняя слякоть сменилась вдруг зимним морозом. Помню стук в окна: «Хозяйка, пустите хоть в сенцы». — «Все занято, идите дальше!» — отвечал вместо матери пожилой лейтенант. И он говорил правду. В избе и в сенцах на соломе вповалку один к одному лежали люди. Плакала на руках у матери маленькая сестренка. Нечем было дышать от взопревших у печки мокрых портянок, шинелей и гимнастерок. Но уморенные люди были рады теплу и месту. Все спали.

Голод тоже был спутником отходившего войска. Помню, как перед сном солдаты делили на столе аккуратно порезанный хлеб. «Кому?» — кричал веснушчатый младший сержант. Солдат, отвернувшийся к стенке, быстро ему отвечал: «Сухову... Тимофееву...»

Утром мать намыла чугуны картошки и чугуны свеклы — покормить постояльцев, и послала меня добыть огоньку. Это было простое дело: выходишь на улицу, смотришь, из чьей трубы идет дым, — туда и бежишь с железной баночкой за углями.

— Ты куда? — спросил лейтенант, увидев меня на крыльце.

Я объяснил. Лейтенант полез в кирзовую сумку и достал спички:

— На, отдай матери.

(До сих пор сохранился на коричневом ребрышке коробка след от спички, которой в то утро была растоплена печь.)

Чугун картошки и свеклы солдаты опорожнили в один момент. Мать стояла у печи и говорила: «Ешьте, ешьте, я еще сварю, ешьте...»

Коробок спичек с той осени сохранился, конечно, случайно. Его положили в укромное место, как некую непозволительную роскошь, как драгоценный запас огня на какой-нибудь случай. И вот мы держим его в руках. Тридцать четыре года... Все мы взволнованы. После очередной передачи о приключениях в Берлине Исаева — Штирлица мы собрались на кухне около печки, но в этот раз не о Штирлице разговор. С удивлением и большой радостью наблюдаю, как много может всколыхнуть в памяти маленькая реликвия. Отец вспоминает. Сестра. Мама говорит так, что я жалею: нет магнитофона записать все, что она говорит. И мне тоже есть что припомнить.

Много сказано о войне. Но, может быть, любопытно услышать, что помнит о ней человек, бывший всего лишь подростком...

Запомнилось окончание и начало войны. Но так же хорошо помню уход отца на войну и возвращение его. Уходил он вместе с односельчанами в жаркий день августа. Километров пять я шел, держась за руку отца,

в гуще людей. Помню, отец оказал: «А теперь возвращайся». Он достал из мешка кусок сахара: «Возвращайся. И помогай матери».

Оглядываясь, я видел, как отец скорым шагом догонял пыливших по дороге дядю Семена, дядю Егора, дядю Сергея, дядю Тараса...

Возвращался отец тоже летом. С проезжавшей мимо полуторки кто-то радостно крикнул: «Встречай батьку!» Я побежал к станции и в поле встретил сильно, как мне показалось тогда, постаревшего отца. На груди у него позванивали медали. За плечами — мешок. В одной руке — старенький чемодан, а в другой — патефон.

На нашей улице, увидев отца, многие бабы заплакали. Я понимал, что это значит, — уходившие вместе с отцом на войну дядя Семен, дядя Егор, дядя Сергей и дядя Тарас не вернулись.

Из гостинцев, какие отец разложил на столе, мне больше всего понравились цветные болгарские карандаши с надписью на коробке «Моливетта» и болгарский же, кустарной работы патефон — фанерный ящик, обтянутый бумагой, напоминавшей обои.

Я побежал в сельскую лавку купить пластинки. Их не было там. Но продавщица, увидев мое отчаяние, порылась на полках и одну разыскала. «Моцарт. Турецкий марш», — прочел я название музыки. На другой стороне тоже был марш, но Бетховена... До позднего вечера в нашей избе гремели два эти марша. Мы с сестрой точили на брусочке патефонные иглы, снова и снова крутили пластинку...

Года два назад на концерте, услышав объявление ведущего: «Моцарт. Турецкий марш», я вздрогнул. Для меня не просто музыкой был этот марш.

Близко войну я не видел. Но она была рядом. Летом и осенью 42-го года горел занятый немцами Воронеж. Фронт был всего в двадцати километрах. Днем над «тем местом» стояла черная пелена дыма, а ночью небо становилось багровым. Было видно, как взлетают ракеты, как повисают и медленно опускаются вниз какие-то необычно яркие огни, были видны красные, желтые и зеленые трассы пуль. Мы с другом стелили постель на пологой крыше сарая и не со страхом, а с любопытством наблюдали за этим огненным небом.

Над селом к фронту по многу раз в день низко пролетали штурмовики — тройками, самолетов двенадцать-пятнадцать. Спустя полчаса тем же путем низко, прямо над крышами, они возвращались назад. Иногда их было уже не двенадцать, а девять-десять...

Воздушные бои истребителей. Взрывы случайных бомб. (Осколок одной, упавшей ночью за огородами, врезался в нашу дверь.) Массированные бомбежки железной дороги (от села в пяти километрах), передвижение танков, автомобилей с пушками на прицепе, скопление войск в заповедном лесу — такой была полоса возле фронта. Вспоминая то лето и осень, дивлюсь отсутствию у людей страха. В первые дни войны, когда фронт был у Минска, было куда спокойнее. Люди вязали узлы, заклеивали окна бумажными полосами, ночью маскировали каждую щель в окнах. Теперь же война была почти у порога, и жизнь, тем не менее, протекала своим чередом — каждое утро пастух Петька Кривой гнал пасти коз, и председатель колхоза Митрофан Иванович сам обходил избы: «Бабы, нынче на молотилку!»

Есть такое понятие: «обстрелянный солдат» и «необстрелянный». Если эти слова понимать шире, то в 42-м году все люди, вся страна, солдаты и женщины, дети и старики были «обстрелянными». Все так или

иначе участвовали в войне, понимали, что скоро она не кончится, что дело очень серьезное и жаловаться на трудности некому. Мать находила все же слова нас подбодрить: «Мы-то в тепле. А как там отец...»

Глядя сейчас на карту, вспоминаю: географию начинал изучать не в школе и не по книжкам. Большая страна узнавалась по сданным и отбитым потом у врага городам. Минск, Смоленск, Киев, Севастополь... В ту осень, когда горел Воронеж, я узнал, что где-то совсем недалеко есть *Сталинград*. Не помню, чтобы кто-нибудь на нашей улице получал газеты, радио тоже не было. И только в разговорах этот город упоминался все чаще и чаще. С легким ранением, но совершенно седой в село мимоходом из госпиталя забежал наш дальний родственник. Он получил ранение под Сталинградом и возвращался опять туда. Помню его слова: «Там ад».

В письмах отца два поминалась Волга, и мы догадывались: он тоже там. Мать, зажигая по субботам лампадку, молилась. Мои представления о боге в то время были неясными. На всякий случай мысленно я тоже просил рисованного Спасителя, строго глядевшего из-за лампы, не забыть про отца.

В церкви в нашем селе была пекарня. Отсюда машинами доставляли хлеб фронту. Из колодца у речки Усманки два усатых солдата в больших деревянных чанах возили в пекарню воду. Мы, ребяташки, помогали солдатам управляться с ручным насосом и получали за это в день полбуханки пахучего теплого хлеба.

От солдат-водозовов я впервые услышал, что, возможно, всем, кто живет в селе, придется эвакуироваться. И этот слух подтвердился. 1 сентября не открылась школа. А позже село в какие-нибудь две недели опустело. До этого у нас жили беженцы из Воронежа и Смоленска. Теперь сами мы испытали, как тяжело расставаться с домом. Выселяли нас, правда, всего лишь в соседнее село. Но день, когда клещами закрутили проволоку на дверном запоре, был для меня самым тяжелым за всю войну.

Нам дали лошадь. Помню возок со скарбом. Наверху сидят сестры (старшей — девять годов, младшей — три). Мама с братишкой на руках пытается втиснуть в поклажу оцинкованный тазик и решето. Сзади к телеге привязали козу. Старшему сыну надо было править этим возком.

Местом нашего назначения было село «Паркоммуна». (Официально — «Парижская коммуна», а совсем просто — «Парижа».) С благодарностью вспоминаю хозяйку избы тетю Катю (стыдно, забыл фамилию), приютившую нашу ораву. Всем нам — хозяйке с семьей и ее постояльцам — в одной-единственной комнате было тесно. Спали на печке и рядом на полу. Полыню глумили блох. По субботам топили баню. Из одного большого чугуна ели толченую картошку, запивая ее чуть подсоленным квасом. И ждали писем. Ах, как ждали в те годы писем!

Тетя Катя получала их аккуратно. Вслед за поклонами: «А еще привет куме Даше... а еще привет куме Вере» было и к нам участие: «А еще привет «выкуированным». Живите дружнее». Одно из радостных воспоминаний о тех временах: жили и правда сердечно, сплоченно, помогали друг другу, делились всем, чем могли.

О доме, однако, я думал все время. От «Паркоммуны» до родного села было всего восемь верст. И, конечно, трудно было не соблазниться глянуть: а что там сейчас, зимой?

Придя в село, я поразился тишине и безлюдью. Почти во всех домах были заложены окна, в кирпичных стенах низко, у самой земли, проби-

ты бойницы, от дома к дому прорыты траншеи. Теперь хорошо понимаешь: в селе была подготовлена линия обороны на случай, если бы фронт у Воронежа не устоял.

Хотелось взглянуть на наш домишко. Но я не дошел до него. Из хаты на большаке вышел военный: куда это мальчик идет и откуда? Выслушав меня, немолодой уже капитан (таджик или узбек) задумчиво похлопал рукавицей об рукавицу и поманил за собой в дом. Сидевшему возле печки солдату он что-то сказал. Тот поставил на стол котелок щей, нарезал большими ломтями хлеба. Пока я ел, капитан молча разглядывал мою шапку и варежки, потом полез в стаявший на лавке мешок, достал из него завернутый в бумажку желтоватый мягкий комочек какой-то еды и протянул мне: «Это понравится. Ешь». То была сушеная дыня. Второй раз это лакомство я попробовал двадцать два года спустя в Самарканде и, конечно, сразу же вспомнил доброго капитана. Капитан сказал мне тогда зимой: «Ходить в село пока запрещается. Возвращайся. Матери можешь сказать: скоро домой!»

Теперь я думаю, капитан говорил со мной так потому, что знал хорошие новости. Новости эти шли из Сталинграда. Капитану уже было известно, «кто там кого», и он поделился с мальчишкой радостью.

Назад, в «Паркоммуну», по снежной дороге я не шел, а летел. И хотя новость моя — «скоро домой!» — была туманна и непонятна, мама сразу же побежала во двор, где тетя Катя колола дрова. Потом вдвоем они пошли к соседке. Потом мама побежала на другой конец села к тете Поле, жившей рядом с нами в Орлове. А дней через десять утром кто-то нетерпеливо постучал к нам в окно: «Немца выбили из Воронежа!» В тот же час мы с матерью нагрузили салазки дровами и — скорее, скорее в Орлово!

Наш домишко для обороны не приглянулся, все уцелело в нем. Мы протопили печку. И к вечеру на тех же салазках привезли двух сестер и братишку... Это было 25 января 1943 года — еще даже не середина войны.

Все самое дорогое в воспоминаниях связано с именем матери. С расстояния в тридцать пять лет особенно ясно видишь, какая ноша легла ей на плечи. Общие на всех взрослых военные тяготы, но, кроме того, — четверо ребятишек! (Старшему было одиннадцать.) И, по сложившимся обстоятельствам, ни карточек, ни пайков. Одеть детей, накормить, научить, уберечь от болезней... Какую великую силу духа надо было иметь в те годы женщине-матери, чтобы не впасть в отчаяние, не растеряться, в письмах на фронт не обронить тревожного слова.

Вспоминаю мамины письма к отцу. Она их писала печатными буквами, и на письмо уходила обычно целая ночь. Худые вести на фронт в те времена не шли. Мы сообщали отцу, сколько дает коза молока, кто пришел раненный, какие отметки в школе... По письмам выходило: живем мы сносно. Да и самим нам казалось: сносно живем — в тепле, одеты, обуты, не голодаем. И только теперь, понимая цену всему, знаешь, какими суровыми были эти уроки жизни для матери и для тех, кто в войну только-только узнавал жизнь.

Огонь добывали либо бегая с баночкой за углями туда, где печь уже затопили, либо с помощью кремня и обломка напильника. Освещалась изба «коптилкой». В нее наливали бензин, а чтобы не вспыхнул, почему-то бросали щепотку соли. Не больше щепотки — соль была драгоценностью: 100 рублей за стакан. Мыла не знали. Одежду стирали золой и речным илом. Сама одежда... На ногах, я помню, носил сшитые матерью из

солдатской шинели бурки и клеенные из автомобильной резины бахилы. Рубашка была сшита из оконной занавески, а штаны — из солдатской бязи, окрашенной ветками чернокленника и ольховой корой.

Кормились в основном с огорода. Картошка, огурцы и свекла были нашим спасением. С хлебом же было так. Из колхоза зерно под метелку отправляли для фронта. Нам доставались лишь оброненные при уборке колосья. Целый день, не разгибаясь, собираешь колосья в мешок, сушишь, бережно растираешь в ладонях. Зерно потом веяли и мололи на самодельной мельнице — «терке». Я убежден: тот, кто держал в руках лопот таким вот образом добытого хлеба (часто с примесью лебеды, свеклы, желудей), имеет верную точку отсчета в определении разного рода жизненных ценностей.

Тепло в доме доставалось тоже большим трудом, по нынешним представлениям, просто каторжным трудом. Пять километров до леса полем, пять — лесом (чтобы найти сухостойный дубок или сосну). Таким образом, десять — в один конец и десять — обратно с тяжелой ношей. Чтобы не слишком болело плечо, жердину или вязанку дров обертывали травяной подушкой. И все равно: скинешь у дома ношу — к плечу нельзя прикоснуться. И это была обычная забота тринадцатилетних мальчишек. Однако не единственная забота. Маме приходилось работать на поле. И хотя дома руки ее удивительным образом до всего доходили и все успевали, нам с сестрой доставалась немалая часть забот: с весны до осени ухаживать за огородом (от него целиком зависело наше существование), готовить сено козе, добывать топливо, носить воду, варить еду, собирать колосья, молотить зерно, нянчить маленьких. И делалось это все помимо учебы в школе, помимо домашних уроков, помимо того, что нас, школьников, водили на колхозное поле (пололи просо, убрали свеклу, молотили подсолнух). Так война диктовала законы жизни и для детей.

Может странным кому-нибудь показаться, но я ничуть не сетую на судьбу, вспоминая эти четыре года. Прокручивая сейчас назад ленту уже более чем сорокалетней жизни, взвешивая, где, когда и чему научился, без колебания говорю: главная школа жизни приходится на эти годы.

Суровые, требовательные годы совпали для нас, «военных мальчишек», с возрастными законами воспитания человека. Глубоко верю: уроки мужества, труд и трудности сейчас для подростков также необходимы. Их надо сознательно культивировать (в семье, в лагере, в школе) подобно тому, как физкультурой мы восполняем отсутствие естественного физического труда. В нужное время, в нужных дозах, с оправданной степенью риска обязательно надо учить человека тому, что жизнь от него непременно потребует.

Возможен вопрос: «Закалка, трудности... А детство? Во имя грядущих лет не лишится ли человек детства?» Опыт жизни говорит: нет! Конечно, были в войну ситуации (и немало их было!), когда подросток ставил под ноги ящик, рядом со взрослыми точил на станке снаряды, известно: мальчишки участвовали в партизанских боях. Тут все проходило по счету взрослого человека, и сама жизнь обрывалась (все было!) в тринадцать лет.

Но, вспоминая свое тоже нелегкое детство, я все же вижу его. Оно было! Было со всеми свойственными этому возрасту радостями. Хватало времени на забавы, на всякие выдумки, игры. Те же хождения в лес за дровами... Конечно, несладкое дело — подняться с постели в четыре утра, нелегка была ноша по пути к дому. Но было кое-что и другое. В лесу от-

кrywался мальчишкам огромный таинственный мир. Этим миром ватага из пяти-шести человек пользовалась в полную меру фантазии, любопытства и предприимчивости.

И была еще в нашем владении речка. Купали лошадей, доставали раков из нор, в половодье катались на льдинах (за это перепадали нам подзатыльники), ловили рыбу. На зимний Николин день дрались «на кулачки» — стенка на стенку по правилам — с мальчишками соседней Болдиновки. (Традиция, иссякшая только после войны.) Из песни слова не выкинешь, познакомились близко мы и с оружием. (Находки в прифронтовом лесу.) Стреляли из автомата, из винтовки, в логу взрывали гранаты и шашки тола... И удивляюсь сейчас: никто из нас не утонул, не упал с дерева, не подорвался, опасно не обморозился, не отбилсЯ от рук.

И не скажу, что росли мы дичками. Ходили в школу. И много, поразительно много читали. Книги, конечно, были случайные. Но если говорить о КПД их работы, он был огромным. Читали с жадностью! За хорошей книжкой всегда была очередь. И было заведено: прочел — расскажи! Так мы менялись книжками и тем, что узнали из книжек. И бывало еще: читали вслух, по очереди. Так, помню, мы проглотили «Приключения Гулливера», «Как закалялась сталь», «Человек-амфибия», «Айвенго», «Дерсу Узала». Если б в то время кто-нибудь нам сказал: через десять-пятнадцать лет можно будет дома сидеть у ящика с экраном и видеть, что происходит за тысячу километров, мы бы ни за что не поверили. Теперь, наблюдая мальчишек при передаче «Клуба кинопутешествий», я завидую им, но в это же время с благодарностью вспоминаю сидения у «коптелки». Они нам что-то оставили в душах, эти зимние вечера у «коптелки»!

Что еще прорастало из детства? Думаю, наблюдательность, желание все испробовать, всему научиться. В те времена нельзя было ждать, что нужную, необходимую вещь кто-нибудь в дом принесет и житейское дело кто-то исполнит. За все брались сами. Учились у взрослых и друг у друга, самолюбие подгоняло: Петька может, а я почему же?

Не бог весть, какими сложными были наши дела по хозяйству. И все же. Вспоминаю, что мы умели. Мы — это пять одногодков и одноклассников с одной улицы: Петька Беляев, Володька Смольянов, Васька Миронов, Ваня Немчин и я. Мы умели косить, починить валенки, вставить в ведро дно, почистить дымоход в печке, заклеить бахилы, умели наладить пилу, наточить косу, подправить крышу, сделать лестницу, грабли, сплести лукошко из хвороста, намесить глину для штукатурки, навьючить воз сена, смолоть зерно, остричь овцу, почистить колодец, нагнать на кадку лопнувший обруч. Чернилами по обойной бумаге писали плакаты для школы и сельсовета. В колхозе мы знали, как надо управиться с молотилкой. Научились ходить за сохой в огороде. И в конце концов догадались сделать тележку с колесами от плужка, облегчившую наши походы в лес за дровами... Такова несложная грамота жизни, которую надо было освоить.

И если уж все вспоминать, то надо вспомнить и балалайку... Апрель, 1945 год. На просохшей проталине около дома маленький хоровод. Не хоровод даже, а так — собралась ребятня, три старухи сидят на завалинке, пришедший с фронта без ноги парень, ну и, конечно, девушки, ровесники тех ребят, что ушли воевать. Веселья не было. Грызли семечки. «Под сухую» пели частушки. («Под сухую» — это значит без музыки: не было ни гармошки, ни балалайки.)

— Господи, неужели нельзя добыть какую-нибудь завалившую балалайку! Ребятишки, ну отняли бы у болдиновских...

Скажи это другой кто-нибудь, я бы слова мимо ушей пропустил. Но это сказала о н а...

В прошлом году я встретил ее случайно в Воронеже. Поздоровались, поговорили о новостях, вспомнили, кого знали. Она оказала:

— А я вас по телевизору видела. Шумлю своим: это же наш, орловский...

— А помнишь, — говорю, — балалайку?

Нет, она не помнила.

...Тогда, весной, мне вдруг страшно захотелось добыть для нее балалайку. Ну хоть из-под земли, хоть украсть, хоть в самом деле отнять у болдиновских. Я выбрал самый тернистый путь: решил сделать.

Опустим недельную муку необычной работы... Однажды вечером я пришел к хороводу, робко держа за спиной балалайку. Мое творение сработано было из старой фанеры, на струны пошли стальные жилки из проводов, лады на ручке были из медной проволоки. Краски, кроме как акварельной, я не нашел. А в общем, все было, как надо. Да иначе и быть не могло — так много стараний и какого-то незнакомого прежде чувства вложил мальчишка в эту работу.

Сам я играть не умел и передал балалайку сидевшему на скамейке инвалиду-фронтовику. Тот оглядел «инструмент», побренчал для пробы, подтянул струны. И — чудо-юдо — балалайка моя заиграла. Заиграла!

Первой в круг с озорною частушкой вырвалась о н а. И пошла пляска под балалайку.

— Ты сделал?!

Я не успел опомниться, как она, разгоряченная пляской, схватила мою голову двумя руками и звучно при всех поцеловала. Это был щедрый, ничему не обязывающий поцелуй взрослого человека — награда мальчишке.

А мальчишке было тогда пятнадцать. Мальчишка, не помня себя, выбрался из толпы и побежал к речке. Там он стоял, прислонившись горячей щекой к стволу ивы, и не понимал, что с ним происходит. Теперь то ясно: у той самой ивы кончилось детство. Детство... Оно все-таки было у нас, мальчишек военных лет. Оглядываясь назад, я вижу под хмурым небом этот светлый ручеек жизни — детство. И наклоняюсь к нему напиться.

1975 г.

ОТЦОВСКИЙ СУД

Три года из блокнота в блокнот я переписывал пометку: «В деревне Каробатово Пермской области живет лесник-охотник. На втором году войны убил в лесу сына-дезертира. Повидать непременно».

Оказавшись в Пермской области, я стал разыскивать Каробатово. Надо было лететь самолетом, потом идти маленьким речным пароходом, ехать попутным лесовозным грузовиком и потом километра четыре пешком по топкому лесу.

Я увидел деревню осенним вечером. Пять огней светилось в лесу. Оказалось потом: пять домов всего-то в деревне. Постучался в крайний домишко, окруженный высокими черными елями. Забрехала в темноте собака. Покашливая, кто-то стал спускаться скрипучей лестницей с верхней пристройки.

— Федор Васильевич Орлов тут проживает?

— Тут не тут — заходи. Гостю рады будем.

Керосиновая лампа осветила бревенчатые стены с пучками травы, связками лука и сушеных грибов. На низких окнах — цветы в березовых туесах. Четыре кошки играют на полу со старым валенком. Из-за дощатой крашеной перегородки вышла благообразная старушка, сказала «здравствуйте» и опять принялась греметь ухватами около печки.

Хозяин гостю не удивился. Достал с печи пару теплых портянок из войлока. Пока я менял обувь, хозяин принес на стол чугунок горячей картошки и тарелку с грибами. Голова у хозяина, когда ходит, почти упирается в потолок. А когда сел на низкую лавку — горбатая тень заняла почти всю стену, где висят рамки, по-деревенски набитые фотографиями.

— Дети?

— Дети... — вздыхает старик и начинает закуривать.

Решаю о сыне разговора не заводить. Скажет сам — хорошо. Не скажет — поговорим о лесных делах, охоте.

— Дети... Жизнь — как колесо с горы. Кажется, и сам вчера молодой был. А вот уже вялость в ногах получается. Да уж и дети начали стареть... — За вечер я понемногу узнаю стариковскую жизнь. Она началась тут, в пермских лесах. И закончится тоже, наверное, тут — в деревне с пятью дворами, стогами сена и кладбищем за другой крайней избой.

— Я ровесник этому лесу. Ему, по кольцам считать, — за семьдесят. И меня вывезло на половину восьмого десятка. Все думаю, думаю... Лес будет стоять, а человек уходить должен. Бога, я тоже определил, нету. А что же есть?..

В Первую мировую войну старик был разведчиком. Имеет «География». В последнюю войну делал для фронта лыжи. Вся жизнь — в лесу. Менялись только избы кордонов, а должность была постоянная — лесной обходчик. И потому лес во все стороны хожен и перехожен и знаком, «все равно что эта изба». Старик еще исправно стреляет. Поговорив о рябчиках и о глухарях, решаем утром пойти на охоту. Отбираем патроны, выкладываем на видное место все, что следует не забыть, и тушим лампу. В окне проступают черные ветки, около печки ложатся синие пятна лунного света. Глухо брешет за стеной собака.

— Зверь, что ли?

— Может, и зверь. А может, от дури разгавкалась... Медведь, случается, близко подходит...

Долго не засыпаю. Лунный квадрат переходит на печку, потом на стену, где висят застекленные рамки. Смутно различаю лица. Девочка. Парень с велосипедом. Парень в морском картузе. Семья: мать с отцом посредине на табуретках, а сзади стоят пятеро босых ребятшек.

Туманное утро. Стожки за околицей еле-еле угадываются. И деревня у нас за спиной сейчас же исчезает в тумане. Гулко чавкает под сапогами болото. Все продрогло в ожидании зимы. Кое-где на березах еще остались листья. Но чуть заденешь плечом — листья падают и плашмя ложатся на воду, повисают на жухлой болотной траве. Даже на высоких местах под ногами — влажная мякоть листьев. Собака возбуждена. Метнется вперед, опять прибежит, прыгает, пытается лизнуть хозяина в щеку.

— Ну, понимаю, понимаю. Рада, что взяли. Беги ищи, ищи...

Собака должна разыскать глухаря и держать лаем на месте, пока охотники подойдут. Нам не везет. Собака надолго пропадет, и лай не

слышно. Раза два, кажется, был голос, но пока продираемся зарослями рябины, хвощей и лабазника, собака выбегает навстречу и виновато крутит хвостом. Мало-помалу интерес к глухарям стал пропадать. Вымокшие и усталые, решаем зажечь костер, обсушиться.

Старик, однако, не стал раздеваться. Покуриив и подержав над огнем морщинистые ладони, сказал:

— Я маленько тут похожу...

Полтора часа его не было. Я начал думать: не случилось ли чего? Уже приготовился подать сигнал выстрелом, как подбежала, отряхиваясь, собака. Следом за ней вышел старик.

— А где же добыча, Федор Василич?

С минуту старик отогревал руки. Прислушался к стуку дятла.

— У меня тут сын похоронен... Старший.

Дятел садится почти над самым костром. Мелкие крошки из-под его клюва падают в дым.

— Старший сын... могила в первый же год в траве потерялась. А березы там, в гущине, я помнил. Теперь и березы что-то не разыскал. Туман в глазах, память как решето...

Я сказал, что знаю историю с сыном от человека из Каробатово, который теперь в Москве.

— А, это Егор, значит... Да, мы с ним много тут ходили... И до Москвы, значит, дошло... Двадцать три года хожу с этой ношей. С кем повздорил чуть-чуть, сразу: «А ты сына убил». Глотаю комок. Убил... Да. С собакой иногда говорю. Ходим, ходим вдвоем, начну ей рассказывать... Умная тварь, все понимает... Двадцать три года камень вот тут...

Сына в сорок втором из деревни проводили вместе с пятью ровесниками. Деревня была поболее, чем теперь, — восемнадцать дворов. Ребята уходили не очень грустные. Плакали матери. Из мужиков один Федор Орлов провожал новобранцев. Большого разговора в дороге не было. Федор сказал тогда ребятам-охотникам: «Глядите там. Живем один раз, но какая жизнь, если немец до Камы пройдет. Держитесь!»

Ребята, видно, сразу попали в бой. На двух летом пришли похоронные. Двое прислали письма из госпиталя. От Ивана почему-то не было слухов. В войну, когда человек «без вести», у семьи всегда имелась надежда. Федор Орлов любил сына и успокаивал мать: «Иван не пропадет без вести...»

И вести пришли. Пришли с такой стороны, откуда отец никак ожидать не мог. Сначала бабенки возле колодца, а потом и напарник, столяр из соседней деревни, сказал в открытую: «Иван в лесу скрывается, дезертир». Федор Орлов сначала стал на дыбы: «Пристрелю, кто будет такую позорную сплетню пущать! Не было такого в роду у нас!» Оказалось — не сплетня. Стали пропадать в деревнях куры, ульи, коза пропала, корова не вернулась из леса. И все это — вдовье. Баба, у которой козу увели, пришла к Федору с дитем на руках: «Чем кормить буду? Твой увел. Видели его в лесу!» Видели, будто Иван приходил даже домой к матери, когда отец был в обходе. Мать плакала, божилась: «Не приходил, не видела». Отец каждое утро открывал глаза и вздрагивал от первой и постоянной мысли: «Дезертир, трус». Поседевший за полгода лесник Федор Орлов положил однажды в котомку хлеб, взял ружье и ушел в лес.

Раз в пять дней он возвращался в деревню, чтобы взять хлеба, и опять уходил. От простуды или от напряжения сил он захворал. «Ноги еле носили. Оброс. Худой стал, как мощи». На пятнадцатый день на кладке

через ручей к болотному острову лесник увидел следы. Увидел бересту, ободранную с берез для костра. Посреди острова нашел покрытый корой балаган. Обошел кругом. Тихо. В балагане стояла железная печка. У печки лежали лопата, связка ключей. В углу стояло ведро с мукой. Отец вышел из балагана, затаился в кустах. Ночью никто не пришел. А утром увидел: между деревьями к балагану идет человек, несет мешок за спиной. «Я б его из тыщи узнал. Высокий, красивый. Крикнул ему: «Иван!.. Что же это такое, Иван?! Видишь, на кого я похожий из-за тебя? Вернись, люди простят. Пойдешь на фронт — люди простят!» Старик сейчас не помнит уже, каким доподлинно был разговор. Помнит: сын бросил мешок и побежал. И тогда отец, не делавший промаха на охоте, поднял ружье...

Он вернулся в деревню на другой день. «Я убил сына». Милиция не поверила, а мать поверила сразу. Упала и начала скрести половицы ногтями: «Убил, убил сына!..» Мать умерла недавно. Три года как умерла. «Я на коленях стоял у постели. Говорила: «Федя, все прощаю тебе». А я по глазам видел — не простила...»

Стучит дятел. То на осине стучит, то опять садится над самым костром. Старик гладит рукой задремавшую возле огня собаку.

— Схоронили его в лесу, вот в той стороне. Из района приезжали доктор и следователь с милиционером. Я их по одному переносил через топкое место. Сын лежал лицом книзу. Ножик у него был, два сухаря в кармане и письмо от какой-то девчонки. Докторша плакала. А милиционер сказал: «Ты, Федор Василч, поступил как Тарас Бульба». Вот и живу Бульбой двадцать три года. Первое время дорогу перед собой не видел. Все хорошо да просто в книжках бывает. А тут живешь и думаешь, думаешь...

— А как остальные ребята?

— Всех вырастил. Поразъехались. В Перми, на Дальнем Востоке... Клава, младшая, пишет и погостить приезжает. А так — один. Старушку приютил в доме. Вместе доживать будем... За двадцать годов вот первый раз душу излил. Да еще с собакой иногда говорим, говорим... Разве объяснишь собаке, какое это время было и как мне трудно.

Мы потушили костер. Небо расчистилось. Морозило. Мокрые листья на открытых местах взялись ледяной коркой. Даже от собачьего бега в лесу похрустывало.

— Ну что, Майка, зима? Зима, зима на пороге...

Впереди меня тяжело шел высокий, слегка сторбленный человек. До Каробатова было километров десять по топкому лесу.

1967 г.





Станислав Николаевич Никулин (1937–2011). Родился в селе Михайловка Шпиколовского района Воронежской области. Окончил филологический факультет Воронежского государственного университета. Работал ответственным секретарем областной газеты «Молодой коммунар», заведующим отделом поэзии и ответственным секретарем журнала «Подъём». Автор восьми сборников стихотворений, среди которых «Сентябри», «Земные голоса», «На расстоянии сердца», «Соловьиная молитва». Лауреат премии воронежского комсомола им. В. Кубанёва, всероссийской литературной премии «Прохоровское поле».

Станислав Никулин

ГУЛЯЕТ ПО ИЮНЮ ТИШИНА

ПЕРЕД ВЗГЛЯДОМ

*Я давно убит на той великой,
На своей единственной войне.*

Ф. Сухов

Никогда не буду я убитым
на своей единственной войне.
С именами мраморные плиты,
вечные огни — не обо мне.

Не терял я дорогих и близких,
никого не вынес из огня.
В том невероятно длинном списке —
в двадцать миллионов —
нет меня.

Я без них —
ни слова и ни шагу,
проверяю ими суть свою.
Я ведь тоже
в землю нашу лягу,
хоть ни разу не бывал в бою.

Мать-Отчизна,
если будет надо,
как они, пойду я на беду...
Потому, и умирая, взгляда
пред твоим
и я не отведу.

22 ИЮНЯ

Гуляет по июню тишина,
и хочется в ней тихо раствориться.
Спугнуть ее бояться даже птицы,
она у сердца самого слышна.

Приятно все:
и беззаботный смех,
и цветника пчелиного гуденье,
и леса непонятное волнение,
и облаков неторопливый бег.

Вот и опять встречать
придется мне
еще один неумолимый вечер.
Он — миг всего,
он, как и мы, — не вечен,
но потому и дорог мне вдвойне.

Погасший день, отмеченный трудом,
вольется в год,
который не окончен.
И этот год короче все, короче,
но главное, поверьте мне, —
не в том.

Гуляет по июню тишина.
О, только б нескончаемо
ей длиться!..
Мне вспомнились испуганные лица
и мамин крик,
не крик, а стон:
«Вой-на-а-а...»

ФРОНТОВИКИ

1

Превратна ты,
судьба фронтовиков.
Одни в своем преуспевают деле,
других, бывает,
держишь в черном теле —
без орденов,
без званий,
без чинов.

А может быть, за давностью годов
забыта кровь,
забыты мертвых лица?!

Иль, может, перестал уже
Нам снится
горячий пепел сел и городов?!

Кто без руки,
кто без ноги,
без глаз
живут средь нас
бывалые солдаты,
что до конца исполнили приказ
и в первый год войны,
и в сорок пятом.
Все меньше, меньше их
день ото дня,
но ничего от Родины не просят...
Все так же из беды,
как из огня,
они друзей-фронтовиков выносят.

2

Он тридцать лет
в атаку не ходил
и за собою роты не водил.
Такой заметной стала седина,
а сам он стал
роднее и дороже.
«Фронтовики, наденьте ордена...» —
он без волненья
их надеть не может.
Отец дорог военных не забыл,
хоть тридцать лет
по ним не проходил.
Был каждый миг
на фронте ощутим,
где поражение —
за удачей следом...
Известно им,
известно только им,
какой ценой
досталась нам Победа.

НА ЗАДОНСКОМ ШОССЕ

У братских у могил
тревожней сердца стуки,
и никаких нет сил
забыть здесь о разлуке
со всеми, кто poleg
за Землю в землю эту,

чтоб я спокойно мог
ходить по белу свету.

Здесь тишина слышней,
становятся здесь чище,
здесь прошлое видней,
здесь выгод мы не ищем.
Здесь на закате дня
заря приспустит знамя...

У нас и у Огня
негаснущая память.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ПЛАКАЛЬЩИЦЫ

Она зашлась,
как будто горе
ей не чужое, а свое.
И вот уже другая вторит,
и вот уже ведут вдвоем:

«Отходили резвы ноженьки,
отмахали белы рученьки,
отсмотрели очи ясные,
отсмеялись уста сахарны.
Глубока твоя могилушка,
без окошек домовинушка...»

А он лежал, лицом спокоен,
под темнотой закрытых век,
известный пахарь, бывший воин —
ну, в общем, русский человек.

Рыдали бабка и солдатка
среди незнакомых и родных...
Как нужно жить самим несладко,
чтоб так вот
плакать за других!



Петр Дмитриевич Чалый родился в 1946 году в селе Первомайское Россошанского района Воронежской области. Автор двенадцати книг прозы. Более тридцати лет работал корреспондентом воронежской областной газеты «Коммуна». Публиковался в журналах «Подъём», «Волга», «Наши современник», «Кольцовский сквер», «Воин России». Награжден орденом «Знак Почета». Дипломант IV Международного славянского форума «Золотой витязь», лауреат литературных премий «Имперская культура» им. Э. Володина, всероссийского конкурса «О казаках замолвите слово», премий «Родная речь», «Кольцовский край» и др. Член Союза писателей России. Живет в Россоши.

Петр Чалый

ПОСЛЕДНИЕ МУЖИКИ

Рассказы

*Памяти участников
Великой Отечественной войны —
крестьянина Дмитрия Петровича Чалого
и писателя Федора Александровича
Абрамова*

1

-Дедя! — то ли обрадовано, то ли напугано выкрикнула дочурка, стоявшая в коридоре.

— Гостем деда заявился. Не ждали? — сказал-спросил привычно отец.

— Отчего, ждали. — О его приезде, действительно, я знал загодя. Сам отец за телефонную трубку не брался, а дядя по его просьбе шутейно известил:

— Завтра дома кто у вас будет? Батько в деревне засиделся, хочет в городских побыть. Овчину, говорит, сдам и с внучатами погостую.

После я представил, как в ту минуту слушавший рядом переговоры отец про себя чертыхнул дядю за язычок распоследним словом. Ведь о своем намерении отвезти заготовителям овечью шкуру отец сказал, конечно, мимоходом. А дядя выставил как главную причину поездки к сыну.

— Ни завтра, ни послезавтра со шкурой тут нечего являться, — раздраженно отвечал я. Не сдержался. — Сгорит она, что ли. (Знаю, щедро просоленная овчина, ладно сложенная «конвертом», в подвальной прохлады — всегда в сохранности). — Почувствовав, что вгорячах слишком резко говорю, убавил пыл. — При первом случае машиной отвезем.

— И я о чем толкую, — соглашался дядя.

— Сгниет она — невелик убыток. — Нет, так не сказал я, про себя подумал, зная, что в сутолочной маете не скоро исполню обещанное.

— Без овчины пусть приезжает.

— А то и на порог непустишь. Так и передаю...

Послушается, оно и похоже. Разбираю сумку с гостинцами, а сверху лежит скатанная валиком мешковина, пропахла овечьим духом. Только глянул исподлобья на отца. Он же вроде и не заметил моих камней в осерженных глазах, уже держал Татьянку на коленях, пытался вникнуть в ее птичий щебет.

Нет, отец был не из прижимистых. Сколько помню: как ни худо-бедновато жили, наша хата в праздничном застолье всегда с гостями, сходились отцовы и мамины друзья-подруги. В помощи соседям (а на селе всякий сосед) никогда не отказывалось. Богатства особого в доме не заводилось, хоть выделялся отец из деревенских мужиков мастеровитостью (избы ставил, оконные рамы и двери вязал, крыши крыл соломенные и железные, кадки из дубовых тросток делал и ведра из жести клепал, сапоги тачал и овчины чинил — оставаясь бессменным колхозным бригадиром, в чьи обязанности входили не просто «загадывать» — давать рабочий наряд людям, прежде всего — самому, скажем, братья за косу, выкладывать-вершить возы и стога с вилами в руках).

Выделяла отца, на мой, конечно, взгляд, дотошная бережливость, вдобавок к натуре привитая и самой жизнью, в какую вместились — сиротское детство, пережитые голод (и не один), война (и не одна). Человека он ценил прежде как хозяина в доме и в колхозе. Терпел любые слабости, но только не бесхозяйственную расхлябанность. Тут уж ты в его глазах был непрощаемо пропащим.

Конечно, и я, как газетчик, и дядя, как колхозный партторг, теперь по должности ревностно пропагандировали именно экономию, именно бережливость, отводя им место в ряду лучших человеческих достоинств. Однако:

— Быть рачительным, но не до такой же степени! — Разумом понимали отца, чувством (дети иного времени) не соглашались. Потому один подтрунивал с подначкой, я озлился молча.

— Приспела нужда тащиться с этой чертовой шкурой через весь городок!

О нужде подумалось не зря: день выбрал отец не совсем удачный — май, а солнце пекло по-летнему, в безветрии пыль держалась на улочках непродыхаемо. А может, моя злость подогревалась вдобавок и гадливеньким чувством: отец корреспондента с заплечным клунком?

В тот момент не приходило на ум, что отцов пример не минул бесследно. Благодаря прежде всего ему, встав на собственные ноги, приучил себя, собственную семью жить не по-цыгански — одним днем, сыты нынче и ладно.

За обедом надуманная обида вконец растаяла в разговорах, когда Татьянка, обрадовано ухватившись за уголок одеяльца, с блаженной улыбкой засопела в кровати.

Перед борщом отец с нескрываемым удовольствием принял чарку. Вино он любил, помоложе был, выпивал — даже слишком крепко, не ошибаючись говорил, что и сыновью долю наперед осилил. Правда, здоровья хватало, пил не до болезненной грани, хворающим с похмелья не был, поутру всегда на ногах. Когда хвори пристали, доктор сказал, надо бросить не то курево, не то чарку — на выбор. Цигарку не выпускал из губ сызмалу, бросил же на пятьдесят каком-то году в один день и не притронулся к ней. Когда попозже врач по моему наушному совету запретил ему и вино, вконец не смог отказаться, лишь завел себе маленькую стопочку.

В застолье к выпивке «на равных» собеседника не понуждал, исходя из немудреного житейского правила: всяк сам знает свою мерку. В сыновьях тягу к вину вообще не одобрял, и сейчас ему, кажется, глянулось, что себе я налил в рюмку воды.

Похождения с овчиной — в них он меня посвящать не стал — сморили-таки отца. Согласился прилечь на диване, а я себе на полу разостлал полушубок. Так, лежа, и говорили неторопливо.

Укос трав ожидается богатым. Хлеба тоже уродились, майского дождя ждут. С картошкой в огороде не прогадали тем, что посадили рано, первоапрельское тепло не обмануло. Получилось так случайно: со старшей дочкой я поспешил в гости, боясь, что к следующим выходным дням поездка не выпадет, настоял сажать картошку, пообещав: вдруг подмерзнет — сам пересажу. Допытывался отец, как в колхозах у соседей сложилась весна. О семейных делах ему обсказал, записывая в памяти просьбы — разыскать в магазинах дверные завесы, шланг к опрыскивателю — колорадский жук выполз на картофельные кусты, купить цветастых цыплят — белые куры матери надоели...

Текла обычная беседа — вдруг отец приподнял голову на локте, вгляделся мимо меня, в стеклянную дверцу книжного шкафа, встревожено спросил:

— Постой, это про него, — он взглядом указал на фотографию писателя, — на днях по телевизору сказали: скончался скоропостижно?..

2

В застекленном проеме стояла вырезанная из книжки фотография Федора Александровича Абрамова. Снимок нисколько не писательский: шагает наезженным сельским проулком человек совсем деревенский обличьем — куртка под вид привычной телогрейки накинута на плечи, штанины заправлены в резиновые сапоги, ворот рубахи нарастешку.

— Дай ближе взглянуть, — попросил карточку отец, писателя Федора Абрамова знал он давно. В школе почти не учившийся, в чем не его вина, грамоту освоил сам основательно: мои школьные задачки по арифметике, самые заковыристые — с пустяками его не докучал — решал с ходу. Что заметил я, когда сам студентом начал постигать филологические науки, отзывался отец о прочитанных книгах не то, чтобы самобытно, — прозорливо, точно определял жизненную цену случаем подвернувшегося писанию. Тогда же привез я в начинавшуюся складываться собственную библиотечку книги Абрамова. Долгими зимними вечерами, телевизором еще не обзавелись, отец читал их матери вслух, увесистые томики не наскучили. И слезы, и смех, и удивление вызывали прочитанные страницы. Хоть речь шла о людях нездешней южнорусской стороны — о северной деревне, мать часто заключала услышанное одним:

— Про нас написано.

— Россия-то одна, — коротко, но веско объяснял отец. Суждение не заемное, повидал он на своем веку многое. Бывал, кстати, и в северных краях, о каких читал, выезжал туда с колхозной бригадой на лесозаготовки.

Но особенно зауважал он Федора Александровича, когда уже телевидение поспособствовало тому, позволило увидеть встречу писателя с читателями в Останкинском зале.

— Это же надо высказать всю правду, в глаза сказать на всю страну. — Не охочего к правоучительным беседам, скуповатого на похвалу, отца точно до глубины — раз так заговорил — расположили исполненные совестливой горечи, душевно близкие, созвучные его думам мысли писателя о неизжитых бедах текущего дня, о каких он не однажды выступал в печати. «Исчезла былая гордость за хорошо распаханное поле, за красиво поставленный зарод, за чисто скошенный луг, за ухоженную, играющую всеми статьями животину. Все больше выветривается любовь к земле, к делу, теряется уважение к себе. И не в этом ли одна из причин прогулов, опозданий и пьянства, которое сегодня воистину стало национальным бедствием? Не пользуется ли этим нероботь, разного рода любители легкого житья?»

В деревне нет недостатка в работающих, талантливых и совестливых тружениках. И у них болит сердце...»

Речь о наболевшем отец понял и принял именно так, как после толковал ее Валентин Григорьевич Распутин: «Есть Народ как объективно и реально существующая в каждом поколении физическая, нравственная и духовная основа нации, корневая ее система, сохранившаяся и сохраняющая ее здоровье и разум, продолжающая и развивающая ее лучшие традиции, питающая ее соками своей истории и генезиса. И есть народ «в широком смысле слова, все население определенной страны», как читаем мы в энциклопедии. Первое понятие входит во второе, существует в нем и действует, но это не одно и то же. И когда Шукшин с уверенностью говорит, что «народ всегда знает правду», он имеет в виду душу и сердце народа, здоровую, направляющую ее часть, а когда Федор Абрамов обращается с известным письмом к односельчанам, упрекая их в нерадивом хозяйствовании, он не Народу адресует свои справедливые упреки, а населению, которое составляет жизнь и труд родного ему поселка. И составляет, кроме того, часть всего народа — как населения».

— Обсказал, как живем-кормимся. Что значит — из мужиков человек, — рассудил тогда отец.

— Вся страна из крестьян вышла, — обронил я.

— Мужиком остался в писателях. Как Шолохов в казаках, — настаивал на своем отец. У него не было выше похвалы писателю, как этой — что Шолохов.

Впрочем, я сам думал примерно так же — на глазах рождается народная книга, родня «Тихому Дону» — когда студентом читал «Две зимы и три лета», когда кинулся по библиотечным шкафам на розыски начального романа «Братья и сестры», давшем впоследствии чистое православное молитвенное имя всему величавому художественному полотну.

И вот теперь-то отец долго глядел на фотографию, сохранившую совестливо твердый взгляд в лице, уверенный шаг на родимой земле — русского писателя и крестьянина.

Горечь утраты выказал заметно дрогнувший голос:

— Жить бы ему да жить.

Схоже потерянно повторял и я, когда ранним утренним часом прозвонел долгий телефонный звонок междугородней связи и друг тихо слышным, срывающимся слогом известил оглушающе о кончине Федора Александровича.

3

Не ведая о том, Федор Абрамов в судьбой отпущенной дороге — мне, смею верить, как и моим душевным содрузам, — был за «крестного» отца.

Смысл в вышенаписанное вкладываю не только переносный, хотя значимее, конечно, именно он. Ведь не одному поколению и незабвенной памятью (горько, но могло статься — была жизнь, а о ней в слове никто и ничего не оставил), и в добрую науку (чтобы не казалось — все начинается только из нашего детства) — не канувшее в небытие благодаря летописцу житие крестьянского рода Пряслиных, чьими руками и плечами держалось наше государство в середине текущего века. И стоит поныне. Не без умысла писатель одарил любимых героев звучной фамилией: ведь прясельных мужиков в старину наряжал сельский мир присматривать за околичной изгородью, говоря языком русской былины — держать заставу богатырскую. А деревенская нива в дни войны и мира для народа всегда остается надежной опорой. Не потому ли ее сыны и на современном литературном покосе достойно «устроили» и укрепили славные традиции отечественности.

В ряду косцов-писателей не только по алфавиту первым ставится имя Федора Абрамова, в чью записную книжку однажды легли раздумья о собственном ремесле:

«Одно из главных назначений писателя — поддерживать в духовной форме свой народ».

Этой заповедью он жил.

Первый роман «Братья и сестры» помечен 1958 годом. Тому, кто брался его читать, становилось ясно: в литературу пришел большой писатель.

Начало таким бывает редко.

Объяснимо оно, прежде всего тем, что первая книга создавалась человеком зрелым. Год рождения — 1920-й. Горькое сиротством детство. Пройдены фронты Великой Отечественной, раны на теле, на душе тяжелой памятью — война. О ней напоминают на борту парадного костюма медали, орден Отечественной войны II степени.

Важные факты в военной жизни Федора Абрамова обнародованы в изданной в 2003 году в Санкт-Петербурге документальной книге В.Н. Степакова «Нарком СМЕРШа». Название созданного в 1943 году Главного управления контрразведки означало — «смерть шпионам».

«Исследователь С.П. Кононов обнаружил в архивах ФСБ Архангельской области уникальные документы, свидетельствующие, что с апреля 1943 года по октябрь 1945 года в отделе СМЕРШ Архангельского военного округа служил Ф.А. Абрамов, позднее ставший известным русским писателем. Остановимся на этом факте подробнее и, с позволения Сергея Кононова, воспользуемся его материалами. Это необходимо сделать не только из-за неизвестной страницы в биографии писателя, но и потому, что благодаря «стараниям» псевдоисториков и псевдоветеранов у определенной части нашего общества сложилась искаженное мнение о тех, кто служил в СМЕРШе.

Зимой 1942 года Федор Абрамов, после тяжелого ранения на Ленинградском фронте, был эвакуирован в госпиталь города Сокол. Затем вновь военная служба: сначала в запасном стрелковом полку в Архангельске, позже — в Архангельском военно-пулеметном училище.

В училище на него обратили внимание сотрудники СМЕРШа. «Образованный с боевым опытом старший сержант Абрамов не мог не попасть в поле зрения кадровиков органов безопасности, испытывающих дефицит в кадрах. Особо кадровиков привлекло знание Федором Алексеевичем иностранных языков. В «Анкете специального назначения работника НКВД» в графе: «Какие знаете иностранные языки», молодой кандидат на службу написал: «Читаю, пишу, говорю недостаточно свободно по-немецки. Читаю и пишу по-польски».

17 апреля 1943 года Абрамов был зачислен в штат отдела контрразведки Архангельского военного округа на должность помощника уполномоченного резерва. Однако уже в августе он становится следователем, а через год с небольшим — старшим следователем. Правда, эта служба Федора Александровича началась не слишком гладко. Как-то раз, в одном из разговоров с сослуживцами, он высказал мысль о том, что не видит смысла в конспектировании приказов Сталина, поскольку это отнимает много времени и сил. Кто-то усмотрел в этом высказывании крамолу и доложил начальству. Грянуло служебное разбирательство, которое окончилось тем, что вольнодумец написал объяснение, удовлетворившее даже самых бдительных товарищей.

«...приказ тов. Сталина является квинтэссенцией мысли, каждое предложение, каждое слово его заключает в себе столь много смысла, что в силу этого необходимость конспектирования приказа в принятом значении сама собой отпадает.

Я сказал далее, что приказ тов. Сталина представляет собой совокупность тезисов, дающих ключ к пониманию основных моментов текущей политики, и что каждый тезис может быть разработан в авторитетную публицистическую статью. В том же разговоре я обратил внимание на изумительную логику сталинских трудов вообще, что не всегда можно найти в речах Черчилля и Рузвельта, на сталинский язык, обладающий всеми качествами языка народного», — написал в объяснительной Федор Абрамов.

Дело о его политических сомнениях и незрелости дальнейшего развития не получило, и начинающий контрразведчик спокойно приступил к выполнению своих прямых обязанностей.

Борьба с разведкой и диверсантами противника на территории Архангельского военного округа была главной задачей отдела. Контрразведывательное обеспечение велось в Архангельской, Вологодской, Мурманской областях, Карельской и Коми автономных республиках, где вражеская активность была чрезвычайно высока. Так, осенью 1943 года в Вологодской и Архангельских областях на парашютах было выброшено 27 разведывательных и диверсионных групп. Как удалось выяснить С.П. Кононову, следователь СМЕРШа Абрамов принимал участие в ликвидации восьми групп.

С осени 1943 года постоянным местом его командировок становится Вологодская область. «Опыт, накопленный за год работы по разоблачению немецких агентов, образование, полученное в университете, знание психологии, военный опыт, позволяющий разговаривать как фронтовик с фронтовиком, пишет С.П. Кононов, сделали из Федора Абрамова хороше-

го специалиста-контрразведчика. Ему поручили участвовать в одной из радиоигр с немецкой разведкой. Игра получила название «Подрывники» и вошла в золотой фонд операций против немецкой разведки во время Великой Отечественной войны.

Органы НКВД Вологодской области совместно со СМЕРШем Архангельского военного округа создали легенду, что на территории Сямженского и Вожегодского районов существует многочисленная группа недовольных советской властью переселенцев с Западной Украины, готовых начать повстанческое движение. Нужна помощь. Немецкая разведка клюнула на это и осенью 1943 года выбросила группу своих агентов под руководством Григория Аулина у разъезда Ноябрьский. Они должны были начать организацию этого самого повстанческого движения и проведение диверсий на железных дорогах.

Группу задержали и включили в радиоигру. Немецкое командование поверило в возможность работы в глубоком тылу русских и 1 ноября 1943 года выбросило десант диверсантов из 14 человек для соединения с Аулиным. Несмотря на трудности, всех парашютистов задержали. Старший немецкой группы Мартынов был ранен и застрелился из нагана, так как сдаваться не хотел. Через десять дней «на Аулина» немцы в Харовском районе выбросили еще троих диверсантов и 14 грузовых парашютов с оружием, взрывчаткой, деньгами и обмундированием. Старший группы Федор Сергеев сразу же согласился работать на нашу контрразведку, и его рацию включили в новую игру. Этой игре дали название «Подголосок» и назначили ее руководителем Федора Абрамова.

Абрамов через рацию Сергеева передал немцам, что группа Аулина не найдена. Фашисты приказали Сергееву работать самостоятельно. Долго их «водили за нос» работники СМЕРШа. Две рации подтверждали данные, передаваемые немецкой разведке, что делало игру очень правдоподобной, и враг полностью верил им.

За успешную дезинформацию противника лейтенант Федор Абрамов был награжден именными часами. А «Подрывники» еще долго «действовали» на Вологодчине. Немцы весной 44-го последний раз сбросили им 28 грузовых парашютов и двух агентов. И хоть фронт откатился далеко, но «дезу» контрразведка СМЕРШа передавала чуть ли не до конца войны».

После Победы ректор Ленинградского государственного университета профессор А. А. Вознесенский выступил с ходатайством:

«Генерал-майору Головлеву.

Прошу демобилизовать и направить в мое распоряжение для завершения высшего образования бывшего студента 3-го курса филологического факультета Ленинградского Университета, ныне военно-служащего, находящегося в Вашем подчинении т. Абрамова Федора Александровича.

Тов. Абрамов за время своего пребывания в Университете зарекомендовал себя как способный и дельный студент, и есть все основания полагать, что из него выработается полноценный специалист-филолог, в которых так нуждается наша страна.»

22 октября 1945 года служба Федора Абрамова в рядах СМЕРШа завершилась.

И вот — уже позади учеба на филологическом факультете Ленинградского университета, научная работа, заведование кафедрой советской литературы.

Защитил диссертацию, писал критические статьи. Становился известным как ученый-литературовед.

И вдруг — переход на писательскую тропу.

Слова «и вдруг» пишу под впечатлением рассказов встретившихся мне университетских учеников Федора Александровича.

— Никогда бы не подумал, что Абрамов будет таким известным писателем. Мы с ним в партком вместе избирались. С виду человек больше из ученого мира: суховат в разговорах, деловит в общественных хлопотах.

Так, нередко, обманчиво наше лишь внешнее впечатление о человеке.

А герои первой книги, их судьбы стали основным делом для Абрамова на десятилетия. Ради них жил. Продолжением «Братьев и сестер» явились «Две зимы и три лета», «Пути-перепутья». Четвертый роман «Дом» венчает — какой и суждено ей было стать — главную книгу Абрамова, по завершении нареченную как нельзя более сердечно, «очень важным для нашего народа названием» — «Братья и сестры».

От мощного корня вершинной книги самородной порослью в отечественной литературе россыпь повестей и рассказов, статей и выступлений — скрепленных одной набатной думой: «Если есть такой писатель Абрамов, то его главное... — будить, всеми силами будить в человеке человека... Народ умирает, когда становится населением. А населением он становится тогда, когда забывает свою историю».

4

Раз лежит душа к слову, понятно и объяснимо желание сопутствовать боготворимому тобою мастеру. Бездельно докучать никогда бы не стал, а тут сам явился повод.

В беседе с корреспондентом, кажется, «Литературной газеты» писатель сказал о том, что закончил работу над третьим «пряслинским» романом, название ему дает «Осенние костры». А в то время в Воронеже выходила схоже поименованная книга, к тому же заголовок мне показался больше очерковым, изрядно затрепанным от частого повторения в газетах, да и не ложился он (опять-таки, по моему мнению) к повествованию. Об этом я и отважился написать Федору Александровичу, отправив письмо в адрес редакции газеты.

Вскоре пришел ответ.

«Очень тронуло меня Ваше письмо, Ваша забота. Спасибо! Да, Вы правы: лучше было бы, если бы «Осенние костры» существовали на свете в единственном варианте. Но унывать из-за этого тоже не стоит. Вспомните: сколько, например, «Кавказских пленников» в русской литературе!..»

Не берусь утверждать — мои ли сомнения, иные какие обстоятельства сказались при окончательном выборе имени новорожденной книги, но в журнале роман печатался под хорошо известным теперь нам названием «Пути-перепутья».

С перепиской к Федору Александровичу (хоть он и обозначил мне свой домашний адрес) навязываться не стал. Настырная назойливость всегда неприятна в человеке. А поговорить было о чем — уже сам писал и терзался: а за свое ли дело берусь?

Время спустя письмо Федору Александровичу я все же написал. Правда, извещал не о собственных мучениях над словом. Как-то сложилось, что литературная критика особо не жаловала книги Федора Абрамова. Он сам об этом говорил вроде и шутливо, но с понятной горечью: «Не всегда

меня понимали, были по поводу меня разные документы в печати, критические статьи и прочее... И даже там, где раньше я был представлен как турист с тросточкой и так далее, сегодня уже видят гражданственность и самую активную позицию автора. Но это в порядке вещей. Я критикую, критикуйте и меня, почему же нет... Худо, когда у нас иногда облыжно, бездоказательно лупят просто дубиной по башке — вот это плохо». Прочтя такие-то статьи, я в утешение, что ли самому себе, писал: читательские суждения о творчестве писателя складываются не из мнений критиканствующих, книги сами ратуют за себя.

Изливал мысли на бумагу, скорее всего, в ребячьей запальчивости сбивчиво. В ответном письме суть затронутых проблем Федор Александрович разумно не стал обсуждать, отписал коротко: «Спасибо за добрые слова о моих книгах». Почувствовал он, что нужно мне сказать более важное.

«Судя по всему, Вы сами скоро будете писать оные. А может быть, уже пишете? Есть, есть у вас чувство. Но этого для писателя еще мало. Писатель начинается с мысли, со своего особого взгляда на мир, на человека. И вот этого-то как раз многим пишущим у нас и не хватает».

Выписав из письма, помеченного февралем 1973 года, важные строки, принятые душой, как напутствие перед дорогой, в которой, понимал, тебе никто и никогда не сможет помочь, — я, признаюсь, зашнулся, боясь сбиться на велеречивость, долго не мог подобрать слова, чтобы сказать точнее о том, в чем меня утвердил совет мастера. Выручили вспомнившиеся стихи Александра Трифоновича Твардовского, любимого Абрамовым: «За свое в ответе, / я об одном при жизни хлопочу: / О том, что знаю лучше всех на свете, / Сказать хочу. И так, как я хочу».

Вес собственному труду чувствуешь сам. Отклика людского ждешь, выверяя себя — не ошибаешься ли самонадеянно? Не без душевной тревоги уже свою книжку послал Федору Александровичу. Как бы чувствуя мое нетерпеливое ожидание, не замедлил прислать открытку. Выпала она на пороге из газетного листа. Не раздеваясь, в коридорном полумраке еле разбираю трудноразличимый почерк:

«Начал читать: есть слово».

5

— Думалось: буду в Ленинграде, постараюсь встретиться, — говорил я отцу...

Помянули с ним добрым словом Федора Александровича. А тут и Татьяна порушила тихую беседу. После сна глазята заголубели синью апрельской пролески, вот уж чем удала в деда внушка. Как тут отпустить ее с колен. Да засигналил с улицы колхозный грузовик, минуты спустя и деревенский сосед, шофер Николай, встал на пороге:

— Заехал, как и обещал. А дед не надумал в гостях еще остаться?

В городской квартире, в этом привычном многим из нас густооконном улье, пожить дедового терпения хватило от силы на пару дней, больше не выдерживал, начинал маетно слоняться из угла в угол, не придумая, куда прислонить не завыкшие быть в безделье руки. Конечно, он суетно ухватился за пиджак, стал отыскивать невесть куда положенную матерчатую фуражку-пятиклинку.

— Ты, Николай, уговор помнишь? — попутно допытывался отец у соседа, живя уже домашними заботами. — Свечерет — сено перевезем. Всего две копешки...

В окно поглядели с Татьянкой, как укатил грузовик. Вроде и не гостил деда, как привиделось...

На исходе май обломился желанными ливнями. Люблю дождь всегда, а тут что-то не порадовал. Тягостно тянулась бессонная ночь, не полегчало на душе от омытого свежестью воскресного утра.

— Ехал бы в деревню, — посоветовала жена сочувственно.

И рад туда податься, не получится: километров пять твердой дороги не довели еще строители к селу, а после такого ливня в грязь не сунешься — черноземье. Но ехать пришлось.

Стараясь голосом не выдать тревогу, дядя известил:

— Отец приболел, фельдшерница просит срочно привезти врача-терапевта.

По пустякам меня из деревни никогда не тревожили. Собрался быстро: дома был знакомый доктор, уважил мне, спасибо, с ходу собрал свой рабочий портфель; отчаянно вел грузовичок друг, не увязли колеса в грузовой колее.

Врач мыл руки, готовил приборы-инструменты и заодно расспрашивал: как случилось? Мать отвечала с нескрываемой мольбой во взгляде, веря доктору, как единственному спасителю. И он дотошным разговором вселял надежду в то, что все обойдется.

— Вчера голова у отца побаливала. Утром не жаловался. Встал и засобирался на ставок, вроде потрусить в верше рыбу, она там никогда не ловится, надумалось пройти, как по делу... С пруда вернулся, в руках пусто. Сказал, что за огородами выбрал покос. Трава там в колено, все одно скотина выточит... Зашел в хату. Сел на диван. Глянул на меня, как хотел еще что сказать — и молчит. Как-то непонятно молчит. К нему — не отзывается, не двинется. Вижу неладное, отобрало разом все. Я тут же бежать к Андрею, брату, да за фельдшерницей...

Врач осмотрел отца, недвижно лежавшего на диване — как уснул, высоко вздымалась грудь от тяжелого дыхания. Приборчиком несколько раз смерил давление тока крови. Глянул и на оставленные фельдшерницей разбитые склянки ампул.

После отозвал меня в другую комнату.

— Рядом был бы на ту минуту — не помог. Отработали свои сосуды, сильное кровоизлияние...

6

Осиротил месяц май.

Двумя могилами стало больше на земле. Родными мне. Стою мыслью у изголовья вашего и дума моя об одном.

«Родителей не помню, — при случае говорил отец. — Рос у дяди. С пяти лет он определил меня в погоньчи, чего задарма кашу есть. А мне водить лошадей по полю из края в край приедается, позабавиться еще хочется, пну незаметно ногой земляной ком под копыта, кони напуганно сбиваются с шага. Прянут в борозду, а я вроде сердчусь на них, повисаю на поводьях от усердия. Таю про себя, тешусь; выпряжет дядько лошадей, скажет, на водопой пора. Солнце припекает. Вот прокачусь с ветерком. А дядя подходит, по спине батогом как протянет наотмашь — и закутился я клубком, подал голос побитой собачкой».

В школу (прим. — П.Ч.) «...не приняли, потому что я был сын серед-

нячки, — ложились личные воспоминания в один из рассказов Федора Абрамова. — ...О, сколько слез, сколько мук, сколько отчаяния было тогда у меня, двенадцатилетнего ребенка! О, как я ненавидел и клял свою мать! Ведь это из-за нее, из-за ее жадности к работе (семи лет повезли меня на дальний сенокос) у нас стало середняцкое хозяйство, а при жизни отца кто мы были? Голь перекатная, самая захудалая семья в деревне».

А сиротские обиды сызмалу ведь не озлобили вас, росли — людьми.

Отцово жизнеописание: «Из сельской комсомолии кому проще срываться с места, ни кола-ни двора — вызвался на Амур ехать, новый город строить. В дороге сняли с поезда беспамятным, тифозным, не знаю, как с того свету выкарабкался. Попал на другую стройку грабарем-землекопом, в Воронеж на каучуковый завод — резиновая обувь на машины была нужна в стране. А после на отчину потянуло, в колхозе остался, женился — когда война призвала на полный срок».

«Но самая большая радость в моей жизни, — говорил Федор Александрович (дважды раненый, второй раз очень тяжело), — это то, что я прошел через войну и остался жив, ...у нас уходило сто с лишним ребят с курса, большой был курс, а вернулось человек девять, в числе их я. Мне страшно повезло, конечно, я был в переплетах самых ужасных: так, через Ладогу пробирался уже в апреле месяце, там машина одна впереди, с ребяташками блокадными, другая — с ранеными сзади, пошли на дно. Наша машина как-то прошла под пулеметами и под обстрелом, под снарядами...»

Обязан, «должен жить и работать не только за себя, а и за тех, кого сегодня нету». От отца этих слов я не слышал, но жил он именно так — на колхозном покосе, до самой — к его возрасту впервые усроченной сельяину — пенсии и с выходом на нее. Было, рубаха на плечах выпадала латками от вьевшейся в материю соли. Снимал плащ, когда из ледяной купели вытаскивал сено на затопленном талой водой лугу, а смерзшая одежда, как жестяная, стояла не ломаячись. Ночью скрипел зубами от ревматических болей в костях, а чуть светало — ехал в поле, хлебопашествовать.

И в то же время жил писатель из отцовского поколения, честными книгами утверждал, что и «словом все делается».

«Когда умру я... скажите обо мне, люди, напишите на могиле: вот человек, который не наработался за свою жизнь», — говорил Федор Александрович близким в последние дни. Говорил не только о себе — о моем отце, Дмитрие Петровиче, о таких, как они.

В земле Русской ваш вечный покой.

С черноземного всхолмья — неохватная даль степной стороны, в какой распаханый косогор, лощина с одиноким кустом колючей маслины и — поля да поля. С высокого северного угора виднеются луга, холодная Пинега, песчаный берег за рекой, полуразрушенный монастырь и — леса да леса.

И там вы, как всю прожитую жизнь:

«...на юру. Все ветры в дом, каждая погода в окно. Умные-то люди другими прикрываются, а ты — ума нету — вылез.

— Ничего. Сроду за спиной у других не жил и теперь не желаю».

...Клоню голову перед вами, спрашиваю себя — смогу ли так, как отцы — не за чужой спиной?

ПЕВЕНСКИЕ НОЖИ

Во второй класс я тогда перешел.

С соседом Мишкой пасли стадо хозяйских коров. Днем раньше был мой черед, пасли за Голубку, а сегодня — за Мишкину корову. Вдвоем ведь легче.

...После апрельских грозových обвальных ливней трава прямо на глазах отрастала, огненной зеленью враз окрасила непаханные крутосклоны. Изголодавшиеся в зиму коровы никак не могут наестся, скубют сочно-траве, только хруст слышен и голов от земли не отрывают. А нам даже лучше, бесхлопотнее, меньше доглядывать за стадом. Устроились на песчаном обмыске меж круч и захватываем друг у друга чужие земли, поочередно вонзая в четко очерченный круг складные ножички. Проиграл Мишка, как ни хитрил, ни выгадывал — на остатке его земли ногой уже некуда было ткнуться. Пришлось ему бежать за коровами, какие отбились от стада.

Мишка полетел, едва касаясь черными пятками земли, ему, наверное, очень хотелось поскорее рассчитаться за проигрыш. Потому он так спешил и орал — коровы только очумело шарахались в стороны и, недовольно ворочая обиженными мордами, возвращались к стаду. Самая норовистая телка умудрилась забраться в овражек. Мишка кубарем скатился туда, шуганул ее, с перепугу телка не знала, куда бежать, а приятель мой вдруг закричал во всю глотку:

— Алеша! Жми сюда!

Я прибежал.

На самом дне овражка в рыжей промоине лежали мины. Я сразу сочитал — шесть настоящих мин! Лежали ровным рядком, будто только что кто-то их под линейку раскладывал.

— Талой водой вымыло? — допытывался я.

Мишка тихонько притронулся к крайней. Рука не дрожала, но глаза так и впились в мины, другая пятерня судорожно сжала зависший над промоиной куст дерезы, вдруг что случится.

— Не трогай! — Как палкой, ударил мой голос по Мишкиной руке.

— Не каркай, дурак! Это тебе не ножичком играть, — зло отозвался Мишка. А я, в общем-то, и не боялся, разве самую-самую чуточку. Я завидовал ему, мне тоже хотелось спокойно протянуть руку к минам.

А Мишка обхватил одну из них пальцами, крепко сжал, даже ногти на руке побелели. Как сговорились, разом перестали дышать. Мина шелохнулась и поднялась в Мишкиной ладони. В желтом песке осталась вмятина.

— Глянь, какая, — шепотом отозвался Мишка. — Ни чуточку не поржавела, вроде вчера оставили.

Она и вправду была как новенькая — чистая, пузатая, с тоненькими ободками на тупом носу, у хвоста — ребрышки звездочкой. Очень походила одновременно и на ракету, и на атомную бомбу, какую рисовали в любимом детьми и взрослыми журнале «Крокодил», только что без буквы «А».

— Здорова! Такие летчики бросают по пехоте, летит — воеет, — стал пояснять Мишка. Счастливых глаз так и не сводил с бомбочки. — Я прыгнул чуть не на мины, смотрю — лежат. Слышь, жалко так бросать, давай взорвем. Ахнут — и в селе будет слышно.

Я заколебался:

— Вдруг убежать не успеем?

— Даешь ты! — рассердился Мишка. — Знай, с кем работаешь. Прошлой осенью с Колькой Рябенем не такую дуру взорвали.

Дальше не надо было ни уговаривать, ни понуждать меня. Затрещал под рукой прошлогодний бурьян, высохшие стебли полыни, ветки дере-зы, нашлась и пошла в ход старая солома. Я только успевал подносить все, что годилось для костра. Основными делами занимался Мишка, как за-правский минер. Ровно застлал дно промоины, углубив вначале пещерку под нависшим краем. По ходу дела пояснил:

— Осколки будут лететь в землю.

Разложил мины. Завернул каждую, как куклу, в солому. Из остат-ков горючего материала свил жгут — чем не бикфордов шнур!

— А ты боялся. Да за километр успеем удрать, — важно и так свысо-ка рассуждал со мной Мишка, ему нравилось быть подрывником. Он вы-тащил из тайника в полах истрепанного и затасканного материного пид-жака спички. Запахло дымком, и затанцевал он верх соломы желтыми язычками пламени. Мы вылетели из овражка и вмиг очутились в сосед-ней круче. Ждем, понемногу высовывая головы, краем глаза поглядывая на костер.

— Горит! — шепчем друг другу. Над овражком курился пушистым хвостом дымок. Нас прямо колотило от нетерпения.

Сейчас! Сейчас!

...Время шло, а взрыва так и не было. Уже и дымок пропал.

— Не прогрелся, мало соломы подложили. Просил тебя, еще принеси.

Мишка не говорил мне об этом, но я молчал, он ведь был за минера.

К овражку идти теперь было боязно. Остерегались, вдруг в ту мину-ту да взорвутся, — чего только не бывает. И мы направились восвосяи к коровам. Снова взялись за ножички. Но уже не с маху, не с первого брос-ка они вонзались в землю, было неинтересно. Ведь неподалеку, в потух-шем костре покоились шесть почти как новеньких мин.

В тот день были еще находки — две обоймы целехоньких патронов и десятка три порожних гильз.

Но они не тянули к себе, эти строгие и грозные русские патроны с остро отточенными пулями — лучшие ребячьи игрушки. Мы, мальчиш-ки, свободно отличали хоть с виду, хоть по начинке пороховой наши пат-роны от округлых немецких, от красиво фасонистых итальянских. Пули у них-то тупые, разве германцы смогли бы нас осилить, — рассуждали тогда об отплавшей войне, какую нам, родившимся уже в мирные годы, в глаза не довелось увидеть.

Научил ребят многому Певен. На краю села жил одинокий старик. Никто в точности не помнил его настоящего имени, звали Певеном и все, не зная, что означает прозвище. Хозяйство — подслеповатая плоскокры-шая хатенка в глухих бурьянах на неогороженном и открытом всем вет-рам подворье. Блажным и бедным его числили только взрослые. А для хлопчиков Певен был самый богатый человек на свете. Те счастливики, кому удавалось побывать у него в гостях, расписывали взахлеб:

— Патронов у него, мать моя, углы завалены. Порох в ведерных бан-ках. Штыки, кинжалы. — Рассказчик переходил на шепот и божился: — Наганы гожие есть. Сам видел: заграничный, черная ручка, как стекло, светится.

Кто-нибудь из пацанов не давал соврать — подтверждал. Он тоже слышал о певенских пистолетах.

Недоброй памятью в глубь лет уходила война, а старшие все говорят, что ею, войной, кормится старик. На раздобытках Певена видели в одном и том же месте — на Солончаковых буграх, самых высоких в здешней округе, откуда во все стороны света проглядывался на многие версты степной простор. Важное место для военного ремесла. Не случайно именно на этих высотах шли жестокие бои — и когда отходили наши к Дону, и когда погнали фашистов прочь. И хоть кинутые блиндажи-траншеи-окопы осыпались, заплывали песком, зарастали колючим дурнотравьем — оспинный, шрамоватый след сражений устоялся на буграх невытравимо.

Певен являлся тут всегда с потрепанным мешком за спиной, крестнакрест пережавчен бечевками спереди, в руках — остро отточенная железная палка — пика. Старик вгонял штырь в землю, давил грудью, налегал на него своим тощим телом, пока посох не поддавался и начинал понемногу вонзаться вглубь. Если на пути попадалась железка, певенский миноискатель звякал, Певен брался за притороченную к поясу маленькую лопатку, тоже военного образца. Выкопанные куски алюминия, меди, свинца сразу же складывал в мешок. Железо старик забирал не всегда, оно старьевщиком ценилось дешево. Домой возвращался с доверху набитым мешком. От тяжести и без того сутулый Певен еще ниже сгибался, мешок покоился на спине большущим горбом.

После похода на окопы старик днями невылазно сидел в своей хатенке, перебирал добычу. Топил печь — в ней выплавлял на огне свинец из пуль. Гнул жезл, чинил-паял, а то и мастерил для кормивших и обстирывающих его деревенских хозяек немудрую кухонную утварь, ведра, зерновые меленки и кукурузные терки-драчки — да мало ли дел ему находилось.

Когда в село попадал коробейник-старьевщик, чаще его звали тряпишником, то свою телегу-одноколку с наращенным кузовом определял на постой к Певену. Там и загружался добром сполна.

Певен любил привечать мальчишек. Может, потому, что у него, сказывали люди, два сына полегли на фронте. Благодаря ему, у ребят не выводились из карманов складные ножички.

Когда старик дома, у него всегда можно купить нож за полсотни медных патронных гильз, или за два яйца, или за кусок хлеба. Он делал их прямо на глазах. Потому покупатель обычно в окружении приятелей шел за новым ножичком.

Берет Певен жестянку, ровнехонько обрежет, стукнет пару раз молотком — готова ручка. Приклепает к ней обрубленный конец от старой косы, подточит его на камне — есть нож, податливо убирается лезвие. Так и прозвали их — складные певенские.

— Бери. — На хваткой, что кузнечные щипцы, костистой и крючатой ладони готовый нож. Хозяин его не знает, каким боком держать богатство, ребята ерзают — до того завидки берут. А Певен откидывает спину к стене, с веселым прищуром подмигивает единственным глазом, уцелевшим с какой-то неправдоподобно сказочной из-за давности лет японской войны. Вытаскивает кисет. Как только засинеет и запахнет в хатенке дым табака-самосада, затеваются рассказы, чаще всего о том, как молодым Певену довелось плыть теплыми морями-океанами в дальневосточную русскую крепость Порт-Артур. На всю доставшуюся ему долгую жизнь хватало воспоминаний об увиденных заморских дивах. Когда Пе-

вен был в настроении, доставал из запечка облупленную, но голосистую гармошку. Выпевала она в его руках плясучие барыню-матаню или гопак, выговаривала знакомые слова гордой песни о гибнущем, но не желающем пощады «Варяге», плакала о русских солдатах, навечно оставшихся на маньчжурских сопках.

Привечал мальчишек старый Певен. Осчастливил ножами, просвещал и берег от напастей — никто из ребят так и не видел, как он добывает свинец из пуля, никого он не брал с собой на окопы.

Не пускали туда и родители, пугали. Да мы не боялись, частенько бегали в степь, в поросшие бурьяном траншеи. Там можно найти все: патроны, кинжалы в ножнах, желтые палочки артиллерийского пороха, ракетницы, штыки, говорили — даже пистолеты. За медные гильзы у тряпишника выменивали глиняную свистульку-петушка или пищик с розовым шаром, который, если надуть дымом, полетит ввысь. Порох здорово горел, в особенности артиллерийский. В камышинку натолкаешь его, подожжешь — и на воду, как ракета плывет. Всему находилось применение.

Походы ребятами всегда хранились в тайне: дома узнают — трепки не миновать. Тайна раскрывалась, когда тревожным всполохом ударял гром среди ясна дня, а над окопами вставал черный куст дыма...

Солнце припекало. Ветерок разогнал легкий пух облаков за курганы и сам пропал. От жары и день казался длинным — долгим, уж очень медленно шло время к обеду.

— Мне надоело швырять ножик, — продолжал вспоминать Алеша. — Измерил ступнями ног свою тень и позвал приятеля — тот копался в патронах. — Миша! Пять холодков насчитал, пора к обеду гнать коров домой. Припозднимся, ругаться будут.

Мишка неспешно выпрямился, заметил на земле палкой вершину своей тени. Вымерял ее — переступал, ровно и плотно подставляя пятку одной ноги к пальцам другой. На «солнечных часах» у него тоже получалось пять ступеней — холодков.

— Пора, — подтвердил Мишка и тут же предложил, — пошли сейчас на мины поглядим. Успеем, — и, боясь услышать в ответ отказ, он убежал: — Ничего страшного, они уже холодные.

Мишка взрывал, он все знал. И мы пошли. Не торопились, спрыгнули в овражек. В промоине на месте костра холмиком высилась маленькая кучка черноватого, соломинками-прутиками, пепла. Мишка палкой тронул — зола рассыпалась в порошок, в сероватый такой. Прокопченные мины лежали целые и невредимые. Мишка постучал по ним, расковырял. Присели и разглядели их внимательнее.

— Не прогредись, — заявил Мишка. — Костер слабоват. Говорил, еще тащи бурьян.

Запах пепла потухшего костра напомнил Алеше о том, что хочется есть. Так пахло только у летней печки на огороде, где мать готовила еду, чаще всего пшеничную кашу, запашистую, с дымком, печка ведь страшно курилась.

Кашу варили в армейском котелке. Когда выскребешь его, видишь, что донышко походит на молодой месяц, только на краях концы не острые, а округленные. На боку котелка нацарапаны гвоздем или ножиком буквы. Алеша все хотел прочесть, узнать, что написано. Не удавалось — буквы были не нашими.

А пшено хранили тоже в чужестранном, из добрых досок, ни щелочки, темно-зеленом ящике. На его длинной боковой стенке красный крест нарисован в белой окантовке. Алеша уже и подрос, а все катался на нем верхом, представляя себя — то кавалеристом, то водителем колхозного грузовичка-полуторки. Мать частенько рассказывает, как она приволокла этот ящик из санитарной машины — итальянцы бросили при отступлении. Вспоминает, после короб забирал у нее наш молоденький солдатик из трофейной команды.

— Прошу оставить, а он никак не поймет, зачем.

Нам больше некуда прятать от мышей и сырости все пожитки. Я ему толкую: ящик вместо скрыни, сгорела она у нас, когда через село фронт проходил.

Скрыня — это сундук, с которым в давние времена невесту на деревне отдавали замуж. У матери, рассказывала, была большая скрыня, разрисованная узорами.

Внял тогда материным причитаниям другой, пожилой солдат, — и остался ящик в доме.

Вечером, укладывая спать, мать укутывала Алешу серым одеялом, тоже доставшимся с войны. Страх колючее солдатское одеяло. Но зато под ним тепло и всегда снились военные сны.

В макушку уже смотрелось солнце — самый полдень.

— Некогда нам было возиться с минами, — рассказывал Алеша, — покатали их по кострищу туда-сюда, покатали и побежали к коровам. Быстро собрали череду и натоптанными коровьими тропами выгнали ее на проселок, к деревне. Коровы шли ходко: напаслись, пить хотели, да и время свое знали. Кричат — «гь-я-а!», «гь-я-а-а!» — значит, идите — не приходилось. Весело и скоро шагали мы за стадом. Поднимали ногами полосы из дорожной пыли, старались, кто кого запылит сильнее.

И тут аж присели не только мы, но и коровы поприпадали на задние ноги — так ухнуло за спиной. Прямо приросли к земле. В ушах долго еще звенело, потом стало необычно тихо. А из овражка, где недавно сидели и катали бомбочки, медленно улетало в небо черное облако.

— Смотри, — наконец нашелся что пробормотать Мишка. Да я и без него видел — взорвались наши мины.

Домой возвращались молча, только гикали на отстававших коров.

Уже после обеда, когда снова гнали череду в степь, рассказали друг другу, как рвануло, как свистели над головами осколки. Миша даже огонь над оврагом видел. Он часто поворачивался к нему лицом — знал, что обязательно взорвутся наши мины. Ведь он взрывал их.

Только после обеда коровье стадо погнали пасти в другое место.

А в осеннюю грязь все жители сельца в один час, никто их подворно не скликал, высыпали разом за околицу. Прилетел вертолет из областного города. Темно-зеленый и с большущим красным крестом на боку, точь-в-точь как на ящике, на котором Алеша маленьким любил кататься верхом. Показались люди в белых халатах и с носилками в руках. На них они несли Мишу. Вернее, не Мишку, а оснеженную грудку простынь, бинтов, закрывших его недвижимое тело. Рядом, поддерживая носилки, вприпрыжку хромал деревенский фельдшер Анатолий Капустин. На всю околицу голосила, рыдала Мишкина мать.

Беззвучно плакали женщины, то и дело прикладывали к помокревшим глазам чистые уголки головных платков. Смурными толпились мужчины. Закусив губы, смаргивала слезы ребятня, для них беду скрадывало все же первое явление в селе вертолета, увозившего Мишку в больницу. В этот раз он ошибся, хоть уже и взрывал мины.

И еще трое мальчишек просчитались, не убереглись, подорвались этой же осенью вместе, им и больница была не нужна. Все трое — Алешкины годки.

Не пощадила судьба уж на что осторожного Певена, лишился единственного глаза. Выплавлял на огне свинец из пуль, а одна из них оказалась разрывной. Увезли старика в инвалидный дом.

В память остались только певенские ножи.





Алексей Тимофеевич Прасолов (1930–1972). Родился в селе Ивановка Михайловского района ЦЧО. Окончил Россошанское педагогическое училище. Работал школьным учителем, корректором, литературным сотрудником в районных газетах Воронежской области. Автор поэтических сборников «День и ночь», «Лирика», «Земля и зенит», «Во имя твое». Среди посмертных книг — «Стихотворения», «И душу я несу сквозь годы», «Я встретил ночь твою» (роман в письмах), «На грани тьмы и света». Член Союза писателей СССР с 1966 года.

Алексей Прасолов

ДАЛЕКОЕ ЗАРЕВО

* * *

Тревога военного лета.
Опять подступает к глазам
Шинельная серость рассвета,
В осколочной оспе вокзал.
Спешат санитары с разгрузкой.
По белому — красным кресты.
Носилки пугающе узки,
А простыни смертно чисты.
До жути короткое тело
С тупыми обрубками рук
Глядит из бинтов онемело
На детский глазастый испуг.
Кладут и кладут их рядами,
Сквозных от бескровья людей.
Прими этот облик страданья
Мальчишеской жизнью твоей.
Забудь про Светлова с Багрицким.
Постигнув значенье креста,
Романтику боя и риска
В себе задуши навсегда!
Душа, ты так трудно боролась...
И снова рвалась на вокзал,
Где поезда воинский голос
В далекое зарево звал.
Не пряча от гневных сполохов
Сведенного болью лица,
Во всем открывалась эпоха
Нам — детям ее — до конца.
...Те дни, как заветы, в нас живы.
И строгой не тронут души
Ни правды крикливой надрывы,
Ни пыл барабанящей лжи.

* * *

Еще метет во мне метель,
Взбивает смертную постель
И причисляет к трупам труп, —
То воем обгорелых труб,
То шорохом бескровных губ
Та, давняя метель.
Свозили немцев поутру,
Лежачий строй — как на смотре,
И чтобы каждый видеть мог,
Как много пройдено земель,
Сверкают гвозди их сапог,
Упертых в белую метель.
А ты, враждебный им, глядел
На руки талые вдоль тел.
И в тот уже беззлобный миг
Не в покаянии притих,
Но мертвой переключки их
Нарушить не хотел.
Какую боль, какую месть
Ты нес в себе в те дни!
Но здесь
Задумался о чем ты
В суровой гордости своей,
Как будто мало было ей
Одной победной правоты.

4.00 22 ИЮНЯ 1941

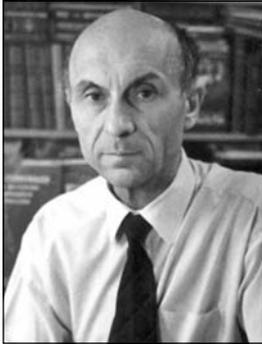
Когда созреет срок беды всесветной,
Как он трагичен, тот рубежный час,
Который светит радостью последней,
Слепя собой неискушенных нас.
Он как ребенок, что дополз до края
Неизмеримой бездны на пути, —
Через минуту руки простирая,
Мы кинемся, но нам уж не спасти...
И весь он — крик, для душ не бесполезный,
И весь очерчен кровью и огнем,
Чтоб перед новой гибельною бездной
Мы искушенно помнили о нем.

РУБИНОВЫЙ ПЕРСТЕНЬ

В черном зеве печном
Красногривые кони.
Над огнем —
Обожженные стужей ладони.
Въелся в синюю мякоть
Рубиновый перстень —

То ли краденый он,
То ль подарок невестин.
Угловатый орел
Над нагрудным карманом
Держит свастику в лапах,
Как участь Германии.
А на выгоне
Матерью простоволосой
Над повешенной девушкой
Вьюга голосит.
Эта виселица
С безответною жертвой
В слове «Гитлер»
Казалась мне буквою первой.
А на грейдере
Мелом беленные «тигры»
Давят лапами
Снежные русские вихри.
Новогоднюю ночь
Полосуют ракеты.
К небу с фляжками
Пьяные руки воздеты.
В жаркой школе —
Банкет.
Господа офицеры
В желтый череп скелета
В учительской целят.
В холодящих глазницах,
В злорадном оскале,
Может, будущий день свой
Они увидали?..
Их веселье
Штандарт осеняет с флагштока.
Сорок третий идет
Дальним гулом с востока.
У печи,
На поленья уставясь незряче,
Трезвый немец
Сурово украдкой плачет.
И чтоб русский мальчишка
Тех слез не заметил,
За дровами опять
Выгоняет на ветер.
Непонятно мальчишке:
Что все это значит?
Немец сыт и силен —
Отчего же он плачет?..
А неделю спустя
В переполненном доме
Спали впóкрат бойцы
На веселой соломе.

От сапог и колес
Гром и скрип по округе.
Из-под снега чернели
Немецкие руки.
Из страны непокорной,
С изломистых улиц
К овдовевшей Германии
Страшно тянулись.
И горел на одной
Возле школы,
На въезде,
Сгустком крови бесславной
Рубиновый перстень.



Виктор Викторович Будаков родился в 1940 году в селе Нижний Карабут Россошанского района. Окончил историко-филологический факультет Воронежского государственного педагогического института. Прозаик, поэт, эссеист. Лауреат литературных премий им. И.А. Бунина, им. А.Т. Твардовского, им. Ф.И. Тютчева, журнала «Подъём» «Родная речь» и др. Основатель и редактор книжной серии «Отчий край». Почетный профессор Воронежского государственного педагогического университета. Заслуженный работник культуры РФ. Автор более 30 книг прозы и поэзии. Член Союза писателей России. Живет в Воронеже.

Виктор Будаков

МИРОНОВА ГОРА

Эссе

Миронова гора у впадения речки Черной Калитвы в Дон вздымается несокрушимо, и когда я в первый раз увидел ее, детское мое воображение даже не нашло, с чем ее сравнить, — такой немислимой, всезаполняющей, фантастической реальностью предстала она тогда моему взору. Впрочем, когда я первый раз увидел ее, когда это было?..

«Сыворотки нет. Срочно в районную больницу! — сказал фельдшер. — Иначе он не выживет». Слова донеслись как сквозь мучающий горячий сон, но о чем они, я догадался: моих старших сестры и брата уже не было в живых, тогда тоже не нашлось противодифтерийной сыворотки, они там, где по бурьянному косогору за последними избами густо разбросанные кресты, и я не хотел туда, к ним, и попытался даже объяснить склоненной над моим изголовьем семье, что не хочу туда, но лишь простонал, проскулил, как щенок.

А потом меня везли в райцентр, в Новую Калитву, дорога была дальняя, повозку трясло и подбрасывало, и я то проваливался в забытие, то приходил в себя. И когда приходил в себя, открывал глаза, видел под голым, выцветшим за зиму небом голый лес и голое поле. Час, два, вечность — голый лес налево, голое поле направо. На-

конец лес и поле остались позади, мы спустились с косогора в большую слободу и, миновав ее, выехали на просторные луга.

Здесь и открылась исполинской глыбой Миронова гора. Вернее даже, не открылась, а лишь приоткрылась в белесой наволоке февральского полудня, толком я ее не успел разглядеть, объять своим запаленным болезнью сознанием, потому что вновь — теперь уже до самой больницы — провалился в забытье, в ночь, в то оцепенение, которое есть и не смерть, и не жизнь. Быть может, я вообще не видел ее и лишь вообразил после, что видел. Или смутный величественный образ ее все-таки открылся мне в тот день? Не знаю.

В больницы мне потом в своей жизни придется попадать не однажды, но так худо, как в тот раз, далее не было. Медсестра, широколицая тетка, делала мне укол и сломала иглу. Было непривычно больно, я не знал еще, что жизнь исцеляется через боль. Уколы для меня, пятилетнего, были так жгуче болезненны, что я поначалу жаловался матери: «Разве это больница? Разве врачи так больно лечат?» — потом смирился, стих, и мать всякий раз, когда медсестра подносила шприц, опускала глаза, не в силах вынести моего взгляда, полного тоски и покорности, и, наверное, упрека.

Но миновало полмесяца, меня выписали. И хотя был я слаб, кружилась голова от долгого лежания, но все изменилось во мне: выболелось. Изменилось исподволь и в природе: стронулся снег, уже источенный мартовским солнцем, готовый истаять враз, добавь солнце еще два-три градуса; уже опасно было проезжать по мосту через Черную Калитву — по верх его, безоградного, бесперильного, пошла вода, но все-таки мы перебрались. В повозку впряжен был Гнедок, безотказный коняга, которому на своем веку через огни и воды выпало тащить и лазареты живых, и братские кладбища погибших. Долго пришлось ехать лугом, а позади, за мостом, прямо перед моими глазами снова нависала над слободой, над рекою, над луками, над всем белым светом Миронова гора. Мы ехали, ехали, а она будто и не отдалялась, и не уменьшалась. И я весь будто на вершине горы, и чувствую, как ветер продувает меня насквозь. Это тоже как забытье, и, очнувшись, сознаю, что гора проплывает мимо и что попасть мне наяву на ее меловой верх так же недостижимо, как на каменные откосы Аарата — об этой библейской горе мне рассказывала бабушка, так что название ее в моем сознании звучало гораздо раньше Мироновой кручи. Но теперь и Миронова, без далеких легенд, гора отдалялась от меня как легенда. И как загадка, которую когда-то же надо разгадать! Повозка, ровно поскрипывая, везла меня все дальше и дальше, и все расплывчатей виднелась белая меловая опояска фронтовой траншеи по склону, темные широкие воронки превратились в точки.

Мальчик тех моих лет, только несколькими десятилетиями раньше, прощался с родными местами, видел Дон, широкие луга-луки и огромную даже на семикилометровой удалении Миронову гору — глядел долго и с такой сердечной грустью, словно Миронова гора обещала ему быть хранительницей его на всю жизнь. Никто не знает и не скажет, вспоминал ли он ее, когда в конце девятнадцатого века, направляясь в Индию, преодолевал великие азийские горные цепи. Грандиозные хребты, каменные отроги, обледенелые горные пики, бритвенно узкие козьи тропы, столь же узкие висячие мосты, заваленные камнепадами древние пути и перевалы, по которым двигались войска

Александра Македонского и других завоевателей Инда. Многосаженой толщи ледники — сгустки довременной стужи. Облака далеко внизу... Поистине — «Крыша мира». Не легче и Гиндукуш — сосед Памира: фантастическая зубчатая стена — величественная, вечная, никому не подвластная, кроме как Создателю. Русский офицер Генерального Штаба, еще не выдающийся ориенталист, военный мыслитель и деятель, еще не великий геополитик, ежемгновенно рискуя жизнью, пробивался через поднебесные горные преграды, и не узнать теперь, вставала ли перед его мысленным взором Миронова гора — великая гора раннего детства.

Так случилось, что вновь Миронову гору я увидел уже много спустя, когда собрался учиться в Новой Калитве в восьмом классе, — в Нижнем была только семилетняя школа. Расстояние меж слободами — более двадцати километров — было по той безмашинной, пешей поре немалым. Да и дорога не выпадала... Но теперь по ней предстояло еженедельно вышагивать долгих три года. Нас было трое из одного села, «отчаявшихся» не останавливаться на семилетке. Мы вышли из Нижнего в ранний предосенний час, чуть взволнованные, чуть опьяненные тем, что одни, без пригляду, без доуки и окрика, такие вольные, дайте крылья — полетим. Воскресный день занимался чисто, свежо, по-августовски пахуче. Миновали глухое Провалье, спустились и поднялись из Тупки — глубокого многоверстного яра, и снова — дорога вдоль леса, вдоль поля. За семь лет с той поры, как эти места впервые явились моему взору, ничто здесь, на верное, не изменилось, но какое же все было иное! Где те нагие поля и нагие леса?! И мягкая неровная стена леса-изумруда, и скатерть-прожелть скошенного поля с темными лоскутками осота открывались в притягательной красоте, все новыми красками и полутонами радуя глаз. На первый взгляд, дуб да ясень — вот и весь лес. А всмотришься, вслушаешься — неисчислимое множество и деревьев, и трав, и птиц. Белым виденьем мерцает из зеленой чащобы береза. Салатово смуглеет осина. Листья дикой груши едва начинают желтеть, такие прозрачные и словно чувствующие и знающие, что осень — близко. Красными каплями стынут в зарослях плоды шиповника. И высокая узорчатая рябина на опушке пламенна и чиста. Она не шелохнется, не качнется, и все же не она ли та, что всходила над детской нашей судьбой пронзающей душу песней «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина?», какую пели на горьких поминных наши юные, рано состаренные войною матери?

Часа через три с долгоуклонного тянигужа, с холмов-пригорий, со скатов и скосов, на каких раскинулась Старая Калитва, старшая сестра Новой Калитвы, открылась картина не менее пленительная, чем прежде: распаханная во все стороны даль, Дон и задонские леса, обширные луга-луки во всю ширь от одной слободы к другой, и в мареве-далеке, за сочными луками — Миронова гора. Она возносилась выше сопредельных ей круч — полновластная хозяйка окрестных пространств, какая все эти годы непосильной загадкой жила в моем детском сознании.

Теперь я знал, что я на нее поднимусь!

Чудной он был человек, наш преподаватель истории, которого за глаза мы станем называть не по имени-отчеству, но и не прозвищем, — редкого наставника минует сия чаша, — а просто и значительно: учитель. В своей педагогической среде был не столько уважаем, сколько жалеем, подчас и посмеивались над ним, поскольку, «чудак» и житейский «не-

удачник», многое из того, что обычно имеют и умеют, не имел и не умел. Не имел просторного дома с верандой, какие уже не редкость были в его слободе, и ежели навещали гости, он в летнюю пору располагался с ними в саду, под старой вишней, потому что в доме его высокие вынуждены были пригибаться, чтоб не задевать головой потолок; не имел сменного костюма, в котором ходят на праздники и на приемы к начальству; не умел — не хотел пить водку; не умел кричать ни на старших, ни на младших... Правда, кое-что он и умел: писал хорошие, о прошлом родного края, статьи, — тогда пишущий человек был в редкость; умел править мотоциклом и машиной — опять-таки в пору безмоторности в слободе. Самое же удивительное — не было такого предмета, о котором бы он не мог поговорить со знанием дела, обстоятельно и внятно. Наверное, не только историю, но и биологию, и словесность, и астрономию он смог бы преподавать безукоризненно. По части академических знаний он, пожалуй, был ровней столичным профессорам, как позже мы не раз в том убеждались. В выпускном классе кто-то из нас пустил по кругу шутивное: «Он знает даже то, чего не знает...» Он закончил две аспирантуры, его приглашали преподавать в столичный вуз, а нет, вернулся в отчую голодную глухомань — не странность ли?

Разумеется, обо всем этом нам стало известно позже, но «странности» начались сразу же в первосентябрьский день, на вводном уроке истории. Учитель вошел как-то неслышно, вдруг. Точно сквозь стену прошел. Невысокого роста, в серой рубашке, без пиджака. Он, поздоровавшись, пристально и медленно поглядел на класс, вбирая всех нас за стекла своих очков. Знакомясь, он прочитал наши фамилии по журналу. Затем — по партам: называл по памяти фамилию за фамилией. Дальше — мы догадывались, что последует дальше. Привычное для первого урока, общее, вводное: «Что изучает история? Она изучает прошлое...» Последовало, однако, другое: учитель спросил, кто из нас бывал на Мироновой горе, и когда в утверждение раздалась лишь немногие голоса местных, большая же часть класса, собранного из разных ближних и дальних деревень, в некотором недоумении молчала, — он сказал: «Ну что ж, тогда в самый час! Правда, сегодняшняя наша прогулка продлится, быть может, дольше обычного». — Он улыбнулся, словно объединяя нас и себя в некоем невинном заговоре, в первой тайне класса.

Взбираться на Миронову гору оказалось вовсе не трудно и не долго, ее южный склон, начинаясь сразу за слободой, тянулся полого, белея меловыми осыпями меж жесткими бурьянными кустками; не прошло и получаса, как мы были там.

Мы, а не я...

То была отроческая, только в отрочестве и возможная слитность нас, еще, в сущности, не знакомых четырнадцатилетних. То была объединенность нас в каком-то радостном некорыстном чувстве, когда весь мир открывается в своей широте и красе, и мнится: всегда в нем будет хорошо, чисто и солнечно. Лишь на миг вырвал меня из этого чувства нерасторжимости со всеми на высокой горе робкий, пристальный, улыбающийся карий взгляд соклассницы, имени которой я еще не знал. Взгляд нежности, любопытства — на миг мы оказались двое среди многих, но именно на миг, что-то отроческое, краткое, летучее... Только выпадет такой час, когда мы с нею, кареглазой и длиннокосой, вновь окажемся на Мироновой горе.

— Видите, сколько простору во все концы, — сказал учитель. —

Сколько веков, сколько народов, сколько событий на этом просторе! И скифы, и половцы, и славяне... Дикое поле, Смутное время, донские казаки, петровские флотилии. Последняя война. Великая Отечественная. Вот позднее вы и соедините все. Это и будет понимание истории. А покамест смотрите, взглядывайтесь...

Родина!

Ее здешний вековечный образ — синий Дон. Река связывала и древние кручи, и молодые пойменные отавы, и полузатопленные лозняки, и редкие лодки в некий извечный ритм, и мерным его звучанием был наполнен окрестный мир. Телеграфные провода были видимыми и слышимыми вестниками этого извечного и новоданного ритма.

— А окопы... надолго они их рыли, — молвил учитель, и в коротком отвлеченном «они» послышалось что-то чуждое, враждебное, смутные силуэты пришельцев в зеленом, мышином, иноземная речь, резкие трассы пуль в вечерней полутьме, холодный декабрь сорок второго... Они!

Окопы, воронки пятнали гору густо и во всех направлениях, заметней и резче других выделялся белый рубец траншеи по северному склону, широкая, заброшенная, никому не нужная траншея, которая видна была мне и прежде, пятилетнему. Траншея стлалась в полусотне метров. Но учитель глядел дальше, в луга, в Задонье. Что видел он там? Я тогда не мог еще предположить, не знал.

Командир дивизии, а по стратегическому мышлению — полководец, мой земляк, пророчески указавший на главные опасности и силы грядущей русской катастрофы, стоял на гребне заросшей соснами горы, перед ним вздымались Карпаты — родина раннего славянства, но впереди были окопы германские, австрийские, шла Первая мировая война, и уже был очевиден для него трагический жребий его родины, и картины прожитого проходили перед ним чередой. Может, виделась ему и Миронова гора, но даже ему, военному провидцу, геополитику, пусть уже и предугадывавшему смутный силуэт Второй мировой войны, едва ли являлось на мысль, что во Второй мировой немцы, австрийцы, итальянцы не только дойдут до его далекого родного Дона, но окопаются на Мироновой горе с такими запасами убийственного металла, что его достало бы на гибель целым дивизиям.

Вновь я побывал на Мироновой горе в десятом классе, даже так: по окончании его, после выпускного вечера. Неповторимый, никогда уже потом нигде не испытанный час воли, горизонта во все четыре стороны, хмель от молодости, от выпитого вина. Девушки, уже независимые от учительского пригляда... И так получилось, что я пошел с той, что нравилась мне не более других, и пошел с нею, кареглазой и длиннокосой, не на берег Дона, как многие, а на Миронову гору. Да, подспудно было это желание: взойти на вершину с прекрасной девушкой, для тебя единственной, таящей идеал, — тогда еще это слово сияло чисто и обещающе. Но ведь она для меня не была такой... По справедливости говоря, она была милой, как вспоминается теперь, — красивой. Но что делать: не та, не единственная, не суженая.

Зыбкий очерк слободы остался позади, и мы стали взбираться по затравелому склону вверх, но раз она по-девичьи и уже по-женски почувствовала свою неединственность для меня, не было и особенного желания идти

вверх, и мы поднимались, задерживая шаг, перебрасываясь словами о разном, несущественном, мы... как бы и не знали... как нам дальше.

Хотя мы и находились у самой маковки Мироновой горы, однако, чувствовал я, гора была вдалеке от меня, тугой глыбой главенствуя во всем окрестном, как тогда, в детстве, в час моей болезни. Но и теперь — словно болезнь некоей предписанной скованности. Если бы мы были постарше, может, дали бы выход этому состоянию «вместе-врозь», ненайденности той, единственной, и того, единственного, в простой и грубой игре...

По счастью, этому состоянию не дано было долго продлиться: июньская ночь — как вспышка темного пламени, и рассвет наступает скоро. Далеко в задонских лесах показалось алое солнце; мы глядели туда, в задонские леса, из их смутной совокупной массы вырывая каждый что-то свое, и вот непроизвольно и враз посмотрели друг на друга, глаза в глаза и... рассмеялись. Разомкнулся круг, и ей, и мне опять открылась жизнь во всей своей приманчивости — с солнцем, придонскими просторами, с утренними птицами и будущими встречами. И во всей своей непостижимости!

А у Мироновой горы бывал я еще не однажды, проезжал мимо и даже взошел на нее еще раз. В третий раз, как в доброй русской сказке. Выдалось это четверть века спустя с той поры, как я поднялся на нее впервые. То есть позади уже стлалась важная, может, главная полоса моей жизни, в какой было многое, что вообще отпущено человеку: вера и боль первой любви, горестное «прощай», ночные огни полигона, корабль в море, семья, тоска матери, болезнь сына, бессонницы, дорога в непроглядном от вьюги зимнем поле, горящие нивы и веси, верные друзья и неотменимые враги, видел, как рождаются и умирают люди и звери. В третий раз я поднимался на Миронову кручу уже после того, как меня ветрами судьбы заносило на горы Карпатские и Балканские, к подножью Казбека и Арарата, на Уральский хребет и на Забайкальские сопки, — казалось бы, что перед ними Миронова — эта пусть и геологическими временами явленная мергелевая масса, разве и теперь она для меня тайна?

Холм среди прочих придонских холмов, прибрежная круча в ряду других, пусть и более высокая. Кустки дерезы, белые заплаты по склонам — осыпь мела, остатки глухих траншей, бурьяны, чабрец. На вершине геодезическая вышка-верхница, строгий ветер пахнет степью. И осунувшаяся фигура пожилого учителя больно напоминает, как много воды утекло из Черной Калитвы в Дон с той далекой осенней поры. Учитель давно на пенсии. Все эти годы мы с ним переписывались. И я знаю, теперь-то знаю, о чем думал он, когда поднял свой класс, может быть, на главную для нас вершину.

Из военного донесения: «Взвод автоматчиков... овладел высотой, удерживал в течение 28 часов... все пали... Все... посмертно награждены...»

Сколько их в этом коротком «все»? Взвод? Но речь о сопредельной высотке. А длинные цепи — похоронные списки тех, кто штурмовал Миронову гору, чьими телами был усеян восточный ее склон?

Давнее, столь давнее (никакого следа, кроме белых траншейных рубцов по скосу), и длинная баржа, застывшая на излучине реки, редкие лодки, кони на лугу, белые полосы окрестных сел — все такое мирное и в такой тишине, что нет, не было, не могло быть той давней, страшной боковины горы, усеянной телами погибших! Но то ли хмарь заслонила на

миг солнце, то ли так тому надо быть, но давнее и через столько лет оказалось столь сильным, что «выбило» меня из реальности.

По истоптанному, исхлестанному, выжженному огнем черному снегу бегут вверх, оступаясь, падая и поднимаясь, но все меньше, все меньше их поднимается...

По тяжкому скосу идут в наступление наши. И враждебные пулеметы шлюют навстречу стремительную смерть, неминуемую гибель. В их неумолимом железном стрекотанье было какое-то зримое торжество Зла, казалось, сами эти куски металла распалываются, оживают в беспощадной жажде убивать. Пулеметы строчат не утихая, я чувствую их лихорадочно-надрывную железную дрожь, но ничего не могу поделать, весь какой-то ватный, весь опутанный веревками, — я на самой вершине, среди врагов, их траншей, наполненных металлом и порохом.

Завершением этого сатанинского искуса было: с наступавших в один какой-то неуловимый миг словно бы истаяли, улетучились шинели, и вот они, совсем еще молодые парни, вздымаются вверх — все в белых рубашках, а с ними — рука к руке, ладонь в ладони — все в белых, голубых и сиреневых платьях, почему-то и сиреневых, их любимые. Их невесты.

Но заслан косогор телами взрослых, чаще юных поволжан, чьи дивизии — жертвенная помощь Волги близкому Дону — атаковали здесь непрерывно и безуспешно. И со стыдной горечью я увидел теперь клочок собственного прошлого: нас двоих в ту июньскую ночь после выпускного вечера, праздно пришедших тогда сюда, двоих, не ведавших, что косогор был устлан убитыми, которые до последнего часу хотели верить и любить.

— Проклятый мергель, — сказал учитель, — здесь и дереву не вырасти...

— А надо было брать ее? С такими жертвами... — в тысячный раз спрашиваю я — себя. Учителя. Моего отца. Всех погибших. Всех, кто в ответе за погибших.

— Высота стратегическая. Крайний верхний фас битвы на Волге, его второй этап, — отвечает учитель. — Отсюда возможен был фланкирующий огонь. Брать надо было. Видишь осколок? — он зацепил ногой рубчато-рваный, ржавый кусок железа.

Сравнение теперь напрашивалось само собой, и было оно жесткое, немирное: гора — исполинская каска!

Причудлив язык военных донесений: сухое, навычное — «удерживал», «овладел» и тут же горделивое — «никто не отошел ни на шаг с родной земли».

Родная — как чужая. Ей же все равно — мы или они. Она же не уменьшилась, не съежилась, не разверзлась и не погребла непрошенных чужестранцев, когда наши, наступая, сламывались в бесчисленных атаках? Почему же мы так мучительно тянемся к ней? «Овладесть высотой» — как ныне это странно звучит.

О никогда бы впредь не покорять кровью Мироновой горы! Взойти бы и воскликнуть на весь Божий свет: «Братья, мир един, и для блага он. Что же мы погрязаем в войнах, розни, ненависти, неправде? Если однажды сошли с пути человеческого, почему так долго вышагиваем каннибальским бездорожьем? Как же тогда с заветами великих умов, со священной мечтой о всечеловеческом единстве и братстве? Неужели и дальше: кровь за кровь, смерть за смерть? Бывают времена, когда эти слова — необходимость. Но невозможно же всегда так: «кровь за кровь!»

...Юная, кареглазая и длиннокосяя, легко поднималась по склону, она шла так сегодня, вчера, треть века назад, столетия назад — шла ко мне, шла со своими сверстницами к тем юным воинам, неся любовь и веруя в любовь ответную. И не было в долгие часы безнадежных атак, и не было ничего, что насильно обрывает человеческую жизнь...

Я на вершине горы, а внизу Дон меж лесами и лугами, а вокруг на дальние километры вечность, «бесконечная Россия, словно вечность на земле», и чувствую, вопросы выстроились, словно воины перед сражением, и знаю: Миронова гора — моя вершина... первая... последняя... непокоренная!





Галина Митрофановна Умывакина родилась в Москве. Окончила филологический факультет Воронежского государственного университета, аспирантуру. Публиковалась в коллективных сборниках, альманахах Воронежа и Москвы, журналах «Знамя», «Наши современники», «Подъём» и др. Автор девяти поэтических книг. Член Союза писателей СССР с 1986 года. В настоящее время председатель Воронежского отделения Союза российских писателей. Живет в Воронеже.

Галина Умывакина

СТАРЫЙ СНИМОК

ОТЕЦ

*Сыну Виктору от папы.
43-й. Обоянь.*

Надпись на фотографии.

Сохрани его в походах,
жизнь, вперед на много лет.
— Сыну Виктору два года,
а меня и вовсе нет.
Не минуй его, награда,
обойди, слепая смерть.
— Ведь еще за нами надо
брату младшему поспеть.
Ты, судьба, его не мучай,
хоть шепни: мол, ничего...
— Ты же знаешь: трое внучек
дожидаются его.

Старый снимок. Сорок третий,
где готов он ко всему,
мой отец тридцатилетний!
И откуда знать ему,
что ни здесь, под Обоянью,
ни в одной из прочих битв,
слава Богу — он не ранен,
слава Богу — не убит.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 42-го ГОДА

Маме

Не плачь, мой маленький, прости,
хоть я не виновата.
Чужой солдат на снег и стынь
нас вытолкал из хаты.

Живой, ты плачешь, жалкий мой,
от холода и страха,
и стала мокрой под тобой
от холода рубаха.

Но если жив – он к нам идет
войны дорогой дальней
иль, раненый, кричит «Вперед!»
на койке госпитальной.

И пусть мы здесь с тобой сейчас
среди беды и смерти, —
для жизни, хоть и в страшный час,
понарождались дети.

Не плачь! Я плачу — не пою,
тебя дыханьем грею,
почти как памятник стою,
от горя каменею.

* * *

...Но в этот мир принесены
в дни мира, миру подотчетны —
мы плоть от плоти той войны,
мы дети той беды народной.

От первых до последних дней
нам кровью понимать и кожей
своих отцов смертельный обжиг
и ожиданье матерей.

А сколько рушилось семей,
а сколько свадеб не сыгралось,
а скольких я не досчиталась
живых ровесников-друзей?!

И средь земных забот моих
одна все сердце жжет и студит, —
что никогда, нигде не будет
ни их детей, ни внуков их.



Евгений Григорьевич Новичихин родился в 1939 году в селе Верхнее Турово Нижнедевицкого района Воронежской области. Окончил Воронежский лесотехнический институт. Автор более сорока сборников стихотворений для детей, сатирических миниатюр, литературных пародий, переводов, краеведческих этюдов, нескольких киносценариев. Лауреат премии им. М.А. Булгакова и А.П. Платонова, журнала «Подъём», «Родная речь», премии «Имперская культура» им. Э. Володина. Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза писателей России, Союза кинематографистов. Живет в Воронеже.

Евгений Новичихин

ТОЛЬКО ОДНО СЕЛО...

Документальный рассказ

Н а этой земле я живу, можно сказать, случайно. В 1943 году в селе, где я родился, произошла страшная трагедия. О ней мое Верхнее Турово помнит до сих пор. Покидая село под напором наших войск, фашисты в безумной и бессильной злобе облили бензином и забросали гранатами подвал, в котором спасались от бомбежки дети. Родители привели их сюда, спрятали от огненного кошмара. А самим родителям места в тесном подвале не хватило. Недавно я вновь прочитал об этой трагедии в документах о зверствах гитлеровцев на территории Воронежской области. Прочитал с особым чувством, с особой болью. Ведь в том подвале всего за каких-то две-три минуты до трагедии был я сам — верхнетуровский мальчишка, которому не сравнялось и четырех. Под бомбами мать унесла, увела нас с десятилетним братом из того подвала домой: «Погибать — так вместе...»

Такую кровавую точку поставили фашисты на оккупации села.

И вот многих моих сверстников, еще не узнавших жизни, — нет. А я живу. И за себя, и за них.

Помню, как наша соседка, молодая еще женщина, переехавшая после войны

куда-то в Подмоскowie, в редкие свои приезды в Верхнее Турово, к родственникам, сталкиваясь со мной, уже повзрослевшим, пристально на меня смотрела. И в глазах ее всегда были слезы. Дочка соседки, моя ровесница, осталась в том подвале. Не вернулся с войны и муж.

Каждый из нас за кого-то живет, кому-то обязан жизнью.

На 71-м километре автомагистрали Воронеж — Курск стоит памятник артиллеристу Николаю Загорскому. В течение нескольких часов он — в одиночку — прикрывал метким огнем отступление наших войск. Здесь и погиб. Немцы рвались со стороны Нижнедевицка на Воронеж, рядом была Вязноватка, а через каких-то восемь километров — Верхнее Турово. Но пришлось остановиться. На несколько часов. Скольких моих земляков спасли эти часы? Сколько из них за эти часы успело эвакуироваться? Кто скажет...

Мы эвакуироваться не успели. Село наше тянется на несколько километров. На дальней его окраине есть лесок. Называется он почему-то Гнилой. Рядом, на опушке, — несколько домиков. В далеком военном году, когда к селу подходили захватчики, мать, взяв брата за руку, посадив меня верхом на кормилицу-корову, тоже пыталась вместе с другими односельчанами уйти из села. Дошли мы только до Гнилого. Здесь нас догнали немецкие танки. Вернулись в Турово, в свою ветхую хатенку.

Когда бываю в селе, то всегда вспоминаю рассказы мамы об этой «эвакуации».

В дни оккупации села матери было всего тридцать лет. Первая седина появилась у нее, наверное, уже тогда. Да и как не появиться? По сельской улице бежала немецкая овчарка. Чему учили фашисты собаку на войне? Тому же, что и солдата: ненависти ко всему живому. Бежала овчарка — и набрасывалась на всех подряд: и на людей, и на животных. Покусала несколько человек, а заодно — и коров, и собак. Покусала и моего брата. Овчарка оказалась зараженной бешенством. Медицинская помощь в оккупированном селе — об этом даже смешно говорить. Один за другим умирали люди от этих укусов — и взрослые, и дети. Пали и коровы, и собаки. Как выдержало все это сердце матери? Как не разорвалось от ожидания самого страшного? Но все обошлось: остался брат живым. Единственный из всех пострадавших.

Жили впроголодь. Уже после освобождения села воинская часть, в которой служил отец, оказалась поблизости от воронежских мест. На считанные часы ему удалось вырваться, чтобы встретиться с нами. Провожая, мать усадила его за стол. Сварила пару яиц — а что еще она могла приготовить? Только поднес отец ко рту это нехитрое «блюдо», как я, несмышленый, глотая слюнки, брякнул: «А я шкурку съем...» Расплакался отец и отдал мне это яйцо. Стыдно мне до сих пор за эту детскую несдержанность — да у кого попросить прощения?

Как же вы нас вынянчили, как выкормили, родные наши матери? Недосыпали, недоедали — это без слов понятно. И так банально звучит. Откуда же вы силы черпали?

Когда почтительно говорят: «Участник войны», — то я никак не могу взять в толк: а они, женщины, наши матери, — разве они не участницы той войны? Это они-то не участницы — те, кто растил своих детей, а значит — будущее России? Те, кто стоял у заводских станков, открыв, по сути дела, «второй фронт»? Те, кто тащил на своих плечах тяжелые плуги, вспахивая российские поля? Они и сегодня не требуют никаких льгот, никаких привилегий. Да и какие там льготы особые,

какие привилегии у участника войны? Не обидеть бы словом, не огорчить равнодушием...

...Возмездие неукротимо приближалось. Успешное выполнение Россоханско-Острогжской операции привело к тому, что на важном стратегическом направлении Воронеж — Касторная немцы оказались в глубоком «мешке». 24 января 1943 года ударом войск 40-й армии началась новая военная операция советских войск — Воронежско-Касторненская. Верхнее Турово оказалось в самом центре событий. Близость железной дороги, проходящая через село автомобильная дорога на Курск делали село заметным стратегическим объектом.

Сто двенадцать воинов погибли в бою за село. Их последним домом стала братская могила в центре Верхнего Турова. На обелиске — фамилии, фамилии... Инициалы многих погибших неизвестны. Откуда вы, рядовые Шаркиданов М., Амеджанов С., Ирашев Ш., Нуриев С.И.? Из каких татарских или башкирских сел и городов? А может быть, из Таджикистана или Узбекистана, разделенных ныне с Россией таможнями и пограничными постами? Положили вы головы не за родной Канах или Куляб, а за мое Верхнее Турово, о котором наверняка ничего не знали, уходя на фронт. Из каких украинских или белорусских селений вы, лейтенант Ченчик И.Р., Шалик М.А., рядовые Капервас Н.И., Каблаш А.Н., Панигор С.М., Здор С.А.? Кто ты, рядовой Розенбаум? И как тебя звали? Львом? Михаилом? Видно, не успел ты даже познакомиться с однополчанами, если некому было вспомнить твои инициалы... А вы, старший лейтенант Семенов Н.Ф. и младший сержант Сергеев П.Н., рядовые Миронов и Маслов С.Е., Сафонов С.Н., Савин С.Е., Плотников А.С., — в каких калужских или рязанских местах вы рождены к жизни, чтобы смерть настигла вас на подступах к воронежскому селу? Военные фельдшеры Паков И.В., Сорокин Н.М., — скольких вы спасли в этом бою ценою собственных жизней? А ты, рядовой Рыкунова Л.Л., — ведь была ты, женщина, рождена для любви и счастья. А вышло — для гибели...

Погибали не только при освобождении села. Уже после войны западногерманский военный историк и бывший командующий армией Курт Типпельскирх в своей статье «Оперативные решения командования» скажет, что решающего успеха на юге немцы не добились именно из-за неудач под Воронежем. Здесь они еще раз столкнулись с негнимо духом русского человека. Вот лишь один пример этой негиблемости. В октябре 1942 года в районе нашего села при выполнении задания был сбит советский самолет. Экипаж состоял из пяти человек. Двое из них попали в плен, троим же поначалу удалось уйти. Они скрывались в скирде соломы в Верхнем Турове. Но гитлеровцы обнаружили их, потребовали сдать. В ответ летчики открыли огонь из пистолета. Тогда немцы подожгли солому. Но, превратившись в огненные факелы, летчики все же не сдались. Крестьяне, свидетели происшедшего, похоронили героев в поле у оврага. А их имена стали известны только после войны. Это были штурман старший сержант А.С. Антипов, стрелок-радист старший сержант В.В. Атапин, воздушный стрелок М.В. Ступин.

А тем временем мои земляки-верхнетуровцы отдавали жизни за незнакомые города и веси. Недавно я работал над книгой по истории своей «малой родины». В редколлегии областной Книги Памяти изучал документы военных архивов о погибших односельчанах. Наверное, только здесь можно воочию убедиться, что война и смерть не уточняли ни фамилий, ни адресов, ни возраста. Турово в этих документах именуется то

«Дурово», то «Бурово», а то приобретает еще более мудреное, просто невообразимое название. То же с Нижнедевицким районом и даже, казалось бы, всем известной Воронежской областью. Моя фамилия, очень распространенная среди земляков, варьируется от «Нобичкина» до «Ковишхина». Понятное дело: военные писари не были идеальными в смысле точности и каллиграфии. Война есть война. А уж возраст не указывали сплошь и рядом: «Год рождения не известен» — это, кажется, самая распространенная фраза в этих архивных документах. Удивительно ли, что не доходили по адресу «похоронки», что точных данных о погибших и пропавших без вести мы не знаем и вряд ли когда-нибудь узнаем. Они сложили головы за разбросанные по российской земле Ивановки да Семеновки, Березовки да Прохоровки, за Варшаву, за Прагу, за Будапешт...

Вновь и вновь листаю свои выписки из этих документов.

«Аборнев Митрофан Севостьянович, 1912 г.р. Пропал без вести в январе 1945 г.»

Аборнев Федор Севостьянович, 1905 г.р. Погиб 10 октября 1944 г.»

Кто вы, Митрофан и Федор? Братья? Скорее — да. Кто оплакивал вас, не дождавшись с войны? Мать, жены, дети? А ведь так недалеко оставалось до Победы...

А вот еще:

«...Анохин Григорий Константинович, 1918 г.р. Погиб 18 августа 1944 г.»

Анохин Павел Константинович, год рождения неизвестен. Погиб в октябре 1941 г.»

И еще:

«...Бердников Петр Андреевич, 1915 г.р. Погиб в январе 1945 г.»

Бердников Сергей Андреевич, 1910 г.р. Пропал без вести в марте 1943 года».

И опять:

«...Воронин Григорий Стефанович, 1911 г.р. Погиб в декабре 1941 г.»

Воронин Николай Стефанович, 1912 г.р. Погиб в мае 1942 г.»

Снова и снова:

«...Гребенщиков Василий Ксенофонович, 1903 г.р. Погиб в августе 1943 г.»

Гребенщиков Егор Ксенофонович, 1914 г.р. Пропал без вести в марте 1943 г.»

Велико горе матери, потерявшей сына. А если их было двое — и оба погибли? Как могло выдержать сердце такую потерю? И выдержало ли? Кто ответит...

«...Борисов Василий Пахомович, 1915 г.р. Погиб в июле 1943 г.»

Борисов Пахом Митрофанович, 1897 г.р. Пропал без вести в марте 1943 г.»

Стала женщина вдовой. Молила Бога: сохрани хоть сына! Нет, не сохранил. Через четыре месяца после гибели отца не стало и сына. Сколько их, таких семей, в которые не вернулись ни отец, ни сын?

«...Семенихин Алексей Владимирович, год рождения неизвестен. Пропал без вести в ноябре 1943 г.»

Семенихин Иван Алексеевич, год рождения неизвестен. Пропал без вести в ноябре 1943 г.»

«Год рождения неизвестен». Почему? Не указали его военные писари, но ведь знают этот год родные. Неужто некому вас даже оплакать, отец и сын, пропавшие без вести? В какой земле покоится ваш прах?

А вот — совсем иные:

«...Анохин Петр Федорович, 1925 г.р. Пропал без вести в октябре 1943 г.

Анохин Семен Федорович, 1925 г.р. Погиб в декабре 1944». (Не близнецами ли вы были, Петр и Семен?)

...Баркалов Сергей Петрович, 1926 г.р. Погиб в апреле 1945 г.

Борисов Михаил Стефанович, 1925 г.р. Погиб в июне 1944 г.

Булгаков Митрофан Ефимович, 1926 г.р. Погиб в марте 1945 г.

Козлов Василий Сергеевич, 1926 г.р. Пропал без вести в марте 1945 г.

Матюхин Владимир Яковлевич, 1925 г.р. Погиб в ноябре 1943 г.

Нечаев Василий Кириллович, 1925 г.р. Погиб в октябре 1943 г.

Новичихин Алексей Митрофанович, 1925 г.р. Погиб в апреле 1944 г.

Новичихин Митрофан Егорович, 1925 г.р. Погиб в июле 1944 г.»

Когда пришел 1941-й, были они пятнадцати-шестнадцатилетними мальчишками. Уходили на фронт, зная, что на многих односельчан уже пришли «похоронки». Они и сами остались там, на войне, — навсегда восемнадцатилетние да девятнадцатилетние...

Гибель товарищей. Сообщения о зверствах фашистов на родной земле. Любая война — бесчеловечна. Как же трудно было не ожесточиться, не потерять человеческие качества, когда она, война, полыхала вокруг! Но — и не ожесточились, и не теряли. Вдова моего земляка Героя Советского Союза Максима Шматова, совершившего подвиг при форсировании Дуная, показала мне письма, которые он получал от однополчан. Вот строки одного из тех писем:

«Дорогой мой комбат! Вы меня, может, и не помните, но я Вас помню очень хорошо. В Австрии, незадолго до конца войны, я отстал от роты и дня три догонял вас. Была у меня причина отстать: я влюбился в одну австрийку. А Вы обязаны были докладывать в штаб полка о каждом отставшем. Тогда некоторые солдаты, особенно из побывавших в плену, отставали умышленно. А обо мне Вы в штаб не доложили: видимо, верили мне и знали, что я догоню свою роту. Когда я явился к Вам, Вы сказали: «Я три дня не спал из-за вас, паразитов. А только уснул, как тут же ты мне приснился. Хоть бы что-нибудь хорошее приснилось, а то увидел твою морду». Политрук сказал тогда, что меня надо отдать под суд, судить как дезертира. Но Вы и командир роты Данилов крепко, по-мужски меня отругали, и на этом все кончилось...»

А вот воспоминания другого однополчанина М.В. Шматова, опубликованные в 1977 году журналом «Коммунист»:

«Советские солдаты прошли огромный и трудный путь войны, на котором встретилось им много людского горя. Тысячи солдат нашей дивизии лишились родных и знакомых, друзей и товарищей, имели ранения и контузии. Они были преисполнены ненависти к врагу и его пособникам, но, увидев, какие бедствия терпят незащитные люди, проявили высокий гуманизм.

В одной из рот третьего стрелкового батальона 305-го стрелкового полка беседу о помощи голодающему мирному населению проводил командир батальона капитан Максим Шматов. Он только что был представлен к званию Героя Советского Союза. Теперь он говорит бойцам:

— Русский солдат никогда не был жесток. И сейчас мы должны помочь мирному населению Будапешта. За это нас вспомнят добрым словом...

В роце, по дороге на Будафок, подразделения нашего полка ночью захватили трехэтажный дом под флагом Красного Креста. В этом доме размещался детский приют. Отступая, фашисты забрали все запасы продовольствия. Дети несколько дней не получали пищи.

С наступлением темноты (днем всякое движение исключалось) в штаб полка пришли командир батальона М. Шматов и его заместитель по политчасти В. Бондаренко. Они предложили помочь детям...

На это предложение откликнулись все. Тут же решили немедленно оградить детей от методичного обстрела вражеской артиллерии.

...Солдаты решили принять на довольствие спасенных детей и получить пищу только после того, как те будут накормлены. А потом в приют регулярно передавались продукты, отчисленные солдатами и офицерами от своего пайка...»

Бывший колхозный учетчик из Верхнего Турова Максим Шматов давал Европе уроки доброты и гуманизма.

«Дети, спасенные нами, — писал автор воспоминаний Ф. Шаченко, — стали взрослыми. И мы уверены, что они никогда не забудут тех советских солдат, которые избавили их от голодной смерти и фашистского ига».

Увы, жизнь и время иногда круто меняют судьбы людей и расставляют новые исторические акценты на событиях. К сожалению — не всегда справедливые. Забывается и то, что не должно было забыться. Но ведь, в конце концов, не для славы и почестей творятся добрые дела!

Наше село взрастило двух Героев Советского Союза. Второй — Михаил Данилович Козлов. Воспитанный в сельской семье, рано лишившийся отца, он прошел путь от разнорабочего железной дороги до генерал-майора авиации. «За отвагу и геройство, проявленные в период Великой Отечественной войны», — так говорится в Указе о присвоении ему звания Героя. Помните первый советский телевизионный фильм «Вызываем огонь на себя», в котором Людмила Касаткина блестяще сыграла роль отважной разведчицы Ани Морозовой? В основе этого фильма, как и повести Овидия Горчакова, по которой он поставлен, — реальные события военного времени на Брянщине. Так вот, реальная Аня Морозова вызывала на себя огонь... моего земляка-верхнетуровца. Летчик М.Д. Козлов принимал непосредственное участие в тех событиях, нанося бомбовые удары по Сещинскому аэродрому, на котором базировались авиаэскадрильи 2-го флота Люфтваффе. Налеты на этот аэродром он совершал в августе и в октябре 1942-го, в июне и июле 1943-го. В одном из таких налетов его экипажем было уничтожено свыше 70 самолетов противника. А всего за время войны летчик совершил 207 (!) боевых вылетов. На его счету не только удары по Сеще. В сентябре 1944 года М.Д. Козлов оказывал помощь словацким партизанам, сбрасывая им вооружение и боеприпасы. Наносил удары по военным объектам в Будапеште, Бухаресте, Праге, Варшаве, Франкфурте-на-Одере. Бомбил гитлеровские корабли в Балтийском море. В апреле 1945-го дважды был в небе Берлина.

К сожалению, даже наши дотошные воронежские краеведы, специализирующиеся на военной тематике, не сразу открыли для себя, что М.Д. Козлов — наш земляк. В объемистом томе «Богатыри земли Воро-

нежской», подготовленной журналистами А. Гринько и Г. Улаевым, о нем — ни слова. Одна из причин — удивительная личная скромность Героя Советского Союза. Вот такой, например, факт. Когда Александр Иванович Гринько, работая над вторым изданием книги «Богатыри земли Воронежской», обратился к Михаилу Даниловичу, жившему тогда в Рязани, с просьбой прислать воспоминания о своих подвигах, тот в январе 1968 года направил в ответ скромную, сухую автобиографию. А в письме написал: мол, о подвигах пусть лучше расскажут те, кто рядом со мной воевал.

Да, не для славы были эти подвиги. И вот о чем я думаю. Нет уже живых ни того, ни другого Героя. Их однополчан тоже осталось — по пальцам пересчитать. А в моем селе нынче немногие знают об этих подвигах. А ведь память должна жить!

Кстати, хорошие примеры есть с кого брать. Совсем рядом с Верхним Туровом были земли хохольского колхоза «Великий Октябрь». Жил здесь прекрасный человек — Николай Григорьевич Пегарьков. Многие годы был колхозным председателем, возглавлял районный Совет ветеранов войны и труда. Сам участник Великой Отечественной. По его инициативе издана первая в России Книга Памяти — о тех земляках Николая Григорьевича, кто не вернулся с полей сражений. И еще одна Книга Памяти появилась — «О тех, кто вернулся с войны». Уникальное издание! А главное — сделано благородное дело. Впрочем, таких дел на счету Пегарькова было немало: чествования солдатских вдов, районные праздники «День фронтовика». Вышла и еще одна книга — о солдатских вдовах. И все это — усилиями одного энтузиаста. Почему бы и в других селах энтузиастам не отыскаться?

...Село было освобождено 29 января 1943 года — в тот самый день, когда полным разгромом противника завершились бои за Касторную, а с ними и Воронежско-Касторненская операция в целом. В феврале возвратились те, кто успел эвакуироваться. Над сожженным селом еще курился дым. В селе — одни женщины, дети, инвалиды. А надо восстанавливать хозяйство. Как? Ведь оставалось всего с десятков коров да три раненых лошади на все большое село. Весною впрягали женщины своих коров в плуги и начали посевные работы. Урожай в том году собрали небольшой. Но не забыли часть зерна сдать в фонд Красной Армии. Ей, армии, старались помочь все. Известна телеграмма И.В. Сталина верхнетуровской комсомолке Лидии Анохиной с благодарностью за помощь фронту. А вот небольшая информация из нижедевицкой районной газеты «Путь колхоза» за 16 декабря 1943 года:

«На собрании 14 декабря коллектив рабочих и служащих Туровской МТС обсудил, как лучше помочь доблестной Красной Армии.»

Трактористы и бригадиры тракторных отрядов, машинисты и комбайнеры решили продать государству излишки заработанного хлеба. Бригадир Федяинов Яков Иванович продает 50 килограммов хлеба, машинист Красов Иосиф Иванович продает 20 килограммов хлеба и 50 килограммов картофеля, бригадир Аборнев Семен Петрович — 30 килограммов хлеба. Продают хлеб государству и другие рабочие».

Какие там «излишки»! Отдавали последнее, отрывая от себя, от своих семей. А колхоз «13-я годовщина Октября», несмотря на низкий урожай, сдал 250 центнеров зерна.

Победу приближал каждый. И победа пришла.

...Сегодня в Верхнем Турове проживают полторы тысячи человек. На полях войны осталось более пятисот — погибших в бою, замученных в плену, умерших от ран, пропавших без вести. Эти цифры — полторы тысячи и пятьсот — буквально потрясают. Каждая семья кого-то потеряла — мужа, отца, сына. Продолжали терять и годы спустя. Еще долго то тут, то там взрывались гранаты и снаряды, которыми была напичкана эта земля. Погибали мои сверстники — от детского любопытства до неосмотрительности. Кто их сосчитает?

И это — только в одном селе. Только в одном.
Сколько их, таких сел, на просторах России...





*Общая
тетрадь*

ФРОНТОВОЙ ЭШЕЛОН

Алексей Багринцев

* * *

Он приезжал обычно в мае
откуда-то издалека.
Шутил, что комнату снимает
просторную
у лешака.

Он покупал харчи в деревне
и шел к затону босиком.
Он нам казался очень древним
волшебно-добрым стариком.

Он жил все лето у затона
в духмяно-тесном шалаше.
И говорил, что даль за Доном
ему, бродяге, по душе.

Но был рассеяно-задумчив,
когда по строчкам козьих троп
угадывал на белой круче
другим не видимый окоп.

Туда навевывался часто,
бродил по круче меж камней...
Он, видно, с юностью встречался —
с окопной юностью своей.

Ему нещадно в девятнадцать
огнем здесь юность обожгло...
И потому уже расстаться
с землю этой тяжело.

Егор Исаев

ПРЕДЧУВСТВИЕ

— По вагонам... —
Вдоль вагонов
Голос подан.
Сталь гудит.
Перегон за перегонем.
Запад севером глядит.
И тепло кругом, а в сердце
Темный тлеет холодок,
Как в уборку на погребце
Под опилками ледок.
Тот, речной, что для остудки
Заготовлен был с зимы...
На закат вторые сутки
Едем, стриженные, мы.
Едем, песни распевая,
Горлопаним — грудь вперед —
И как знать про то не знаем,
Что он есть такое, — фронт.
И как будто страху нету, —
Выполняй, солдат, приказ.
А убьет кого, так это
Не кого-нибудь из нас,
А кого-то в промежутке
Между нами, чью-то тень...
Голоса все глуше,
Тише.
Вдох тревожней,
Строже взгляд.
Фронт все ближе,
Ближе,
Ближе...
Руки ищут автомат.

Павел Касаткин

9 МАЯ, 1945-й

Бросая наземь дыма сгустки
На утихающем ветру,
Наш поезд
в каменном Иркутске
Остановили поутру.

Мы, не снимавшие погоны,
Вслед за пронзительным свистком

Поспешно вышли из вагона
За долгожданным кипятком.

Пыхтел последними парами
Перрона дальнего «титан»,
Когда над сонными горами
Подал свой голос Левитан.

Слова чеканней, звонче меди
В тот час услышала тайга
Об окончательной победе,
О поражении врага.

Судьбой суровой бережены,
Мы обнимались горячо.
И чьи-то матери и жены
Роняли слезы на плечо.

Победа ввысь взметнула знамя,
Свинец меняя на дожди.
Она была уже за нами...
А что там будет впереди?

В громах, в железном урагане,
Сняв с пушек плотные чехлы,
Еще нам биться на Хингане,
Где гнезд не вьют себе орлы.

Тайгой, где рыси да медведи,
Где каждый куст к врагам жесток,
Мы от одной к другой Победе
Передвигались на восток.

Бросая выше дыма сгустки
На майском солнечном ветру,
Наш поезд в каменном Иркутске
Стоял недолго поутру.

Василий Кубанев

ВАЛЕ

Ты вздыхаешь в подушку, и тут
Сновиденья садами цветут,
И не счесть, и не счесть за окном
Алых роз на лугу голубом.

Вот ракета, рассыпавшись, вниз
Покатилась одна, и горнист
Вдалеке за безмолвным холмом
Ей в ответ прохрипел петухом.

Он других будоражит собой;
Он живых созывает на бой.
Тут и там, тут и там, за холмом
Все готовятся к схватке с врагом.

Из-за края земли сквозь туман
Краснобокий ползет барабан.
И солдаты — им все нипочем —
Бьют в него раскаленным лучом.
Толпы пеших и конных чуть свет,
Тучей пыли скрывая свой след,
Предстоящим кипя торжеством,
За твоим прогрохочут углом.

Провожая печально их в путь,
Ты не сможешь вторично уснуть.
И у двери и ночью и днем
Будешь ждать их в жилище своем.
Ты разыскивать ринешься их,
Неизвестных знакомых своих.
Тем кровавым корявым путем
Мы с тобой, спотыкаясь, пройдем.

Твою резвую жизнь сторожа
От чужого и злого ножа,
Я хочу в путешествии том
Послужить тебе верным щитом.

Но пока не собрались войска,
И секунда борьбы далека,
Словно елка, блестят высотой
Стаи звезд над густой темнотой.
Сон твой сладкий последний храня,
У преддверия бурного дня,
Я б хотел на окошке твоём
Зазвенеть на заре соловьем.

1941

Николай Плаксенко

ФРОНТОВОЙ ЭШЕЛОН

Замолчали колеса,
Вздвинулся старый вагон —
И застыл у откоса
Фронтной эшелон.

Полустанок разбитый,
Заболоченный край...

У них давно вошла привычка в быт:
Чтоб не спугнуть надежду, вероятно,
О летчике не скажут: «Он убит»,
А говорят:
 «Не прилетел обратно...»

* * *

Он не давал нам, гад, покою,
Подстерегая каждый шаг,
Кружил, как ястреб, на рекою,
Где мы сидели в камышах.

С крестами, свастикой паучьей,
Грозил смертельной бедой,
Взлетал и прятался за тучей,
То мчался низко над водой.

Он сатанел в свирепой силе,
Еще не знал про свой удел,
Что уж зенитчики ловили
Его в оптический прицел.

Строчил в камыш из пулемета
И рвал на части неба шелк...
Но вдруг споткнулся обо что-то
И, накренившись, вниз пошел.

И мы «ура» кричали смело,
В воде от холода дрожа,
Когда, взбухая, зачернела
За ним упругая вожжа.

Она тянулась до предела,
Не отпуская самолет,
Как будто все еще хотела
Продлить разбойничий полет.

Ольга Кожухова

МОЙ ГОРОД

Я не могу себе представить
Мой город — раненый, больной,
Трамвай, идущий от Заставы,
Застигнутый в пути войной.
Театра скорбные колонны,
И груды щебня позади,
И толпы женщин утомленных,
С детьми, прижатymi к груди...

Воронеж! Город белых улиц,
Окраин пышные сады,
Вот тополя его, сутулясь,
Окутались в огонь и дым...
Он плыл рекою голубою,
Он солнцем огненным сверкал
И отражал меня с тобою
В озерах уличных зеркал...

Теперь там мертвые колонны,
Глазницы черные домов,
Но, взорванный и опаленный,
Он нашу заслужил любовь
За то, что встал могучей силой,
Врагов под пеплом погребя,
Еще обширней и красивей,
Воронеж, выстроим тебя!

Станислав Чернышев

НА ЗАДОНСКОМ ШОССЕ

Гуще — запах полыни, и робко проклюнулась мята.
На Задонском шоссе даже травы цветут виновато.
Даже птицы спешат облететь неуютное место,
где гнетет тишина
и где в горле дыханию тесно.

Нет покоя душе
и не жди тут душевной отрады.
На Задонском шоссе умирали когда-то солдаты.
Припадали к земле побуревшей небритой щекою.
только мертвым бойцам разрешалось
уйти с поля боя.

А куда им идти?
Кто — в металле,
кто — в камне,
кто — в песне —
тут они, на Задонском,
прописаны с памятью вместе.
И опять достаем довоенного года альбомы —
до чего ж молодых
присылали сюда военкомы!

И того старшину я совсем не признаю,
наверно,
что приходит сюда, проводя поименно поверку.
Только ветер качнется кому-то навстречу
и листва отзовется почти человеческой речью
на Задонском шоссе.



Алексей Евгеньевич Галанин родился в 1974 году в городе Балашиха Московской области. Окончил Институт социально-экономического прогнозирования и моделирования. Работал журналистом в региональных СМИ, главным редактором газеты «Факт». В настоящее время главный редактор газеты «От Акулово до Восточного» (Москва). Автор-составитель энциклопедического словаря «Большая Балашиха» и других историко-краеведческих изданий. Лауреат многих региональных журналистских наград. Член Союза журналистов России.

Алексей Галанин

ПЕРВЫЙ КОМАНДИР ЛЕГЕНДАРНЫХ «КАТЮШ»

(Капитан Флёров — испытатель супероружия, сделанного в Воронеже)

О подвиге Ивана Флёрова стали вспоминать лишь после окончания Великой Отечественной войны. Нет, о нем не забыли. Но и не вспоминали особо — мало ли было героев на войне. Поэтому высокого звания Героя Советского Союза Иван Андреевич так и не был удостоен. И лишь в 90-е годы подвиг комбата, наконец-то, был оценен по достоинству. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне указом Президента Российской Федерации от 21 июня 1995 года капитану Ивану Андреевичу Флёрову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Родился Иван Андреевич Флёров 24 апреля 1905 года в селе Двуречки ныне Грязинского района Липецкой области. Его дед Кодрат и прадед Семен Иванович служили в сельской Никольской церкви пономарями и дьячками. Отец работал счетоводом на Боринском сахарном заводе, мать была домохозяйкой. Кроме Ивана, в семье было еще пятеро детей: три сына и две дочери.

Окончив земскую школу с похвальным листом, показав особые успехи по арифметике, Иван работал сначала секретарем совета в родном селе, затем учеником слесаря на Боринском сахарном заводе. В 1926 году он окончил школу фабрично-заводского ученичества при чугунолитейном заводе в городе Липецке.

Со своей женой, Валентиной Трофимовной, Иван Андреевич познакомился у себя дома. Она, молоденькая учительница, была направлена в село на борьбу с безграмотностью и сняла комнатку именно в доме Флёровых. Так и пришла любовь. Своего сына они назвали Юрием.

В 1927–1928 годах Иван Флёров проходил срочную службу в Красной Армии, окончил курсы командиров-одногодичников при 9-м корпусном артиллерийском полку. После увольнения в запас работал мастером производственного обучения в ФЗУ города Липецка.

В 1933 году Флёров был призван на полуторамесячные сборы офицеров запаса и остался служить в Красной Армии командиром взвода 3-го дивизиона 19-го артиллерийского полка. Затем был назначен начальником разведки дивизиона, помощником командира батареи. С 1936 года — помощник начальника штаба артполка Мурманской стрелковой дивизии. Грамотного и умного офицера заметили, и в 1939 году Иван Флёров был зачислен слушателем Артиллерийской академии РККА имени Ф.Э. Дзержинского.

«Лодырем я никогда не был и не буду, пока есть силы, несмотря ни на какие обстоятельства, буду отдавать их избранному делу», — писал он тогда своему брату. Жизнь давала немало случаев подтвердить эти слова делом.

В 1939 году началась так называемая «зимняя война» с Финляндией, и старшего лейтенанта Ивана Флёрова отправляют на фронт командиром батареи 94-го гаубичного артиллерийского полка — набираться боевого опыта. Он отличился в боях на Карельском перешейке и под Выборгом, за что был награжден орденом Красной Звезды.

Финны оказались хорошими воинами. Однажды батарея старшего лейтенанта Флёрова оказалась в окружении. Опасаясь худшего, Иван Андреевич написал записку жене и спрятал ее в гильзу патрона. Обошлось — наши лыжники прорвали вражеское кольцо, спасли попавших в беду артиллеристов. И Флёров забыл о записке. Но ее нашла жена Валентина Трофимовна, когда стирала гимнастерку мужа. В записке говорилось: «Валя, может быть, мы больше не увидимся. Последняя просьба к тебе: воспитай сына честным, правдивым и преданным Родине человеком...»

После окончания боевых действий Иван Андреевич вернулся к учебе в академии. Флёров был одним из лучших слушателей, являлся парторгом курса.

Поселился тогда Иван Андреевич с семьей в Балашихе в доме № 6/4 на улице Кооперативной. Приехали Флёровы в этот город не случайно: к тому времени здесь осели родные жены — на заводе № 120 работала сестра Валентины Трофимовны — Клавдия. Ее муж, Виталий Павлович Шевелкин, трудился на том же предприятии. Жизнь, казалось, налаживалась. Но опять — война!

Жена Флёрова, Валентина Трофимовна, вспоминала, что в то летнее утро 22 июня 1941 года они с мужем завтракали дома, когда по радио объявили о вероломном нападении врага на советскую Родину. Иван Андреевич бросился собирать вещи, жена попыталась было его остановить. Но он попрощался с сыном, поцеловал любимую и ушел. Навсегда...

Решение о формировании первой экспериментальной батареи реактивной артиллерии было принято 28 июня 1941 года. По предложению начальника Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского генерал-майора Л.А. Говорова (будущего маршала, героя обороны Ленинграда), командиром был назначен один из лучших — капитан Флёров.

Работы над созданием многозарядной реактивной установки на базе грузовой машины начались в 1938 году. В апреле 1939 была создана модель МУ-2 (механизованная установка, 2-й образец), заряжавшаяся 132-мм реактивными осколочно-фугасными снарядами.

Опытная боевая машина с реактивными снарядами была представлена на смотре новых образцов вооружения Красной Армии, который проходил 15–17 июня 1941 года



Иван Флёров с семьей

на полигоне в подмосковном Софрино. За стрельбами наблюдали нарком обороны маршал Семен Тимошенко, начальник Генштаба генерал армии Георгий Жуков, начальник Главного артиллерийского управления маршал Григорий Кулик и его заместитель генерал Николай Воронов, а также нарком вооружений Дмитрий Устинов. Демонстрация нового оружия произвела на присутствующих сильнейшее впечатление.

Окончательное решение о начале серийного производства БМ-13 было утверждено И.В. Сталиным за день до начала Великой Отечественной войны, 21 июня 1941 года. Первые серийные БМ-13, созданные на базе автомобиля ЗИС-6, 26 июня сошли с конвейера завода № 723 Наркомата минометного вооружения в Воронеже.

Как рассказывал впоследствии своим боевым товарищам Иван Андреевич Флёров, беседа с одним из руководителей Главного артиллерийского управления Красной Армии В.В. Аборенковым сводилась примерно к следующему: «Мы вас знаем, капитан, как опытного офицера, получившего серьезную боевую практику и фронттовую закалку в советско-финской войне. Вот почему на вас пал выбор, когда мы решали, кому доверить командование новым секретнейшим оружием, боевые свойства которого являются невиданными в истории войн».

Далее, как пишет в своих воспоминаниях доктор военных наук, генерал-лейтенант в отставке М.И. Науменко, Флёрову кратко обрисовали это оружие, а затем поставили задачу: беречь батарею на фронте как зеницу ока, не подвергая ее ни малейшей опасности. Главное, что ждет от батареи руководство страны и армии — это тщательная и всесторонняя проверка эффективности нового оружия в реальной боевой обстановке.

Командный состав батареи был укомплектован в основном слушателями Артиллерийской академии им. Ф.Э. Дзержинского, только что окончившими первый курс командного факультета.

— Все мы, молодые лейтенанты, составившие костяк командного состава батареи, были людьми необстрелянными, без какого-либо боевого опыта, — рассказывает М.И. Науменко. — Никакой специальной подготовки по реактивной артиллерии ни офицеры, ни номера боевых расчетов батареи не имели. Я подозреваю, что большинство из нас вообще не имело представления о природе реактивного движения. Что касается нашего командира, то это был артиллерист-фронтовик, обладавший солид-

ной боевой практикой и большими профессиональными знаниями. Еще учась в академии, мы с огромным вниманием слушали его рассказы о фронтовых делах, о победах и поражениях нашего оружия.

Иван Андреевич Флёров был из тех офицеров-строевиков, о которых говорят, что он родился в гимнастерке.

— Ходил он всегда в военной форме, перетянутой широким командирским ремнем, через правое плечо портупея, до блеска начищенные сапоги, — вспоминал о своем командире М.И. Науменко. — Обмундирование на нем, даже хлопчатобумажное, сидело как влитое. Ходил он прямо, высоко поднимая голову, даже как-то горделиво. Голос спокойный, уверенный. Светло-серые глаза всегда смотрели на собеседника доброжелательно, располагая к откровенному разговору. Лишь в минуты опасности или гнева цвет глаз капитана неуволимо менялся, становился темно-серым, даже стальным. Нет, он не был ангелом во плоти. Бывал крутым, порой беспощадным...

Изначально задача у Флёрова была непростой — за четверо-пятеро суток сформировать батарею, обучить личный состав первичным навыкам обращения с материальной частью и в первых числах июля отбыть в действующую армию. Ивану Андреевичу удалось провести лишь три занятия, главным образом по устройству материальной части и боеприпасов и общим приемам обращения с ними. Занятиями руководили разработчики ракетного оружия инженер-конструктор А.С. Попов и военный инженер 2 ранга Д.А. Шитов. Как вспоминает М.И. Науменко, в ходе занятий никаких письменных инструкций и наставлений выдано не было. Запрещалось делать даже какие-либо записи.

Менее чем через две недели после начала войны, в ночь на 2 июля 1941 года, из Москвы по Можайскому шоссе батарея капитана И.А. Флёрова, вооруженная семью опытными боевыми установками БМ-13 на базе ЗИС-6, выехала на фронт по маршруту: Москва—Ярцево—Смоленск—Орша. Батарея состояла из взвода управления, пристрелочного взвода, трех огневых взводов, взвода боевого питания, хозяйственного отделения, отделения горюче-смазочных материалов, санитарной части. В составе батареи были одна легковая машина и 44 грузовые машины (для перевозки 768 реактивных снарядов М-13, 100 снарядов для гаубицы, шанцевого инструмента, трех заправок ГСМ, семи суточных норм продовольствия и другого имущества).

Перед выездом на фронт инженер-конструктор А.С. Попов указал на большой деревянный ящик, укрепленный на подножке боевой машины. «Вы, вероятно, думаете, — сказал он, — что этот ящик предназначен для инструмента водителя или для каких-либо аналогичных целей. Ничего подобного. При отправке вас на фронт мы набьем этот ящик толковыми шашками и поставим пиропатрон, чтобы при малейшей угрозе захвата реактивного оружия врагом можно было подорвать и установку, и снаряды, не дать ему возможности воспользоваться ценнейшим творением ума и рук советских людей».

Уже 6 июля батарея прибыла на место и вошла в состав 20-й армии Западного фронта. До 12 июля она находилась на позиции в районе Борисова и только чудом сумела отойти до подрыва мостов.

Наступил исторический день боевого крещения — 14 июля 1941 года. В 15 часов капитан Флёров дал команду открыть огонь по врагу. Семь пусковых установок БМ-13 нанесли удар по скоплению живой силы и танков фашистов в районе белорусского города Орша. За семь-восемь секунд батарея выпустила 96 реактивных снарядов. В 16 часов 45 минут был произведен второй залп — по переправе через реку Оршицу.

— С наблюдательного пункта я хорошо видел результаты нашей стрельбы, — вспоминал М.И. Науменко. — Особенно мне запомнился удар по переправе через реку Оршица. Он пришелся по самому центру гигантского треугольника, образованного автоколоннами и конными повозками, пехотными подразделениями и группами танков и бронетранспортеров противника, стянувшимися к единственному мосту. Вра-

жеских потерь мы, естественно, подсчитать не могли. Но отчетливо видели, какой дикой — более точного слова, пожалуй, не подобрать — паникой были охвачены все, кому удалось уцелеть и вырваться из-под огня.

Действительно, результаты стрельбы были отличными — сплошное море огня. Враг понес огромные потери в живой силе и боевой технике. Более того, все гитлеровцы, уцелевшие на восточном берегу, были взяты нашими подразделениями в плен. А переправа в течение нескольких часов бездействовала и в дальнейшем уже больше не использовалась врагом с прежней интенсивностью. Этот первый удар был настолько эффективным и сокрушительным, что гитлеровцы целый день вывозили раненых и убитых, остановив наступление на сутки.

А вот что сообщали об этом немецкие газеты: «Русские применили батарею с небывалым числом орудий, снаряды фугасно-зажигательные, но необычного действия... Войска, обстрелянные русскими, свидетельствуют: огневой налет был подобен урагану».

19 июля батареи Флёрова произвела три залпа по городу Рудне, когда батальон немецкой 5-й пехотной дивизии сменял 12-ю танковую дивизию. И снова поразительный эффект!

Об успехе первых залпов реактивной артиллерии было доложено в Москву. Причем, в сообщении подчеркивалось, что при наступлении на участках, где применялась батарея, наши части обычно не встречают сопротивления. Так, в районе города Ярцево, на одном из участков советская пехота дважды атаковала вражеские части, занимавшие деревню Шуклино, но успеха не имела. Но после того как по расположению противника был дан залп батареи реактивных установок, советские войска не встретили сопротивления и заняли деревню.

— На ярцевском направлении на немцев был наведен буквально ужас, — докладывал И.В. Сталину о боевом применении батареи Флёрова член Военного совета Западного фронта Н.А. Булганин. — Батареей был обстрелян находившийся в ложбине батальон немцев, обратившийся в паническое бегство, большая часть противника была уничтожена на месте.

Это способствовало принятию решения об ускоренном развертывании серийного производства реактивных пусковых установок и снарядов к ним и формировании подразделений, а затем и частей реактивной артиллерии. К началу августа на Западном фронте действовало уже несколько батарей реактивной артиллерии. Примерно в то же время реактивную технику стали называть в народе ласковым именем «Катюша».

До сих пор идут споры, по какой причине БМ-13 получила в армии наименование «Катюша». Одни связывают это с индексом «К» на корпусе миномета — установки выпускались воронежским заводом имени Коминтерна, другие говорят о том, что звук, издаваемый снарядами, был похож на протяжное звучание песни. А вот немецкие солдаты называли БМ-13 не «катюшей», а «органом Сталина» из-за звука, издаваемого оперением ракет, похожего на звучание популярного в Германии клавишного духового музыкального инструмента.

После залпов в районе Орши последовали удары по захватчикам под Ельней, Рославлем, Спас-Деменском. За три месяца боевых действий батарея Флёрова нанесла огромный урон немцам.

За новым оружием противник устроил настоящую охоту. В августе-сентябре 1941 года немецкий Генштаб послал в войска следующую телеграмму: «Русские имеют автоматическую многоствольную огнемётную пушку. Выстрел производится электричеством. Во время выстрела образуется дым. При захвате таких пушек немедленно докладывать».

Поэтому, как только немцам удавалось засечь местонахождение батареи Флёрова, они сразу же посылали туда танки и авиацию. Но Иван Андреевич прекрасно знал об этом, и сразу после нанесения удара по позициям немцев менял место расположения. Так вырабатывалась тактика применения реактивных минометов.

Батарея была экспериментальной — за ней тщательно наблюдали не только немцы, но и советские разработчики ракетного оружия: для того чтобы выявить недостатки и быстро устранить их при производстве следующих боевых машин. После боев под Ельней капитан Флёров совместно с офицерами батареи тщательно обобщил весь накопленный батареей опыт боевых действий и подготовил подробную докладную записку о положительных свойствах ракетной артиллерии и ее недостатках. Все эти проблемы были учтены уже при производстве «катюш» следующей серии.

— Конструктивным недостатком пусковых установок или, как скоро стали их называть, боевых машин, являлось, прежде всего, отсутствие бронезащиты двигателя, топливного бака и кабины водителя, — вспоминает М.И. Науменко. — Вследствие этого боевая машина была весьма уязвимой на поле боя. В процессе боевого применения было обнаружено несовершенство подъемного и поворотного механизмов. Случались частые неполадки в работе электрооборудования, особенно прибора управления огнем. Выявилась и ограниченная проходимость автомобиля ЗИС-6, на шасси которого были смонтированы боевые машины.

Бои продолжались. Обстановка на фронте была тревожной. Наши войска отступали.

— Следуя за командованием 586-го стрелкового полка, капитан Флёров выбрал место для батарейного НП на одной из возвышенностей на северо-западной окраине деревни Волосково, — писал М.И. Науменко. — К вечеру фашисты обнаглели. Видимо, почувствовав, что боеприпасы у нас на исходе, они вплотную придвинулись к высоте, обстреливая наше расположение из автоматов. В этот момент Флёров принял смелое и, пожалуй, единственно правильное решение — вызвать огонь батареи на себя. Выждав, когда гитлеровцы почти уже добрались до НП, Флёров подал команду на залп. Жалкие остатки гитлеровцев бежали. Большая часть из них осталась лежать на высоте. Вокруг все было изрыто воронками. Тяжелый горький дым навис над нами...

В начале октября батарея Флёрова вместе с другими частями оказалась в окружении в Спас-Деменском котле. Мощным ударом танковых и механизированных дивизий со стороны Рославля и Духовщины немцы прорвали нашу оборону, заняли Спас-Деменск, Юхнов и 6 октября соединились в Вязьме. Таким образом, советские войска в районе Смоленска и Ельни оказались в окружении.

Бойцы капитана Флёрова прошли по вражеским тылам более 150 километров. Уже



В музее имени Флёрова в Балашихе

не ведя огня, они двигались по проселочным дорогам по направлению к Вязьме. Отступая вместе с нашими передовыми частями, батарея израсходовала практически весь боезапас. Вскоре она оказалась одна в тылу врага. Когда подошло к концу горючее, капитан Флёров приказал зарядить установки, а оставшиеся ракеты и большинство транспортных машин взорвать.

Последний бой батарея приняла в районе деревни Богатырь против мотоциклетного батальона 2-й танковой дивизии. В ночь на 7 октября колонна машин батареи попала в засаду недалеко от деревни Богатырь.

— Капитан Флёров вручил мне пакет с донесением и устно поставил задачу: двигаться впереди батареи в направлении на Вязьму и попытаться найти штаб нашего дивизиона; при встрече доложить командиру дивизиона об обстановке и далее действовать по его распоряжению, — вспоминал М.И. Наumenко. — Оказалось, что через несколько часов после моего отъезда батарея попала в немецкую засаду. Видимо, немцы все время тщательно следили за нами, причём как с земли, так и с воздуха. Недаром «рама» постоянно контролировала маршрут нашего движения.

Оказавшись в безвыходном положении, личный состав батареи принял бой. Враг атаковал батарею внезапно, на марше, с разных сторон, обстреливая огнем из танков, орудий и пулеметов.

«7 октября 1941 год. 21 час. Попали в окружение у деревни Богатырь — 50 км от Вязьмы. Будем держаться до конца. Выхода нет. Готовимся к самовзрыву. Прощайте, товарищи», — гласит последняя запись Флёрова.

Будучи тяжело раненым, Иван Андреевич взорвал пусковые установки.

— Руководя боевыми действиями батареи, он героически погиб в бою, — писал М.И. Наumenко. — Многие мои боевые товарищи остались лежать вместе с командиром на поле боя. Но части батарейцев удалось после подрыва материальной части оторваться от противника. Немало трудностей пришлось преодолеть им на пути к своим. Но флеровцы с честью выдержали суровые испытания.

Позже военный инженер Дмитрий Александрович Шитов говорил, что все они безмерно уважали командира. Иван Андреевич своих солдат и офицеров — а это более ста семидесяти человек — знал по имени-отчеству и только так к ним обращался даже в самых критических ситуациях и никогда ни на кого не повышал голос. Флёров был настоящим командиром, его любили.

Только 46 воинам батареи из 170 удалось выйти из окружения. «Мне довелось заново создавать флеровскую батарею, костяком которой были мои боевые товарищи, и командовать ею в течение нескольких месяцев», — пишет М.И. Наumenко.

К концу Великой Отечественной войны гвардейские минометные части и соединения Красной Армии стали грозной ударной силой, оказавшей существенное влияние на ход боевых действий. В общей сложности к маю 1945 года советская реактивная артиллерия насчитывала 40 отдельных дивизионов, 115 полков, 40 отдельных бригад и семь дивизий — всего 519 дивизионов.

А вот капитан Флёров и оставшиеся на месте боя бойцы долгое время считались пропавшими без вести. О судьбе командира первой батареи «Катюш» ничего не было известно. И только тогда, когда удалось обнаружить документы одного из армейских штабов вермахта, где с немецкой скрупулезностью сообщалось о том, что же произошло на самом деле в ночь с 6 на 7 октября 1941 года у смоленской деревушки Богатырь, сомнения развеялись, и капитан Флёров был исключен из списков пропавших без вести.

В 1960 году Иван Андреевич был представлен к присвоению звания Героя Советского Союза (посмертно), но в итоге был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. И только спустя еще тридцать пять лет подвиг комбата, наконец-то, был оценен по достоинству. За мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне указом Президента Рос-

сийской Федерации от 21 июня 1995 года капитану Ивану Андреевичу Флёрову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Капитан Флёров и его погибшие бойцы были похоронены на месте боя местными жителями еще в 1941 году. До середины 1980-х годов за могилой ухаживали. Но со временем место захоронения было забыто. Осенью 1995 года группа вяземских поисковиков обнаружила западнее деревни Богатырь останки семерых погибших артиллеристов вместе с обломками взорванных «Катюш». Среди них были опознаны останки капитана Флёрова. Советские воины были торжественно перезахоронены 6 октября 1995 года рядом с обелиском в деревне Богатырь Смоленской области у большака Вязьма–Юхнов. На гранитном обелиске золотыми буквами высечено: «Доблестным воинам первой в Советской Армии батареи реактивной артиллерии и ее командиру капитану Флёрову Ивану Андреевичу, героически погибшим в боях за Родину в 1941 году».

В 1964 году, в преддверии двадцатилетнего юбилея Победы, Балашихинский горком комсомола передал семиклассникам местной школы № 3 портрет офицера Красной Армии И.А. Флёрова. С тех пор история школы была неразрывно связана с этим именем. Оказалось, что в школе № 3 учится племянник Ивана Андреевича — Сергей Шевелкин, а жена И.А. Флёрова, Валентина Трофимовна, его сын Юрий, внучка Марина жили почти рядом со школой — на улице Коммунальной.

В средней школе №3 также обучалась и внучка Ивана Андреевича — Марина Юрьевна Смирнова. У Ивана Андреевича есть правнучка, которую очень символично назвали Катюшей.

Позднее по ходатайству пионерской дружины школы № 3 улица Коммунальная была переименована в улицу Флёрова, а на доме, где жила семья Героя, была открыта мемориальная доска, которую обновили в 2002 году.

На базе школы с 1966 года действует музей, посвященный Ивану Флёрову. В нем находятся вещи, принадлежавшие Ивану Андреевичу. Среди них есть экспонаты, которые подарила внучка Героя — Марина Юрьевна, в том числе и гитара Флёрова — чтобы люди знали: Иван Андреевич был не только героическим воином, любителем математики, но и тонкой души человеком...

— Мы бесконечно благодарны людям, изменившим сухую строку: «Без вести пропавший», — рассказала внучка Флёрова Марина Юрьевна. — У деда выбора не было, вернее, конечно, был. Но верность долгу и Родине оказалась непоколебимой.

А в 2001 году балашихинской средней школе №3 было присвоено имя И.А. Флёрова. Одним из выдающихся учеников школы №3 имени Флёрова является олимпийский чемпион, хоккеист Юрий Евгеньевич Ляпкин, чье имя носит Ледовый дворец в Балашихе. Также здесь учились его дети. Среди учеников школы имени Флёрова — певица Варвара и знаменитый певец Николай Басков, генеральный директор АК «Рубин» Б.С. Окулов и поэтесса Р.Ф. Здитовецкая.

Появилась в этом учебном заведении и еще одна добрая традиция: 7 октября, в день гибели Флёрова, проводить торжественный митинг у памятника «Катюше», установленного рядом со школой. «Катюшу» после реставрации привезли в Балашиху из далекого Новосибирска.

Приказом министра обороны Российской Федерации № 111 от 5 марта 1998 года Герой Российской Федерации капитан Иван Андреевич Флёров навечно зачислен в списки командного факультета Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) им. Петра Великого, которая теперь находится в Балашихе.

В честь подвига батареи сооружены памятники в Орше и обелиск в городе Рудня. Имя Флёрова носят улицы в Липецке, Грязях, Орше и центральная площадь села Двуречки, где родился и вырос Герой. 9 мая 1975 года здесь был открыт мемориальный музей И.А. Флёрова.

Героя помнят и чтут.

Он руки распахивал косо
И нас поцелуем душил.

А я отбивался: «Раздавишь...» —
А я упирался рукой,
Кричал: «На войну опоздаешь!» —
Как будто на праздник какой.

И сколько таких по России
Нас глупеньких было мальцов,
Какие: «Иди!» — голосили,
Своих провожая отцов.

«Иди!» — и они уходили,
Во всей молодецкой красе.
«Иди!» — и они победили.
Да только вернулись не все.

Отец мой пришел, чтоб со стоном
Себя костылями держать...

А двадцать других миллионов
Остались в могилах лежать.

В ОГНЕ ВОЙНЫ

И город вспыхнул от огня,
Но тут же мужественно глянул
И произнес:
«Не взять меня!»
И двести дней —
сплошная мука.
И двести дней —
одни бои.
Еще и правнукам и внукам
Откроют подвиги твои.

В Чижовку, в СХИ,
в мосты Отрожки
Германская вцепилась рать.
В Москву бы ей!..
«Москву не трожьте!
Мы здесь
привыкли
умирать!»

И полегли. И пали честно.
И где сегодня ни копни —
Правобережье повсеместно
Напомнит тягостные дни.

А мне к «Динамо» очень близко.
Теперь мы связаны мостом
И непомерно длинным списком
На братском кладбище простом.

К нему хожу. Сверяю даты.
И вашим подвигом горжусь.
О как вы молоды, солдаты!
Что даже я в отцы гожусь.

Вы поименно в вечный эпос
Вошли, историю творя,
И доказали то, что крепость
Вот здесь заложена не зря!

Владимир Гордейчев

СОРОК ПЕРВЫЙ

Россия, отходим!
Еще не темно,
еще и снаряды не рвутся.
Нам горькое право сегодня дано
на пройденный путь оглянуться.
Как будто бы матери грустный укор,
на пустошах, горечи полных,
к земле припадает полынный вихор,
качается желтый подсолнух.
Скрывается кровель железо и толь,
столбы убегают рядами, —
и в сердце войдет щемящая боль,
и к горлу подступит рыданье.
Отчизна, ты вся — на года и века
понятна, больна и близка мне
до каждой прожилки степного ростка,
до самого малого камня!
И я ли, идущий, как сок по стеблю,
Отчизна, путями твоими,
тебя, отступая, врагу уступлю
с твоими березами в дыме?
Ты только обиды на нас не таи,
зажми свои тяжкие раны.
Отчизна, ты слышишь?
Вернутся твои
с водою живою Иваны!..

У ПАМЯТНИКА КОЛЬЦОВУ

Здесь шли бои. Осколки цокали.
И отголосками беды
на грань шлифованного цоколя
легли две черных борозды.

Но вечно живо сердце города,
и на строительство вдали
опять глядит светло и молодо
поэт воронежской земли.

К нему до ночи — поздно, рано ли —
течет народная река.
И жилка темная на мраморе
вот-вот забьется у виска.

Виталий Иванов

СОЧИНЕНИЕ

Двенадцать пар запавших глаз
На лицах бледных, невеселых.
Сидел тогда наш третий класс
В подвале, где уютилась школа.

А со двора колючий снег
Летел в щербатые окошки,
И «Хрестоматия» на всех
Одна, к тому же — без обложки.

— Вы сочиненье о войне
Сейчас напишете, ребята, —
И наш учитель на стене
Расправил лист агитплаката.

А что там было сочинять?!
Картина хорошо знакома:
Над трупами седая мать
Склонилась у развалин дома.

А к небу поднимался дым
На фоне зарева кудлато,
И крик безумный: «Не простим!»
Летел из гневных уст солдата.

Погрев ладони возле рта,
Мы дружно принялись за дело,
Вот только Лидка-сирота
В рукав уткнулась неспроста —
И «сочинять» не захотела...

БЛИНЫ

...А в нашей школе госпиталь теперь,
И классы стали называть — «палаты».
Но каждый день
мы снова входим в дверь,
Где нас встречают радостно солдаты.

Большую ласку маленьких сердец
Они приемлют, как письмо из дома.
У каждого из нас есть свой боец,
А мой подшефный — лейтенант Истомов.

Ему отняли ногу доктора,
Но уверяли: «Встанешь непременно...».
Он повторял: «Да, встану!». А вчера
Вдруг началась какая-то гангрена.

Метался... Бредил... Выбился из сил,
Пытаясь оборвать бинтов оковы.
Когда очнулся, я его спросил:
— Водички дать?
А он в ответ:
— Блинков бы...

Но где муки добудешь? Вот дела!
Давно пусты домашние сусеки...
И все же бабушка их напекла,
Сменяв муку на юбку у соседки.

Я с узелком летел, как самолет,
Чтоб не остыл подарок на морозе,
И головою врезался в живот
Сиделки госпитальной — тети Фроси.

Она загородила мне порог
С заплаканными грустными глазами:
— Не надо... Не ходи туда, сынок...
Ну, а блины... поешьте дома сами...

Михаил Каменецкий

ЛАДОНИ

В глухой степи, где эшелон
Застрял на полпути к Балхашу,
Под насыпью осенним днем
Мать в чугушке варила кашу.

Был сорок первый год. Война.
В теплушке побывав соседней,
Мать отдала за горсть пшена
Нехитрый свой наряд последний.

Кипела каша в чугушке
На костерке неугомонном,
Когда протяжный вдалеке
Взмыл чей-то голос: «По ва-го-нам!»

Был резким поезда рывок,
И, заметавшись в криках, в гаме,
Вдруг мама голыми руками
С огня схватила чугунок.

Крик боли раздирал ей рот,
Но с этой ношей раскаленной
За поездом, набравшим ход,
Она бежала вдоль вагонов.

Мне помнить до последних дней
Ладони эти в клочьях кожи
Не Божьей матери, не Божьей —
А смертной матери моей.

* * *

Схоронили мать в рядне без гроба
В сорок третьем каторжном году.
И, стуча зубами от озноба,
Допоздна глядел я в темноту.

А когда луна над крышей нашей,
Как и я, отекая, взошла,
Комендант барака тетя Глаша
Котелок похлебки принесла.

Помолчала рядом, пообвыкнув,
Обняла. Сказала, как могла:
— Ждешь с работы мамку, горемыка?
Померла... Такие, брат, дела...

Я не плакал.
Огненную нитью,
Будто пулей, сердце мне прожгло.
Не поверил мне какой-то критик:
«Не простился? Быть так не могло!

Не могли обычай не исполнить...»
Знать, не ведал он тех черных дней,
Где и загсы не могли запомнить
И учсть обилия смертей.

Брел я, спотыкаясь, по сугробам,
Нес непоправимую беду...
Схоронили мать в рядне без гроба
В сорок третьем каторжном году.

Виктор Костенко

* * *

В канун восьмой мальчишеской весны,
устав от горьких слов —
«пропавший», «павший», —
я верил: все же ты придешь с войны,
солдатскими дорогами пропахший.

Тебя я ждал, и заклинал, и звал,
пути не зная, шел тебе навстречу.
Я под твои ненастья подставлял
мальчишеские худенькие плечи.

Я так хотел хотя бы посмотреть
в твои глаза,
припасть к тебе воочью,
что, обманув небытие и смерть,
во сне являлся ты глубокой ночью.

Под Ленинградом,
там — на той войне,
в огне атаки, грохоте и гуле
не мог ты не подумать обо мне
в последний час —
за миг до встречи с пулей...

Лев Коськов

* * *

Неужто тут ухали пушки
И шли затяжные бои?
А нынче кукуют кукушки,
И сладко поют соловьи.

Цветет луговая гвоздика,
Лепечет в овраге ручей,
Крупна и сладка земляника
По скатам пехотных траншей.

И видно с обрыва крутого,
Что ранее не различил:
Нигде нет на свете такого
Обилия братских могил.

Ревело, горело, стонало —
Природа стоит на своем:
Корявые тонны металла
Надежно гноит чернозем.

Воистину, в битве суровой
Не меч побеждает, а дух...
На солнце пасутся коровы,
В тени отдыхает пастух.

Бегут облака молодые,
Не зная о правде и зле,
И зреют хлеба золотые
На политой кровью земле.

Евгений Новичихин

ЧЕРНЯХОВСКИЙ

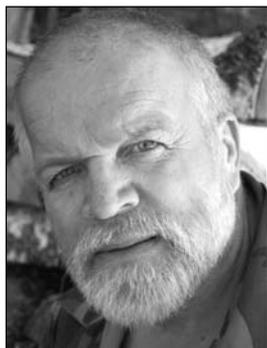
В накрывшем нас трагическом обвале,
В кошмарном и нелепом дележе
Мы так друг друга слышать перестали —
Не только люди беженцами стали —
И памятники беженцы уже.

Да, слава тоже может стать опальной.
И он, с Россией тяготы деля,
В Воронеже, на площади вокзальной, —
Как будто вновь перед дорогой дальней,
Готовый жизнь опять начать с нуля.

Ах, эти бесконечные вокзалы!
Их столько было в жизни фронтовой!
Побед, утрат — ему всего хватало.
Но много ль на счету у генерала
Коротких улиц Мира за спиной?

Не быть в забвенье имени героя,
Того, кто и за смертною чертой
Готов, как прежде, жертвовать собою,
Живя с народом общею судьбою,
С Отечеством — единою бедой.

И дай-то Бог, Россия, чтоб достало
Нам мира, хлеба и душевных слов,
А если надо — то и пьедесталов
Для всех твоих солдат и генералов,
Для всех тебя прославивших сынов!



Сергей Егорович Михеенков родился в деревне Воронцово Куйбышевского района Калужской области. Окончил Калужский государственный педагогический институт, Высшие литературные курсы. Служил в рядах Советской Армии. Публиковался в журналах «Москва», «Наш современник», «Юность», «Сура», «Аргамак». Автор многих книг прозы и исторической документалистики, вышедших в издательствах «Вече», «ЭКСМО», «Молодая гвардия», «Центрполиграф». Биограф маршалов Г.К. Жукова, И.С. Конева, К.К. Рокоссовского, певицы Лидии Руслановой. Живет в Тарусе.

Сергей Михеенков

ГЕРОЙ СОЛОВЬЕВОЙ ПЕРЕПРАВЫ

(Фронтовое начало Героя Советского Союза
Александра Ильича Лизюкова)

*Отрывок из новой книги
о битве за Москву*

Александр Ильич Лизюков, полковник, командир 1-й гвардейской мотострелковой дивизии, затем командир Северной группы войск обороны Москвы... Его судьба сразу после трагической гибели летом 1942 года в танковом бою под Воронежем стала распадаться на отдельные легенды. Легенды эти же покрывались туманом недомолвок и домыслов, так что собрать их воедино и восстановить истинную картину жизни и подвигов героя долгое время представлялось невозможным. Только когда были опубликованы штабные документы, донесения, а также свидетельства очевидцев, туман стал рассеиваться. Появились публикации, в основном под рубрикой «Забытый герой»...

1

Двадцать шестого марта 1900 года, в день Св. Великомученика Александра, в Гомеле в семье учителя Ильи Устиновича Лизюкова родился сын. Нарекли Александром. У будущего танкового командира РККА было два брата: старший — Евгений и младший — Петр. Вскоре после рождения Петра умерла мать. А затем

Илья Устинович получил место директора школы в селе Нисимковичи. Сыновья остались в Гомеле, жили в семье брата отца Афанасия Устиновича и его жены Варвары Терентьевны. Забегая вперед, стоит упомянуть об одном любопытном и, скорее, даже трогательном факте из жизни семейства Лизюковых. В 1938 году, когда дяди Афанасия уже не было на свете, Александр Ильич для вдовствующей тети Варвары в благодарность за материнскую заботу о нем и его братьях построил в Гомеле на улице Рабочей дом. Лизюковы в нем живут до сих пор.

В этом семействе царил культ образования.

Александр окончил шесть классов гимназии и вскоре — шел 1919 год — добровольцем вступил в Красную Армию. Вчерашнего гимназиста тут же направили на учебу в Смоленск на артиллерийские командные курсы. Осенью 1919 года молодой краском получил свое первое назначение — в 58-ю стрелковую дивизию 12-й армии Юго-Западного фронта на должность командира огневого взвода артиллерийской батареи.

Дивизия почти не выходила из боев — то с белой гвардией генерала Деникина, то с гайдамаками Петлюры.

Военная карьера Александра с самого начала заметно пошла в гору. Летом 1920 года Лизюков возглавил маршевую батарею 7-й стрелковой дивизии, а два месяца спустя назначен начальником артиллерии бронепоезда «Коммунар». Не тогда ли он понял, что артиллерия на механической тяге куда мобильней и мощнее, чем на конной. Как бы там ни было, но через год Лизюков уже был курсантом Высшей автобронетанковой школы в Петрограде. После окончания курса обучения в сентябре 1923 года направлен в команду бронепоезда «Имени Троцкого» на должность заместителя командира. Бронепоезд принадлежал 5-й армии и дислоцировался на Дальнем Востоке.

Дальний Восток, так сложилось, стал настоящей школой для командиров Красной Армии. Школа эта была суровой, воспитывала жестоко, но основательно. Дальневосточники вскоре покажут себя в песках Монголии на Халхин-Голе, в карельских снегах во время советско-финляндской войны и на полях Великой Отечественной. Командиры рот и батальонов станут командирами корпусов, командующими армиями, генералами. Комдивы и комкоры — маршалами. Г.К. Жуков, И.И. Федюнинский, И.С. Конев, Н.Э. Берзарин, И.П. Рослый...

Осенью 1924 года Лизюков поступил в Военную академию имени М.В. Фрунзе. Учился с легкостью и азартом. В это время, когда он окончательно определился в выборе своего дальнейшего пути и застегнул себя в армейскую гимнастерку, его окликнуло давнее, еще гимназическое влечение — литературное творчество. Вначале он, человек военный, пытался погасить его писанием военно-технических статей для различных периодических изданий и брошюр, но творец в нем уже проснулся, и пошли стихи. Лизюкова пригласили в редколлегию журнала «Красные зори». С тех пор он начал довольно активно публиковать лучшее из своего литературного творчества. В то время на молодых поэтов оказывали сильное влияние Маяковский, Есенин и Демьян Бедный. Вот образчик творчества краскома Лизюкова:

Нашу родину рабочих
И отечество крестьян
Не задушит, не подточит
Ни буржуй, ни наглый пан!..

Думаю, читатель сам определит, чье здесь влияние сильнее.

В это время Лизюков много читал, конспектировал прочитанное. Много писал сам. Сочинял. Старался не пропускать выступления известных поэтов, чьи имена тогда гремели и собирали большие залы: Маяковского, Есенина. Увлёкся театром. Постановки Шекспира, Мольера, Чехова, Островского... Читал оригиналы

пес. Его восхищали острота диалогов и блеск монологов героев. Прекрасное знание театра, драматургии помогут ему выжить в «Крестах» после ареста и нелепого обвинения в намерении «таранить Мавзолей с членами правительства во время парада».

В 1927 году он окончил академию и был приглашен на преподавательскую работу в Ленинград на бронетанковые курсы, которые когда-то заканчивал. Затем преподавал тактику в Военно-технической академии им. Дзержинского на факультете моторизации и механизации. Два года руководил редакционно-издательской частью в техническом штабе РККА. И только в 1933 году его просьба направить в войска была, наконец, удовлетворена — он получил танковый батальон. Батальон дислоцировался под Наро-Фоминском Московской области и входил в состав бригады им. К.Б. Калининского. Через год на базе батальона сформировали отдельный тяжелый танковый полк.

В 1936 году Лизюкову присвоили звание полковника и назначили командиром 6-й тяжелой танковой бригады им. С.М. Кирова. Бригада базировалась в Слуцке и входила в Ленинградский военный округ. На вооружении бригады стояли танки Т-28 и Т-35.

Генерал-майор танковых войск В.А. Опарин вспоминал о своем сослуживце: «Лизюков отдал много сил формированию бригады и подготовке кадров танкистов. Можно так выразиться: от его глаз и ушей ничто важное не ускользало... Очень серьезно Лизюков занимался вождением. Он смело экспериментировал в этом деле, требовал водить танки на больших скоростях, преодолевать лесные зоны, овраги, гористые участки. И какие замечательные механики-водители были воспитаны в нашей части!»

Бригада стала образцовой. За успехи в боевой подготовке полковник А.И. Лизюков был награжден орденом Ленина. Орден Ленина — в то время высшая награда страны.

Аресты командиров и политработников, прошедшие в округах в 1937 году, «дело Тухачевского», скорый суд над участниками «военно-фашистского заговора» в Красной Армии и расстрелы маршалов и командармов, казалось, не коснулись ни полковника Лизюкова, ни его товарищей. Да и не могли коснуться, ведь он служил родине и партии честно, отдавая всего себя танковому делу, бригаде, войскам.

2

В ноябре того же 1937 года, когда разговоры об июньском расстреле начали утихать, взяли бывшего начальника Автобронетанкового управления РККА, а в то время особоуполномоченного СНК СССР по связи И.А. Халепского.¹ Он не выдержал допросов с пристрастием и подписал все, что ему инкриминировали — участие в «военно-фашистском заговоре», — а по ходу разбирательства оговорил более ста человек из числа своих сослуживцев и подчиненных, в том числе и бывших. В тот черный список, который сотрудники НКВД тут же кинулись разрабатывать, попал и Лизюков.

То ли во время допросов Халепского, то ли уже Лизюкова, арестованного 8 февраля 1938 года, следователи придумали следующий сюжет: Лизюков «собирался совершить террористический акт в отношении наркома Ворошилова и других руководителей ВКП(б) и советского правительства путем наезда танка на Мавзолей во время одного из парадов».

Почти два года длилось следствие. Лизюкова держали в одиночной камере внутренней тюрьмы Управления государственной безопасности НКВД Ленинградской области, которую в народе именовали «Крестами». Это был период ежовского тер-

рора. В «Крестах» в то время камеры были забиты военными. В августе того же 37-го в грузовом автофургоне с надписью «Хлеб» сюда привезли снятого с поезда за несколько остановок до Ленинграда командира 5-го кавалерийского корпуса, дислоцированного в Пскове, комдива К.К. Рокоссовского. А из Дома предварительного заключения НКВД, прозванного «Большим домом», перевели поэта Николая Заболоцкого, автора поэмы «Торжество земледелия». На допросы их вели по одним и тем же коридорам. Возможно, и ребра ломали в одной и той же пыточной камере.

Воспоминания о Лизюкове периода пребывания в «Крестах» оставил генерал-лейтенант, а в то время полковник И.С. Стрельбицкий. Стрельбицкий в октябре 1941 года будет командовать Подольским артиллерийским училищем и выведет своих курсантов и офицеров-преподавателей на Ильинский рубеж Можайской линии обороны, чтобы остановить немецкие колонны, идущие по Варшавскому шоссе к Москве.

Они познакомились в холодном коридоре тюрьмы в ожидании допроса. «Меня поставили к стене лицом, — вспоминал генерал Стрельбицкий, — и велели не разговаривать. Я успел в соседе, стоявшем от меня в двух шагах, узнать одного из офицеров штаба округа, полковника. Вскоре я услышал шепот: «Что на воле, освобождают ли кого? Говорите тихо, не поворачивая головы, выжидайте время, когда надзиратель ходит».

Я не рассчитал голоса и был замечен надзирателем, тот подошел и сильным ударом в затылок наказал меня, предупредив:

— В следующий раз будешь лишен передачи.

Несмотря на боль в голове я улынулся и подумал: какая там передача, когда жена и понятия не имеет, что я переведен в «Кресты».

Прошло два часа, никто меня не вызывает. Сосед (...) командир тяжелой танковой бригады полковник Лизюков прошептал: «Вот чудак, разве ты не понимаешь, что это специальный прием вынудить тебя быть сговорчивым. Ты постой с мое и тогда все понимать будешь».

Тут только я обратил внимание на то, что он был в галошах. Он же мне сообщил, что стоит уже целую неделю, с перерывами по пять часов. Слышал я об этом, но представить себе не мог.²

Лизюков научился в совершенстве владеть своим голосом и говорил даже тогда, когда надзиратель был недалеко:

— Посмотри на мою голову и на руки, потом, потом. Это следовательно меня избивал за издевательства над ним.

— Как так? — удивленно спросил я его.

И он рассказал мне интересную историю: «Привели меня в ДПЗ,³ а там, как в академии, всех просвещают и всему наставляют. Узнал я, что за вредительство может осудить Тройка и Особое Совещание, это исчадие дьявола, а вот за шпионаж обязательно попадешь на суд Верховной военной коллегии Трибунала, и тогда судьям можно объяснить, что никакой ты не шпион. И вот, когда следователь до того доконал меня, что уже никаких сил не было дальше терпеть, я и сказал ему: «Ладно, вижу, что мне все равно крышка, буду сдаваться. Отпустите меня на неделю в камеру, и я надумаю, какую вину на себя и брать: то ли шпионаж, то ли вредительство, то ли антисоветскую агитацию».

Что тут со следователем было! Он чуть не целует меня. Заказал четыре ужина, папирос и говорит: «Я всегда знал, что ты подходящий дядя, и зря ты сомневался. У меня все подследственные брали на себя вину и не морочили головы, все подписывали. Которые соглашались, получили по десятке. Вот тебе честное слово коммуниста! У меня-то всего расстрелянных не больше двадцати, и то сами виноваты. Только ты, голубчик, сам разработай, как полагается. Ты же академии кон-

чал и напиши, чтобы красиво было и начальство было довольно. Вас же там всему обучали».

Следователь на редкость туповатый попался. И вот я разработал, что завербовали меня в шпионскую организацию английские и французские шпионы, а фамилии-то дал им из старинных пьес. Пока дело передавалось в Военную коллегия Верховного суда, прошло больше месяца. Получил я две передачи, разрешили сделать закупку в магазине за мои деньги...

Дальше не дали нам договорить, и окончание я узнал спустя несколько месяцев. Лизюков на суде отказался от своих показаний, объяснив, что его вынудили недозволенными методами признать себя виновным. И тут-то, к ужасу Лизюкова, два члена Военной коллегии прервали его, заявив, что это враждебный прием, и поэтому заявление Лизюкова в расчет не принимать, а ему вынести высшую меру наказания. Лизюков не растерялся и закричал: «Прочтите фамилии! Ведь все, кто меня завербовал, — это же действующие лица из таких-то и таких произведений». Что тут было! Трудно представить. И его [дело] направили на доследование.

Однако дорого это обошлось и Лизюкову, он не досчитался двух ребер, и когда я с ним встретился уже в дни Великой Отечественной войны, то он жаловался на ноги и говорил об этом как о последствиях. Там же он рассказал мне о встрече, при выходе из окружения, со своим бывшим следователем. Тот оказался жалким трусом, изорвавшим свой партийный билет и бежавшим без оглядки на восток».

Что тут скажешь... Следователи НКВД, какими бы они преданными ни были делу партии в мирное время, оказались неспособными к защите Родины. Хотя отряды НКВД и целые части храбро дрались в дни немецкого «Тайфуна» и затем, в период контрнаступления наших фронтов. Но там, в тех отрядах и частях, к счастью, были другие люди — воины, а не тюремщики.

В декабре 1939 года на очередном заседании Трибунал счел обвинения следователей НКВД в отношении А.И. Лизюкова безосновательными и полностью оправдал его.

3

Звание и награды были возвращены. В 1940 году Лизюкова назначили преподавателем Военной академии механизации и моторизации РККА. Но он снова затосковал по работе в войсках и вскоре добился назначения в 36-ю танковую дивизию 17-го механизированного корпуса на должность заместителя командира по строевой части.

Война застала полковника Лизюкова в дороге. Накануне он был срочно вызван в Москву за новым назначением. 21 июня нарком обороны СССР подписал приказ о назначении его на должность начальника 1-го отдела автобронетанкового управления Западного особого военного округа. В штабах не хватало образованных, энергичных и инициативных офицеров, способных мыслить и работать на перспективу. И особенно это касалось танковых и механизированных войск. По инициативе нового начальника Генерального штаба Г.К. Жукова полным ходом шло формирование мехкорпусов. Только что отгремела Зимняя война с Финляндией. В результате походов Красной Армии в Западную Белоруссию и Северную Буковину границы СССР отодвинулись на запад. Именно там расквартировывались дивизии и полки новых корпусов.

Вокзалы и эшелоны, в особенности те, которые шли на запад, в те дни были переполнены: офицеры-отпускники срочно отзывались и направлялись в свои части.

Из воспоминаний вдовы Лизюкова Анастасии Кузьминичны: «Приехав в Москву, он в этот же день возвращается обратно в свою часть, но до нее не доезжает,

ибо там уже были немцы. Тут же, по дороге, он собрал народ, ехавший кто в отпуск, кто из отпуска. Это хорошо описывает Константин Симонов в своей статье «Июнь, декабрь», как Лизюков организовал отряд, из кого, откуда он взялся и как стал командиром, появилось оружие и как будто под его командованием находится регулярная армия, которой он командует, по крайней мере, не менее трех лет, а не разношерстная публика, а ведь здесь были шоферы, юристы, инженеры и т.п. и получилась — кадровая армия».

С отцом на войну увязался шестнадцатилетний сын Юрий.

Из воспоминаний Юрия Александровича Лизюкова: «Все военные должны были вернуться в свои части. Стали решать семейным советом, что делать дальше с нами, и решили, что я и мать поедem в Ленинград, к бабушке. Но я категорически отказался от этой мысли и просил отца взять меня с собой на фронт — так, как он делал всегда: брал меня на все учения и маневры. В семье наступила пауза, и здесь вмешалась моя мать. Она сказала отцу: «Попробуй поговорить в Наркомате Обороны, чтобы его все-таки разрешили взять с тобой, а то уже в Финскую убежал, так и здесь наверняка сбежит!» И отцу разрешили взять меня с собой».

Юрий Лизюков впоследствии окончит Саратовское танковое училище и уже летом 1942 года лейтенантом продолжит службу в 5-й танковой армии.

До Барановичей, в окрестностях которого базировался 17-й мехкорпус, эшелон не доехал. Под Борисовом налетели немецкие самолеты и в щепки разбомбили состав. Среди уцелевших во время налета бойцов и командиров началась паника: кто-то пустил слух о немецком десанте, высадившемся на Березине и захватившем мосты и переправы.

Именно такие минуты определяют, кто есть кто, и решают, кому жить воином, а кому — трусом, спасающим свою шкуру. Лизюков приказал прекратить панику, собрал вокруг себя надежных офицеров и быстро сформировал отряд, разбил его по взводам, ротам, батальонам. Утром следующего дня новое формирование полковника Лизюкова уже именовалось стрелковым полком. Полк имел четкую иерархию и был полностью вооружен. Полный штат, в том числе и материальную часть, имели даже артиллерийские батареи.

Июнь, первые дни и недели немецкого вторжения в историю Великой Отечественной войны вошли как период разгрома, тотального отступления, колоссальных людских потерь и тяжелого вооружения в наших войсках. Но это не совсем так. И не везде. На некоторых участках, намертво врывшись в землю, стойко держали оборону дивизии, полки и отдельные батальоны. Их командиры знали свой долг и умели делать то, что должно.

Полк Лизюкова каждый день и каждый час пополнялся. Часть превращалась в соединение. К лизюковцам, державшим дисциплину и порядок, присоединялись одиночки, мелкие группы бойцов разных родов войск и целые взводы и роты. Бойцы потеряли свои части и бродили по лесам в поисках спасения.

Вскоре наладили связь с гарнизоном города Борисова. Лизюков просил, требовал поставить его соединению боевую задачу. Но кругом царил неразбериха. Чтобы отдать приказ действовать, надо знать обстановку, владеть ею. И Лизюков начал действовать, как говорится, на свой страх и риск. «Под Борисовом, в тяжелой обстановке растерянности и неразберихи, я запомнил на всю жизнь полковника Лизюкова, — писал Константин Симонов, в то время военкор «Красной Звезды». — Он с тех пор мысленно стал для меня одним из образцов не только военного, но и, шире говоря, гражданского мужества». И далее: «На следующий день я расстался с полковником и больше его не видел. В ноябре на Карельском фронте, на Рыбачьем полуострове, к нам с большим опозданием попали, наконец, центральные газеты. Не помню, в какой из них на первой странице был напечатан снимок с надписью: «Командир 1-й Московской мотострелковой дивизии Герой Со-

ветского Союза полковник Лизюков принимает гвардейское знамя...» Я узнал его. Да, конечно, именно он был там, в лесу под Борисовом, в июне. И я вспомнил забытую фамилию. Полковник Лизюков. Мне хотелось почему-то увидеть на снимке рядом с ним его сына, так же рядом, как они были тогда, в июне...»

В романе «Живые и мертвые» Константин Симонов напишет: «...Лысый танкист с орденом Ленина, ехавший из Москвы в одном вагоне с Синцовым и по праву самого энергичного из оказавшихся здесь людей распоряжавшийся другими...»

Начальником гарнизона города Борисова был корпусной комиссар И.З. Сусайков.⁴ Он же — начальник танкового училища. Когда к городу и переправам через Березину подошли передовые подразделения немцев, под его рукой было 1400 человек из числа курсантов, преподавателей и бойцов гарнизона. Удержать город и переправы через Березину этими силами представлялось попросту невозможным.

И вот в последних числах июня в Борисов вошла дивизия Лизюкова. Согласно Строевой записке, составленной 29 июня 1941 года, на 18.00 численность гарнизона Борисова составляла уже 7681 человек.

Сусайков и Лизюков были знакомы по довоенной службе. Оба танкисты. Правда, именно 37-й год их судьбы и разделял. Лизюков был арестован и находился под следствием. А Сусайков, как сказано в официальной биографии, «в период репрессий как политработник принимал участие в написании политических характеристик с «компроматом» на командиров РККА». Впрочем, такая участь политработнику в войсках могла достаться по разнарядке, по должности.

Об обороне Борисова расскажем особо. Бои конца июня, начала июля 1941 года на Березине в районе Борисова в определенной степени повлияли на ход боевых действий на центральном направлении, и особенно на фронтовую судьбу Лизюкова.

4

Если смотреть глубже и неформально, то станет очевидным, что битва за Москву во всей ее предыстории и истоках, началась уже тогда, на белорусской земле. Под Могилевом и Витебском, в районе Барановичей и Борисова.

Только 26 июня была восстановлена связь Борисовского гарнизона со штабом Западного фронта. Информационная блокада была прорвана. Корпусной комиссар Сусайков приказом командования назначен начальником гарнизона и ответственным за оборону города и боевого участка, а начальником штаба стал полковник Лизюков. В директиве штаба фронта говорилось: «Вы ответственны за удержание БОРИСОВА и переправ и, как крайний случай, при подходе к переправам противника переправы взорвать, продолжая упорную оборону противоположного берега. На переправу от ЗЕМБИН к свх. ВЕСЕЛОВО выслать мотоотряд с подрывным имуществом с задачей: подготовить переправу к взрыву, упорно оборонять и при подходе противника капитально взорвать. Вам также поручается выполнение того же с переправой у ЧЕРНЯВКА (юго-восточнее БОРИСОВ)».

На Борисов наступала 18-я танковая дивизия 2-й танковой группы. Дивизией командовал генерал-майор танковых войск Неринг, один из лучших танковых командиров вермахта.⁵

Началась подготовка к обороне. Надо признать, что Сусайков не сразу оценил профессиональные и волевые качества своего начштаба, а также его воинство, сколоченное буквально из ничего, из бегущих и деморализованных, поддавшихся панике и бросивших оружие отступавших военных. С определенной степенью недоверия к своему первому помощнику написано донесение Сусайкова в штаб фронта, датированное 28 июня: «Гарнизон, которым я располагаю для обороны рубежа р. Березины и Борисова, имеет сколоченную боевую единицу только в со-

ставе бронетанкового училища (до 1400 человек). Остальной состав — бойцы и командиры — сбор «сброта» из паникеров тыла, деморализованных отмеченной выше обстановкой, следующие на поиски своих частей командиров из тыла (командировки, отпуск, лечение) со значительным процентом приставших к ним агентов германской разведки и контрразведки (шпионов, диверсантов и пр.). Все это делает гарнизон Борисова небоеспособным».

Конечно, Сусайков сгущал краски. Что нетрудно понять. Защитники Борисова чувствовали себя брошенными. Город и переправы через Березину вот-вот должна была атаковать 18-я танковая дивизия противника. Численно она в три раза превышала курсантов Сусайкова и «сброд» Лизюкова вместе взятых. Имела более двухсот боеспособных легких и средних танков, самоходные штурмовые орудия, полевую и противотанковую артиллерию, минометы. Марш дивизии Неринга плотно поддерживала авиация. Сусайков своим донесением выпрашивал у штаба Западного фронта поддержку. И она вскоре прибыла на Борисовский рубеж.

Командование, понимая важность переправ через Березину, по которым в те дни нескончаемым потоком шли отступающие части Красной Армии, растерзанные под Белостоком и Минском, в срочном порядке перебросило сюда 1-ю Московскую мотострелковую дивизию под командованием полковника Я.Г. Крейзера. Однако первые же столкновения с противником показали, кто есть кто. Мотострелки, занимая позиции во втором эшелоне за окопами курсантов и батальонами, сформированными Лизюковым, не выполняли приказов штаба Борисовского гарнизона и порою попросту уклонялись от боя.

Бои в зоне ответственности Борисовского гарнизона начались 30 июня и продолжались до 3 июля.

Штаб во главе с полковником Лизюковым разбил рубеж на несколько участков, назначил командиров. Жители Борисова и окрестных деревень были привлечены к строительству обороны. Отрыли противотанковый ров и траншеи. Курсанты и «сброд» тут же заняли окопы и начали совершенствовать линию обороны.

Из воспоминаний Константина Симонова: «Мне указали как на старшего на корпусного комиссара Сусайкова. Он стоял на лесной дороге, молодой небритый человек в надвинутой на глаза пилотке, в красноармейской шинели, накинута на плечи, и почему-то с лопатой в руках».

Для «Живых и мертвых» Симонову своих героев придумывать было незачем. И характеры, и сюжет писателю дарила война.

Во время борисовской обороны отличились многие бойцы и командиры. Корпусной комиссар Сусайков подготовил несколько десятков представлений к наградам. Но пачка этих наградных листов так и не превратилась в боевое серебро орденов и медалей, затерявшись среди не востребованных бумаг штаба Западного фронта. Среди прочих есть и наградной лист на полковника А.И. Лизюкова: «С 26 июня по 8 июля 1941 года работал начальником штаба группы войск по обороне города Борисова. Несмотря на то, что штаб пришлось формировать из командиров, отставших от своих частей в момент беспорядочного отхода подразделений от г. Минск, тов. Лизюков проявил максимум энергии, настойчивости и инициативы.

Буквально под непрерывной бомбежкой со стороны противника, не имея средств управления, т. Лизюков своей настойчивой работой обеспечил управление частями. Лично проявил мужество и храбрость.

2 июля под сильным нажимом противника совершил отход 175 МП.⁶ На место мною был выслан т. Лизюков, который с группой курсантов сумел восстановить положение и привести в порядок дрогнувшие подразделения. Пренебрегая опасностью⁷ тов. Лизюков появлялся среди бойцов и командиров на важнейших участках и восстанавливал необходимый порядок.

За проявленную храбрость, мужество и стойкость при обороне г. Борисова, в следующем по обороне рубежей г. Орша достоин представления к правительственной награде — орденом «Красное Знамя».

Подпись Сусайкова скреплена гербовой печатью танкового училища.

В первые дни и недели войны Лизюкову пришлось воевать на родине. От Борисова до Гомеля рукой подать. И сложились дальнейшие обстоятельства как-то иначе, пришлось бы отступить через родной город. Но дорога, как вскоре выяснилось, пролегла севернее, к Орше.

Курсантами Борисовского танкового училища были в основном курсанты Подольского стрелково-пулеметного училища, переведенные сюда перед самой войной. А потому действиями в составе взвода, роты, батальона они владели куда лучше, чем навыками танкового боя. Был момент, когда немецкие автоматчики просочились к мосту через Березину. Лизюков поднял курсантов в штыковую атаку, и мощной контратакой немцы были отбиты. Когда бой затих, к переправе подошла колонна — это были наши войска, вырвавшиеся из окружения. Командование не отдавало приказа на взрыв мостов именно поэтому: со стороны Минска на Борисов продолжали двигаться колонны остатков разбитых частей. Один из выживших в тех боях на Березине на всю жизнь запомнил слова полковника Лизюкова, которые тот произнес перед бойцами и курсантами на переправе после боя с немецкими автоматчиками: «Мост — это жизнь тысяч людей, которые выходят из окружения. Наши войска, когда выйдут на тот берег, сразу повернут оружие против фашистов и преградят им дорогу на Смоленск...»

В первые дни боев оборона на Березине в районе Борисова держалась прочно. Все попытки противника прорваться к переправам пресекались артиллерийским и стрелковым огнем, а также контратаками танков 1-й Московской мотострелковой дивизии. Но не хватало противотанковых пушек и зениток. Немецкая авиация постоянно висела в воздухе над окопами защитников Борисова и предмостными укреплениями. Отогнать самолеты было нечем. Под прикрытием пикирующих бомбардировщиков 3 июля танки Неринга прорвались к основному мосту у Зембина, в короткой схватке перебили саперов, которые отвечали за взрыв моста, овладели переправой и захватили плацдарм на восточном берегу.

В боях за Борисов были тяжело ранены полковник Я.Г. Крейзер и корпусной комиссар И.З. Сусайков.

Курсанты танкового училища были отведены с линии обороны и впоследствии эвакуированы в Саратов. Они стали первым составом 3-го Саратовского танкового училища. В Саратов после боев на Соловьевой переправе Лизюков отправит и сына Юрия, который был зачислен в училище еще в Борисове и дрался в рядах курсантов все эти дни с оружием в руках.

5

И снова отступление.

В июле рухнула оборона в районе Витебска и Смоленска. Немцы пытались охватить смоленскую группировку наших войск и создать новый «котел», подобный минскому. На карту ставилась судьба не только Москвы. У немцев снова появился шанс реализовать блицкриг стремительным прорывом к столице Советского Союза.

В середине июля 1941 года 7-я танковая дивизия генерала танковых войск фон Функа захватила Ярцево.

Беглого взгляда на карту было достаточно, чтобы понять замысел противника и незавидное положение наших армий, оставшихся западнее и юго-западнее района Смоленска и в самом городе. Ярцево — коммуникационный узел: автострады

Минск-Москва и железной дороги Смоленск-Москва. От Ярцева веером расходятся большаки и дороги местного значения — на Белый, на Духовщину, на Дорогобуж к Соловьевой переправе. Захватом Ярцева немцы решали сразу несколько задач: отсекали отход для 19, 16 и 20-й армий и таким образом замыкали очередной «котел», обеспечивая себе марш на Вязьму и далее к Москве по Минскому шоссе.

Штабом Западного фронта к Ярцеву и днепровским переправам была в срочном порядке выдвинута армейская группа генерала К.К. Рокоссовского. Левый фланг надежно закрыл 44-й корпус комдива В.А. Юшкевича. На переправах через Днепр в районе деревень Соловьево и Ратчино положение контролировал сводный отряд полковника Лизюкова.

С середины июля Соловьева переправа оставалась единственной коммуникацией, по которой велось материально-техническое обеспечение войск, все еще продолжавших удерживать оборону в районе Смоленска. Через этот коридор в тыл шли санитарные обозы с ранеными.

И вот над этой артерией, питавшей три армии, нависла угроза.

Сводным отрядом, который обеспечивал безопасность Соловьевой переправы, командовал полковник Лизюков. Он же был и комендантом переправы.

Снова ему поручили удерживать переправы и обеспечивать движение войск через водную преграду. Месяц назад это было на Березине. Теперь — на Днепре, в его верхнем течении. Войско у Лизюкова на этот раз было невеликое: до полка мотопехоты и пятнадцать танков из остатков 5-го мехкорпуса. Часть танков была неисправна. Боевые машины окопали и использовали как неподвижные огневые точки. Переправа находилась в зоне ответственности армейской группы генерала Рокоссовского.

Немцы изо всех сил старались завладеть понтонами и перерезать сообщение. Но запечатать смоленский «котел» им так и не удалось.

27 июля немцам удалось прорваться к Соловьевой переправе и захватить ее. Лизюков срочно запросил подкрепления у Рокоссовского, и тот выслал отряд, который мощной атакой восстановил положение.

В эти дни огневую мощь отряда полковника Лизюкова значительно усилила подошедшая к переправе экспериментальная батарея «катюш» под командованием капитана И.А. Флёрва.

В начале августа 16-я и 20-я армии получили приказ командования прекратить оборону Смоленска и выходить на восточный берег Днепра. Начался выход войск смоленской группировки из «мешка».

Немецкие самолеты постоянно висели над переправой. Зенитное прикрытие было слабым. Тем не менее, зенитчики Лизюкова делали свое дело. Основной поток войск, отходящих на левый берег, подошел к Соловьевой переправе 3 августа. Немцы тоже придвинулись вплотную. Обстреливали понтоны из орудий, поставленных на прямую наводку. В полдень того же 3 августа в результате массированных налетов авиации и постоянного артиллерийского огня настали мостов, навешенных накануне для увеличения пропускной способности переправы, были уничтожены. Однако к утру следующего дня колонны наших войск снова пошли по восстановленным мостам.

16-я и 20-я армии переправились на восточный берег Днепра и заняли оборону. Здесь они будут держаться до октября, до начала операции «Тайфун».

Начальник штаба 4-й полевой армии ГА «Центр» генерал Блюментритт спустя годы в своих мемуарах напишет: «...Самым значительным (...) было сражение в районе Смоленска, где была окружена большая группировка русских. Две полевые армии (...) удерживали три стороны котла, в то время как наши танки блокировали выход из него близ Ярцева. И снова эта операция не увенчалась успехом. Ночью русские войска вырвались из кольца окружения и ушли на восток...»

А вот что писал о Лизюкове маршал К.К. Рокоссовский: «Полковник Александр Ильич Лизюков был прекрасным командиром. Он чувствовал себя уверенно в любой, самой сложной обстановке, среди всех неожиданностей, которые то и дело возникали на том ответственном участке, где пришлось действовать его отряду. Смелость Александра Ильича была безгранична, умение маневрировать малыми силами — на высоте. Был момент, когда немцы перехватили горловину мешка в районе переправ через Днепр. Но это продолжалось всего несколько часов. Подразделения Лизюкова отбросили и уничтожили весь вражеский отряд».

Еще 12 июля, когда полукоруженные смоленские армии сражались на своих позициях, по команде ушло представление на коменданта Соловьевой переправы к награждению орденом Красного Знамени. За Березину «Красное Знамя» Лизюков так и не получил. Командование и на этот раз решило иначе: 5 августа, когда пришло известие, что войска вышли на левый берег и занимают оборону на новом рубеже, вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР: «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом отвагу и героизм полковнику Лизюкову Александру Ильичу присвоить звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Курсант Борисовского танкового училища Юрий Александрович Лизюков был награжден медалью «За отвагу».

6

После Соловьевой переправы пути отца и сына Лизюковых разошлись: Юрий убыл в Саратов для прохождения ускоренного курса обучения в танковом училище, а Александр Ильич получил новое назначение — принял командование 1-й танковой дивизией.

Танки и мотопехота Лизюкова держали оборону на восточном берегу реки Воль, северо-восточнее Ярцева, действуя в полосе обороны 16-й армии генерала Рокоссовского. Изучив оборону своего участка, Лизюков принял решение ликвидировать небольшой плацдарм, захваченный противником во время летнего наступления. Командование утвердило план операции. Атака 1-й танковой дивизии стала частью фронтовой операции — войска Западного фронта под командованием Г.К. Жукова в это время проводили Ельнинскую наступательную операцию. В начале сентября 1941 года танки и мотопехота 1-й танковой дивизии поднялись в атаку. Мощным концентрированным ударом плацдарм противника был ликвидирован. Развивая наступление, ударная группа форсировала Воль и захватила плацдарм на западном берегу. Противник контратаковал, но лизюковцы энергично закрепились на выгодных позициях, подтянули артиллерию, окопали танки и удерживали плацдарм весь сентябрь. Немцы, опасаясь дальнейшего развития наступления наших войск, вынуждены были перебросить сюда резервы и держать их в постоянной боевой готовности.

За этот маневр, увенчавшийся успехом, дивизия была преобразована в 1-ю гвардейскую мотострелковую и награждена орденом Красного Знамени.

Вскоре дивизию перебросили в район Можайска, а затем на Юго-Западный фронт и передали 40-й армии.

Соседом дивизии Лизюкова оказалась конно-механизированная группа генерала П.А. Белова.

Здесь произошел бой, который попал в документы и мемуары участников обеих сторон. Генерал Гудериан вспоминал, что его передовые части, а именно 25-я моторизованная дивизия, не выдержав атаки русских, вынуждены были оставить Штеповку, и что противник удерживал ее не менее недели. Писатель П.П. Вершигора, служивший фотокорреспондентом в газете 40-й армии, тоже

вспоминал: «В районе восточнее Сум, впервые за эту войну, я увидел, как убегают немцы».

После боев в районе Штеповки дивизия полковника Лизюкова дралась под Сурами, а затем, после сдачи Сум, была отведена во фронтовой резерв и передислоцирована под Москву.

7

Наступил октябрь 1941 года. Германская ГА «Центр» проводила операцию «Тайфун» — последний, решающий бросок на Москву.

Первая гвардейская мотострелковая дивизия направлена в район Наро-Фоминска в состав 33-й армии.

21 октября 1941 года эшелоны дивизии начали прибывать на станцию Апрелевка. После разгрузки подразделения тут же занимали оборону по обводу западных окраин Наро-Фоминска.

Генерал М.Г. Ефремов отдал приказ: после сосредоточения, 22 октября, атаковать на запад с целью овладения новым рубежом в трех-четыре километрах западнее. Противник тем временем начал свою атаку. Произошел встречный бой. Немцам удалось прорваться на стыке соседних 222-й и 110-й стрелковых дивизий и выйти к реке Наре. Несколько дней длилось противостояние. Город, кварталы, улицы, дома переходили из рук в руки. Потери дивизии были огромны: только за трое суток с 21 по 23 октября 1-я гвардейская мсд потеряла 1521 человека убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

В ночь на 24 октября в штаб 33-й армии из штаба Западного фронта поступила телефонограмма:

*«КОМАНДАРМУ 33 ЕФРЕМОВУ
ДЛЯ НЕМЕДЛЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ
КОМДИВУ 1 МСД ЛИЗЮКОВУ, КОМИССАРУ 1 МСД МЕШКОВУ*

Тов. СТАЛИН лично приказал передать тов. ЛИЗЮКОВУ и тов. МЕШКОВУ, что он считает делом чести 1-й МСД очистить к утру 24.10 НАРО-ФОМИНСК от противника. Об исполнении этого приказа тов. ЛИЗЮКОВУ и тов. МЕШКОВУ доложить 24.10 лично тов. СТАЛИНУ.

ЖУКОВ, БУЛГАНИН».

Говорят, когда генерал Ефремов зачитывал командирам, которым предстояло вести в бой свои части и соединения, текст этой телеграммы, в штабе стояла мертвая тишина. Всем было понятно, что означает этот приказ. Либо выполнить, «очистить к утру Наро-Фоминск от противника», либо погибнуть в бою.

Подготовка к атаке была короткой. В 6.00 началась артподготовка. Два залпа сделал дивизион гвардейских минометов. Еще не осела снежная пыль, густо перемешанная с кирпичной крошкой, вперед пошли два гвардейских полка — 175-й и 6-й. Их атаку поддерживали танки 5-й танковой бригады.

Немцы, засевшие в жилых кварталах и промзонах, открыли ураганный огонь. В захваченном городе они успели укрепиться. На танкоопасных участках сосредоточили противотанковую артиллерию, заминировали дороги и проходы.

Бой шел весь день. Потери с обеих сторон были огромными. Атаки гвардейцев, которые следовали одна за другой, ощутимых результатов не давали. Только четвертая рота 175-го мотострелкового полка под командованием старшего лейтенанта Кудрявцева ворвалась на территорию ткацко-прядельной фабрики и удерживала один из фабричных корпусов.

Конечно же, и Лизюков, и командарм Ефремов, и офицеры штаба, и в полках понимали, что отбить город такими силами, которыми располагали 1-я гвардей-

ская мсд и 5-я танковая бригада, не удастся. Каждая новая атака множила потери. К достижению цели — «очистить к утру...» — усилия полков и танкистов прирести попросту не могли. К тому же противник начал активно маневрировать резервами — подбрасывал артиллерию и пехоту с неатакованных участков. Просматривая донесения, Лизюков заметил, как стремительно растет в потерях число пропавших без вести. Девяносто процентов из них — пленные.

Вечером из штаба Западного фронта пришла телефонограмма:

«Т. ЕФРЕМОВУ.

Т. ЛИЗЮКОВ и т. МЕШКОВ до сих пор не донесли ничего об исполнении приказа т. СТАЛИНА. Немедленно пошлите донесение, копию представьте нам. ЖУКОВ, БУЛГАНИН».

Кроме потерь и неудач, докладывать было нечего. За день непрекращающихся боев дивизия потеряла 761 человека убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

Телефонограмму в Ставку отправляли из штаба армии, но за подписью Лизюкова и Мешкова. Как и было приказано.

«МОСКВА. ТОВ. СТАЛИНУ

К 20.00 овладел северной, западной, северо-западной, центральной и юго-восточной частью города НАРО-ФОМИНСК. Упорные бои продолжаются. Подробности дадим шифром.

ЛИЗЮКОВ, МЕШКОВ.

24.10.41.

21.40».

К исходу 25 октября Лизюков отдал приказ оставить город. Лишь в излучине Нары дивизия оставила небольшой плацдарм, который удерживался усиленной ротой одного из стрелковых полков.

В эти дни маятник противостояния на ближних подступах к Москве швыряло то в одну сторону, то в другую. Одни расходовали последние силы и ресурсы на то, чтобы продолжить наступление, другие — чтобы удержаться.

Первая гвардейская мсд сдавала Наро-Фоминск, она же его и возьмет. Только чуть позже. И с другим командиром.

8

В последних числах ноября немцы сделали последний рывок на Москву. Они атаковали почти на всех направлениях и участках. Тогда казалось, что, дрогнув взвод, противник тут же нажмет и сомнет роту, батальон, и в образовавшуюся брешь, стремительно расширяя ее, хлынут полки и дивизии...

Особенно жарко было на правом фланге Западного фронта. Туда и был направлен полковник Лизюков.

Из воспоминаний генерала К.Ф. Телегина: «Ночью 27 ноября Ставка приказала Военному совету Московской зоны обороны срочно создать Северную оперативную группу под командованием полковника А.И. Лизюкова в составе 28-й и 43-й стрелковых бригад, усилив ее двумя дивизионами гвардейских минометов и ротой танков КВ с задачей прикрывать Москву со стороны Рогачевского и Ленинградского шоссе на рубеже Хлебниково-Черкизово...»

Вначале это было похоже на лихорадочное латание дыр. Но потом позиции стали наполняться новыми стрелковыми бригадами и дивизиями, прибывающими с востока. Свежие соединения тут же заполняли окопы и траншеи и вступали в бой. Московская оборона становилась для немцев неприступной.

В одном из интервью маршал Г.К. Жуков отметил совершенно конкретно: «В двадцати двух километрах от Москвы находится населенный пункт Красная Поляна. Вот тут-то и образовалась в нашем фронте дыра. Ее-то и закрывали бригады генерала Лизюкова, выдвинутые из Московской зоны обороны».

Уже к концу ноября Северная оперативная группа пополнилась еще пятью стрелковыми бригадами и частями усиления. На основании директивы Ставки № ОП/3016 от 29 ноября 1941 года на базе Северной оперативной группы была развернута 20-я армия. Это было второе формирование армии, сгоревшей на смоленской земле. Теперь она постоянно пополнялась резервами. В начале декабря в 20-ю влилась 331-я и 352-я стрелковые дивизии. Это были дивизии нового формирования, полнокровные, вооруженные и оснащенные по полному штату.

Соединение готовили к наступлению. Армией командовал генерал А.А. Власов. Штабом руководил Л.М. Сандалов.

Командарм все эти дни сидел в штабе, находившемся в Химках. То ли болел, то ли работал с бумагами. Сандалов сколачивал штаб. А войсками тем временем руководил заместитель командующего А.И. Лизюков.

Правый фланг Западного фронта, справа налево от стыка с Калининским фронтом: 30-я армия, 1-я ударная армия, 20-я армия, 16-я армия. Дальше уже пошла зона ответственности армий центра Западного фронта — 5-й, 33-й, 43-й и так далее.

Двадцатая армия была самой малочисленной — списочный состав 38 148 человек. Для сравнения — 16-я армия Рокоссовского насчитывала 96 897 человек.

В первых числах декабря дивизии и бригады 20-й армии сосредоточились к северо-западу от Москвы по линии Лобня, Сходня, Химки, заняв участок фронта между более сильными 1-й ударной и 16-й армиями. Приказ на наступление был таким: «20-я армия силами 331 сд и 28 сбр наступает в общем направлении на Красная Поляна, Мышецкое, Покров и уничтожает пр-ка в р-не Красная Поляна, Владычино, Холмы».

В последнее время не утихают споры историков и публицистов на тему, а кто же в действительности командовал 20-й армией в период контрнаступления? Власов? Сандалов? Лизюков?

Первые приказы по армии подписаны Лизюковым. Потом — Власовым. Но между отдачей приказа и фактическим управлением войсками может существовать некий зазор. В него порой вмещались целые судьбы. На фронте роль заместителя командарма самая неблагоприятная. Хочешь спрятать энергичного и инициативного с глаз долой, так, чтобы он ни при каких обстоятельствах не вынырнул на глаза командованию и вечно тлел под рукой своего непосредственного начальника — назначь заместителем командующего армией к такому же волевому да еще и тщеславному.

Скорее всего, как утверждает биограф Лизюкова И.Н. Афанасьев, Александр Ильич в отсутствие вновь назначенного командарма (генерала А.А. Власова) продолжал выполнять обязанности командующего. И.Н. Афанасьев в подтверждение своей версии приводит такой факт. 28 ноября 1941 года в Штабе обороны города Москвы полковник Лизюков получает удостоверение «в том, что он действительно по 31 декабря 1941 года является командиром Северной группы войск обороны г. Москвы». А буквально на следующий день, 29 ноября, Ставка издает директиву № 498 о преобразовании «опергруппы Лизюкова в 20-ю армию».

В августе 1966 года редакция «Военно-исторического журнала» организовала «круглый стол». Маршал Г.К. Жуков отвечал на вопросы журналистов по теме битвы за Москву. Из стенограммы: «...первая постановка задачи 30 ноября предусматривала очень короткие задачи контрударного порядка. Задачи войскам по глубине не превышали 20–30 километров. (...) У нас нет такого приказа, где зара-

нее, допустим, 30 ноября, 1–2 декабря отдали бы директиву, которая свидетельствовала, что это приказ на контрнаступление. Такая задача не стояла, потому что у нас ни сил не было, ни средств. (...) Такого в классическом понимании начала контрнаступления, как это было, допустим, под Сталинградом, не было. Оно пошло как развитие контрударов. (...) Оно было ходом событий организовано. (...) Почему была введена в дело 20-я армия? Красная Поляна — это 22 километра от Москвы. У нас на этом участке получилась «дырка». И только группа Лизюкова была поспешно выведена, заткнули эту «дырку». Туда же по приказу Сталина выехал Булганин с задачей отобрать обратно у противника Красную Поляну. Речь шла только о Красной Поляне, но не дальше. (...) Контрудары 1-й Ударной армии и группы Лизюкова начали отбрасывать противника, в порядке логического продолжения все это нарастало и, в конце концов, к 8 декабря вылилось в более широкое контрнаступление».

Немцы заняли Красную Поляну 30 ноября 1941 года. 2-я танковая дивизия 3-й танковой группы, наступая от Солнечногорска по линии шоссе, ворвались в Красную Поляну и закрепились в этом крупном населенном пункте в 17 километрах от Москвы. Это был удобный плацдарм для дальнейшего наступления. Трофейные документы V-го армейского корпуса свидетельствуют о том, что на начало декабря немцы планировали продвинуться до канала Москва-Волга и захватить переправы.

В результате произошло фактически встречное сражение. В него были втянуты с обеих сторон танки, артиллерия и авиация. К примеру, наступление 331-й стрелковой дивизии и 64-й отдельной стрелковой бригады, которые в эти дни атаковали Красную Поляну и опорные пункты, сооруженные немцами в окрестных деревнях, активно поддерживала с воздуха 43-я авиадивизия ВВС Западного фронта. Не жалели снарядов и артиллеристы. В дело были пущены все калибры, в том числе 152-мм орудия тяжелого артполка РГК. Накопленные силы пора была применить.

Полковник Лизюков шел в атаку с 1106-м полком 331-й стрелковой дивизии в пешем строю.

Немцы тоже нажимали, старались остановить наступление, жестко контратаковали. И той, и другой стороне казалось, что инициативой овладевают именно они.

В один из этих дней состоялся разговор фельдмаршала фон Бока и начальника штаба сухопутных сил Германии генерала Гальдера. После тщательного изучения донесений, поступающих с фронта, они пришли к выводу, что «если происходящее сейчас наступление на Москву с севера не будет иметь успеха, то Москва станет новым Верденом, то есть сражение превратится в ожесточенную фронтальную бойню».

В январе 1942 года Лизюкова представили к ордену Ленина. Потребовалась аттестация командующего армией. А.А. Власов тут же ее представил: «Тов. Лизюков с 30.XI.41 г. по 1.I.42 г. все время руководил боевой деятельностью войск 20 Армии. 1. и 3.12.41 г. т. Лизюков лично водил 1106 полк 331 сд в атаку и по заданию т. Булганина по его личному героизму овладели д. Горки. Солнечногорск захвачен под руководством т. Лизюкова и он один из первых вошел в город».

При атаке на Солнечногорск полковник Лизюков в пешем строю шел впереди батальонов 35-й стрелковой бригады.

Пуля ждала его еще тогда, в декабре 41-го, но под Красной Поляной и Солнечногорском он ее перехитрил. Впрочем, никакой хитрости с его стороны не было, шел с пистолетом в руке, как простой комбат или ротный, подбадривал своих бойцов, следил за быстро меняющимися событиями, управлял подразделениями.

Под Москвой за ним наблюдал Булганин. Лизюков знал, что об атаке на Красную Поляну и Солнечногорск не сегодня-завтра будет доложено Сталину.

И Булганин Сталину доложил. По всей вероятности, доклад был представлен в светлых, героических тонах. Во-первых, Булганин выполнил задание Верховного, а, во-вторых, роль командующего Северной оперативной группой полковника Лизюкова во время боев была действительно яркой. Разрабатывал операции, непосредственно сам проводил их, проявляя при этом личную храбрость и полководческий талант.

Первого января 1942 года Сталин вызвал Лизюкова в Москву. Встреча произошла на ближней даче. Этот жест Верховного главнокомандующего свидетельствует об особом признании заслуг защитника Москвы.

Со сталинской дачи Лизюков уехал генерал-майором и командиром 2-го гвардейского стрелкового корпуса.

Однако представление к ордену Ленина дальше штаба Западного фронта не уйдет. В политотделе прекрасно понимали: Лизюков обласкан Сталиным, получил генеральское звание, гвардейский корпус, и если дать ему еще высший орден страны, то от 20-й армии в официальное сообщение Совинформбюро «Провал немецкого плана окружения и взятия Москвы» в галерею защитников столицы придется ставить его портрет, а не Власова...

Орден Ленина придержали. Не везло Лизюкову на ордена.

К ордену Красного Знамени представили командарма Власова, и тот его получил.

Впрочем, комфронта Г.К. Жуков за московскую эпопею, которую он целиком вытасил на своем характере — упорстве, жесткости, а порою и жестокости, — был награжден всего лишь медалью «За оборону Москвы», и то только в 1944 году.

9

В феврале 1942 года был отпечатан сборник «Разгром немецких войск под Москвой: В помощь политруку». В сборнике помещена и статья командующего 20-й армией генерала Власова «Борьба за солнечногорский плацдарм». Ни слова о Лизюкове в ней не будет.

Генерал Лизюков в эти дни будет драться на Калининском фронте.

В эти дни из печати выйдет его брошюра «Что надо знать воину Красной Армии о боевых приемах немцев: Из опыта фронтовика». Только что отпечатанный экземпляр Лизюков подарит Сталину с надписью: «Родному Сталину А. Лизюков». Верховный прочтет брошюру, при этом расшифрует военные аббревиатуры, исправит типографские опечатки и на обложке размашисто наложит резолюцию: «Прочеть».

В 2015 году родственники Лизюкова сделали запрос в Министерство обороны по поводу несостоявшегося награждения. В официальном ответе сказано, что «причины отказа в архиве не отражены». Что это значит? Положили «под сукно», вот и все...

В марте 1942 года Лизюков пишет с фронта Александру Фадееву: «Дорогой Александр Александрович! Помню нашу теплую встречу и рассчитываю на дружескую помощь в подборе хорошей редакции для нашей газеты. Наш корпус прошел большой, поистине героический путь. Вы сами понимаете, какое огромное значение имеет для бойцов, командиров и политработников своевременное, правдивое описание тех подвигов, которые они совершают. (...) Писатели же о наших героических людях часто забывают. (...) Рад был узнать, что здоровье Ваше поправляется, надеюсь видеть Вас у себя в корпусе при первом же вашем выезде на

фронт. (...) Крепко, крепко жму руку. Примите мой сердечный привет. С самыми теплыми к Вам чувствами — Александр Лизюков, командир 2-го Гвардейского корпуса».

Писателей, артистов, людей искусства Лизюков любил особой любовью. Какое-то время в нем самом военный боролся с писателем. Военный одолел. Но любовь, навыки и затаенная до времени мечта остались. Возможно, спустя годы читатель получил бы прекрасные и правдивые книги о войне — романы или мемуары, но, как говорил Василь Быков, судьба посылает солдату на войне из всех возможных вариантов худший. И, видимо, летом под Воронежем командирский КВ, в котором находился генерал Лизюков, к несчастью, выскочит на опытный расчет немецкой противотанковой пушки, и тот расстреляет советский танк несколькими точными выстрелами...

До войны Лизюков публиковал свои стихи и прозу в журналах «Вокруг света», «Красные зори». Работал над пьесой «Сумбур молодости», черновик которой впоследствии пропал. Написал повесть о службе на бронепоезде. Рукопись отправил в Госиздат и вскоре получил предложение развернуть повесть в роман. Рассказ «Красноармеец Глянцев» о гражданской войне был издан в 1927 году отдельной книжкой. Чувствовал себя русским человеком и мог подчеркнуть это. Сохранилась служебная карточка за тот же 1927 год, в которой в графе «национальность» он написал: «Великоросс». Когда войска отправлялись на советско-польскую войну, написал в стихах «Клятву красноармейца» и перевел ее на украинский язык. К языкам вообще был очень восприимчив. Знал немецкий, французский, английский, а также латышский. Свободно писал и разговаривал на русском и украинском.

10

Второй гвардейский стрелковый корпус генерал Лизюков формировал сам. Сам подбирал командиров, особо ценил танковых. Вскоре корпус сосредоточился в районе Валдая и принял участие в окружении Демянской группировки немцев.

Командующий 3-й ударной армией, в состав которой входил корпус, в своем представлении Лизюкова к награде за успешно проведенную операцию, писал: «2-й гвардейский стрелковый корпус под командованием т. Лизюкова проделал успешный марш-маневр с боями от Старой Руссы до Холма, нанеся значительный урон противнику и преодолев трудности бездорожья в зимних условиях (...) нанес противнику большие потери». И там же: «...т. Лизюков — волевой, энергичный командир».

В апреле 1942 года Лизюков получил приказ сформировать 2-й танковый корпус. Корпус был включен в состав 5-й танковой армии. В июне Лизюкова назначили ее командующим. Назначению предшествовала встреча со Сталиным. На этот раз разговор состоялся в Кремле в присутствии Молотова, Шапошникова, Жукова.

Прав был Г.К. Жуков, в то время начальник Генерального штаба, когда убедил руководство страны, и в первую очередь Сталина, в необходимости создания крупных механизированных соединений, основу и главную ударную мощь которых составляли бы танки. Надо признать, что опытом «поделились» немцы, продемонстрировав во время летнего наступления 1941 года эффективность танковых групп.

Вновь сформированная 5-я танковая армия дислоцировалась в полосе Брянского фронта.

Летом 1942 года немцы неожиданно прорвались к Воронежу. Ставка подгото-

вила контрудар. Главной ударной силой маневра должна была стать 5-я ударная армия.

Биограф Лизюкова И.Н. Афанасьев, посвятивший последнему бою командарма многие страницы своих исследований, пишет: «5-я танковая армия находилась в движении, но было приказано начать операцию не позднее 15–16 часов 5 июля, не ожидая окончательного сосредоточения всех сил. Днем ранее в район Ельца Сталин откомандировал начальника Генерального штаба А.М. Василевского, которому поручалось устранить нераспорядительность Брянского фронта, не обеспечившего прием 5-й танковой армии и постановку боевых задач, а по существу — лично отдать приказ о начале наступления во фланг прорвавшемуся врагу. Возражения Лизюкова, который предлагал своим ходом произвести скрытное сосредоточение всех сил, не допустить ввода армии в бой по частям, а нанести массированный удар, были отвергнуты. Судьба командарма и его танкистов была перепоручена вышшему командованию, которое проложило армии путь по штабным картам».

Генерал Лизюков в те дни переживал, можно сказать, личную трагедию. С июня 41-го он мечтал о таком ударе. И на Березине, и на Днепре, и под Наро-Фоминском, и под Красной Поляной, и позже, в районе Холма, когда замыкали кольцо вокруг Демянской группировки немцев. Как хотелось ему спланировать удар так, чтобы все преимущества наших средних танков Т-34 и тяжелых КВ были умножены правильным построением и распределением сил. Чтобы в момент наступления и развития атаки под рукой имелись все силы. Лизюков репетировал, отрабатывал этот свой удар уже тогда, имея в своем распоряжении всего несколько легких и средних танков да немного артиллерии.

И вот вместо концентрированного удара командование приказывало идти в бой разрозненными частями. Казалось бы, не 41-й год, когда впопыхах армии вводились в бой полками, а дивизии ротами. Но косность штабного мышления по инерции толкала больших начальников именно к этому...

Константин Симонов в книге «Разные дни войны» писал: «Одна из бригад Лизюкова была отрезана, с ней не было связи. Командующий приказал немедленно восстановить связь и вывести бригаду из-под удара. И Лизюков, обескураженный своими неудачными действиями предыдущих дней и не дождавшись прихода танков другой бригады, сел на свой КВ и пошел в одиночку разыскивать пропавшую бригаду. Через два или три километра его танк расстреляли немецкие орудия. Спасся один башенный стрелок...»

Там, под Воронежем, Симонов хотел встретиться с Лизюковым. Может быть, вспомнить поле под Борисовом, Березину и штыковую атаку курсантов. Но — не судьба.

Соединения армии, в том числе танковые бригады, в бой вводились по частям. По частям противник с ними и разбирался. Лизюков был в отчаянии. По версии некоторых исследователей, после неудач первых дней и первых атак Лизюков подготовил донесение и свои предложения о том, как исправить положение. Пакет был адресован в Ставку лично Верховному главнокомандующему. Но тот пакет дальше штаба Брянского фронта не ушел.

Временное командование войсками Брянского фронта 7 июля 1942 года было возложено на генерала Н.Е. Чибисова. У Лизюкова с Чибисовым в день гибели командарма состоялся тяжелый разговор, после которого Лизюков сел в танк и помчался выполнять приказ.

Долгое время могила генерала Лизюкова была неизвестна. Хоронили героя во время боя. В 2008 году поисковый отряд обнаружил могилу. Останки были идентифицированы, перенесены в Воронеж и похоронены на Мемориале Славы с подобающим торжеством.

СНОСКИ И ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ *Иннокентий Андреевич Халепский (1893–1938)* — командарм 2-го ранга, нарком связи СССР. Член ВКП(б) с 1918 года. Сын портного. До революции работал телеграфистом. Образование: уездное училище и Высшие академические курсы при Военной академии РККА (1924). Участник Гражданской войны. В сентябре 1919 года — чрезвычайный уполномоченный по связи при РВС Южного фронта. В 1920 году — начальник Управления связи РККА. С 1934 по 1936 годы — начальник Автобронетанкового управления РККА, член Реввоенсовета СССР. С апреля 1937 года — нарком связи СССР. Предшественником на этом посту у Халепского был Г.Г. Ягода. Преемником — М.Д. Берман. Все расстреляны. В сентябре 1937 года арестован органами НКВД, обвинен в военно-фашистском заговоре в РККА. Военной коллегией Верховного суда приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 29 июля 1938 года на полигоне «Коммунарка». Реабилитирован в 1956 году. Награжден: орденом Ленина, орденом Красного Знамени.

² О том, что это был за прием ленинградских следователей и какое воздействие он имел на подсудимых, описал в своих воспоминаниях «История моего заключения» Н.А. Заболоцкий: «Первые дни меня не били, стараясь разложить меня морально и измотать физически. Мне не давали пищи. Не разрешали спать. Следователи сменяли друг друга, я же неподвижно сидел на стуле перед следовательским столом — сутки за сутками. За стеной, в своем кабинете, по временами слышались чьи-то неистовые вопли. Ноги мои стали отекать, и на третьи сутки мне пришлось разорвать ботинки, так как я не мог более переносить боли в стопах. Сознание стало затуманиваться, и я все силы напрягал для того, чтобы отвечать разумно и не допустить какой-либо несправедливости в отношении тех людей, о которых меня спрашивали.(...) На четвертые сутки, в результате нервного напряжения, я начал постепенно терять ясность рассудка. Помнится, я уже сам кричал на следователей и грозил им. Появились признаки галлюцинации: на стене и паркетном полу кабинета я видел непрерывное движение каких-то фигур. Вспоминается, как однажды я сидел перед целым синклитом следователей. Я уже нисколько не боялся их и презирал их...»

³ Дом предварительного заключения — «Большой дом».

⁴ *Иван Захарович Сусайков (1903–1962)* — генерал-полковник танковых войск, политработник. Родился в деревне Давыдково Гжатского уезда Смоленской губернии в крестьянской семье. В 1924 году — красноармеец. В 1925 году окончил Военно-политическую школу. С 1928 года в танковых войсках. В 1929 году окончил военную школу и курсы политруков при Киевской высшей объединенной школе командиров РККА им. С.С. Каменева. С 1932 года — начальник штаба отдельного танкового батальона Московской пролетарской дивизии. В 1937 году окончил Военную академию механизации и моторизации Красной армии. В 1938 году присвоено звание «корпусной комиссар», назначен членом Военного совета Орловского военного округа. Участник советско-финляндской войны. В марте 1941 года назначен начальником Борисовского автотракторного (танкового) училища, 26 июня 1941 года — начальником Борисовского гарнизона и ответственным за участок обороны и переправы через р. Березину. В боях за Борисов тяжело ранен. После госпиталя был членом Военного совета Брянского, Воронежского, Степного фронтов. В 1942 году присвоено звание генерал-майора танковых войск. С 1943 года — член Военного совета 2-го Украинского фронта. Участвовал в аресте румынского диктатора маршала Антонеску. После войны — член Военного совета Южной группы войск, затем занимал другие должности в войсках. Награжден: тремя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Суворова 1-й степени, орденом Суворова 2-й степени, орденом Кутузова 1-й степени, медалями.

⁵ *Геринг Вальтер (1892–1983)* — германский генерал танковых войск, кавалер Рыцарского Креста с Дубовыми Листьями и Мечами. На Восточном фронте с 22 июня 1941 года (с перерывами). 8 мая 1945 года взят в плен американцами.

⁶ Полк 1-й Московской мотострелковой дивизии полковника Я.Г. Крейзера.

⁷ Так в тексте.

ЛИТЕРАТУРА:

- Афанасьев Н.М. Первые залпы. — М.: Воениздат, 1982.
- Афанасьев И.Н. Судьба командарма Лизюкова: версии, мифы и правда. — М.: Вече, 2018.
- Барнет К. Военная элита рейха. — Смоленск: Русич, 1999.
- Барятинский М.Б. Танковые асы Сталина. — М.: Яуза, ЭКСМО, 2018.
- Беляев И.Н. Золотые звезды родного края. — Смоленск, 1999.
- Бешанов В.В. Год 1942 — «Учебный». — Минск: Харвест, 2002.
- Бок Ф. фон. Я стоял у ворот Москвы. — М.: 2009.
- Бондаренко А.Ю., Ефимов Н.Н. Москва на линии фронта. — М.: Вече, 2016.
- Виноградов А.П., Виноградова А.А. Герой-командарм. — М.: Воениздат, 1967.
- Брейтвейт Р. Москва 1941. Город и его люди на войне. — М.: Голден-Би, 2006.
- Гальдер Ф. Военный дневник 1941–1942. — М.: АСТ, 2003.
- Грайс М. 98-я пехотная дивизия. — М.: Центрполиграф, 2013.
- Гудериан Г. Воспоминания солдата. — Ростов на Д.: Феникс, 1998.
- Гунченков И.Ф. Солдатский подвиг командарма. — Калуга: Золотая аллея, 2005.
- Заболоцкий Н.А. Я воспитан природой суровой. (История моего заключения). — М.: Эксмо, 2008.
- Карасев В. Яхромский мост: Крах «Тайфуна». — М.: Яуза, 2019.
- Карел П. Восточный фронт. — М.: Изографус; Эксмо, 2003.
- Кершоу Р. 1941 год глазами немцев. Березовые кресты вместо железных. — М.: Яуза, 2010.
- Кнышевский П.Н. и другие. Скрытая правда войны: 1941 год. Неизвестные документы. — М.: Русская книга, 1992.
- Комаров Д.Е. Вяземская земля в годы Великой Отечественной войны. — Смоленск: Смяднь, 2004.
- Красильников И.А. Сорок третья армия в 1941-м году. — Подольск.: «Информация», 2007.
- Мейер-Детринг В. 137-я пехотная дивизия. — М.: Центрполиграф, 2013.
- Мельников В.М. Трагедия и бессмертие 33-й армии. — М.: Патриот, 2006.
- Милютин А. «Катюши» (БМ-13) на Западном направлении к началу операции «Тайфун». — aldr-m livejournal.com
- Митчем С.В. Мюллер Д. Командиры третьего рейха. — Смоленск: Русич, 1997.
- Михеенков С.Е. Трагедия 33-й армии. — М.: Центрполиграф, 2012.
- Михеенков С.Е. Остановить Гудериана. — М.: Центрполиграф, 2013.
- Музей Смоленского областного центра героико-патриотического воспитания молодежи «Долг». — Д. 34. Отчеты работы поисковой группы от 4.11.95.
- Мухин Ю.И. Война и мы. — М.: Б-ка газеты «Дуэль», 2000.
- Мягков М. Ю. Вермахт у ворот Москвы. 1941–1942. — Москва, 1999.
- Наумов А.Ф. На Варшавском шоссе. — Алма-Ата, 1968.
- Ополчение на защите Москвы. Сборник под ред. А.М. Петрова. — М.: Московский рабочий, 1978.
- Пальчиков П.А. Взятый меч. Жизнь и судьба Дыбенко. — М.: журнал «Москва», 2007, № 11.
- Провал гитлеровского наступления на Москву. — М.: Наука, 1966.
- Прусакова Н.А. События Московской битвы. Образы времени. — Калининград, ООО «Аксиос», 2015.
- Разгром немецко-фашистских войск под Москвой. — М., 1971.
- Райнике А. 5-я егерская дивизия. — М.: Центрполиграф, 2014.
- Рейнгардт К. Поворот под Москвой. М.: Вече, 2010.
- Рокоссовский К.К. Солдатский долг. — М.: Голос, 2000.
- Сандалов Л.М. На московском направлении. — М., 2000.
- Свердлов Ф.Д. Ошибки Г.К. Жукова. — М.: Монолит, 2002.
- Соколов Б.В. Тайны Второй мировой. — М., 2000.
- Фоменко В. «Катюша» — правда и мифы о создателях грозного оружия. — www.elektron2000.com
- Хаупт В. Битва за Москву: Первое решающее сражение Второй Мировой. 1941–1942. — М.: Центрполиграф, 2010.
- Чугунов Г. Горькая осень сорок первого. — Актобе.: ИД «Арсенал», 2010.
- Чуев С. Власовцы — пасынки Третьего рейха. — М.: Яуза, 2006.



*Общая
тетрадь*

ПОСЛЕВОЕННОЕ ЛЕТО

Александр Нестругин

НА ДОНСКОМ БЕРЕГУ

Здесь дубы не сведешь, как бывало, в полки —
Редкой цепью стоят на поверке вечерней.
И окопы ожине лежачей мелки,
И ползут лишь терны по ходам сообщений.

Часовым — белый бакен, видать за версту...
Неужели резервы все вышли у Ставки?
Ночь придет, а всех войск неуступчивых тут —
Я, мальчишка седой,
Да дубы-перестарки.

...Я сюда прихожу, виноват без вины,
Тишины зачерпнуть, что тут горше и чище.
Тут позиции те, что врагу не сданы, —
И траншеи на ощупь судьбу мою ищут.

Александр Ромахов

* * *

Ну вот, последний бой затих.
Мы обернулись:
— Павшие, простите...
Помянем их. Как узок круг живых!
Слеза солдатская
Нерастворима в спирте.

Слеза солдатская свинцово-тяжела,
Со звоном падает
На дно трофейных кружек...
Четыре года Родина ждала,
Чтоб смолк чужой,
Гортанный лай оружия.

Мы победили. Вот он, их рейхстаг.
Мы победили... Павшие, простите!
О ваших жизнях, больше — о смертях
Мы золотом напишем на граните.

Патрон последний пусть еще в стволе
И горячи от боя автоматы...
Домой! В Россию...
Мы не виноваты —
Прощайте, кто лежит в чужой земле.

Игорь Лукьянов

* * *

Послевоенные года...
Еще отчетлив гул последних
боев для сверстников отца —
фронтовиков двадцатилетних.
Они сойдутся за дымком
«Казбека» или «Беломора» —
И снова небо,
снова гром
авиационного мотора.

Ложится память на крыло,
летит до самого Берлина.
В Европе целый год светло.
Спасенный мир глазами сына
глядит. Сиренью льнет в окне.
Но долго ль это будет длиться?
И репродуктор на стене
гремит о перелетных птицах.

* * *

Учебный бой, как настоящий,
затих у зимнего села...
— Зайди, сынок, —
как мать, просяще
крестьянка в избу позвала.

Я знал,
что смертные когда-то
шли схватки в этой стороне...
И может, щурясь от заката,
из тех сороковых солдата
старушка видела во мне.

Валентина Беляева

ПОСЛЕВОЕННОЕ ЛЕТО

Светящаяся пыль стеной до неба.
Из печки — сладкий дух ржаного хлеба.
Галоши на ногах. Мне — пятый год.
На пальчике — плетеное колечко.
Солдат без ног на липовой дощечке
С колесами в ладошку у ворот.

Он на меня смотрел светло и кротко,
В одной руке — линялая пилотка,
В другой — на спичке красный леденец.
И, чем-то засмущавшись на минуту,
Он мне его не отдал почему-то
И белым стал. И страшен как мертвец.

Он, словно привидение из мрака,
Смотрел в мое лицо, молчал и плакал,
И что-то вдруг привиделось ему.
Земная твердь у ног загрохотала
И смерть свинец лавинами метала.
И шел солдат в клубящемся дыму.

Он ползал в чреве дышащего ада,
Он рыл чужую землю для собрата
В саду близ догоравшего жилья.
Он шел по пепелищам лихолетья,
Он шел, чтобы в затихшем предрассветье
Услышать под Берлином соловья...

Еще не знала я, что мне — ребенку,
Та встреча с ним — зияющей воронкой
Оставит эхо пройденной войны...

.....

Еще не знала я, чтоплыли реки
Кровавых слез безногого калеки —
Счетами моей будущей вины...

Владимир Шуваев

РОДИНА

Проплывают столетья.
Прносятся даты.
Ты все та же —
В предутренней дрожи берез.
Побелен обелиск
Неизвестным солдатам,
Что погибли вот здесь
Без медалей и слез.

И лежат вдалеке
От житейского блеска
Под простыми корнями
Могильной травы...
Им, должно быть, и там
Будет до смерти тесно
От такой
Разрывающей сердце
Любви.

* * *

Обелиск невысок. Небогат.
Две дороги крест-накрест лежат.
Не слышны ни гармонь, ни слова.
Скорбный ряд начинается с «А».

Там за списком за этим лежат
Тридцать восемь погибших солдат.
Тридцать восемь...
Теперь тридцать семь.
Ты нашелся — погиб не совсем!

Сквозь болезни, сквозь наше житье —
Тридцать лет выходил из боев.
И вернулся сомкнуть этот строй.
(Тяжело возвращаться домой).

А потом возвращаться назад,
Где расхожие речи звучат:
Не о том! Как по сердцу кнутом!
Да чего уж... Об этом потом.

Обелиск невысок. Небогат.
Что же сердце стучит, как набат?
Обелиск, как везде, как всегда.
Может, ярче алеет звезда?

И, забыв про обратный билет,
Ты стоишь среди прожитых лет...
Тихо движутся два муравья
Через список от «А» и до «Я».

* * *

В магазине лежит.
И раскиданы руки.
А из сумки бежит
Молоко, что для внука.

Жизнь прошла нелегко
И ушла не по планам.
Как бежит молоко
Мимо орденских планок!

Вот и все. И ушел.
Отгружается тело.
Отмывается пол.
...Долго пуля летела.

Иван Щёлоков

* * *

Мой дед пришел с войны и посмотрел
На дом, семью...

Слезы не мог сдержать
Хотел свой ратный подвиг осознать:
Подумал день, второй — и не сумел...
На третий — вышел сеять и пахать.

НА БРАТСКОЙ МОГИЛЕ

Здесь не бывает тишины.
Здесь птичий свист, что свист свинца.
Как нет печали у весны,
Здесь нет начала у войны
И нет конца.

Здесь сорок пятый вечный год
Над Влтавой властвует давно.
Он жизнь солдатскую берет
И смерть в награду раздает
За город Брно.

Здесь — кровь за кровь, и смерть за смерть,
За мир людей, за пядь земли.
И мы не вправе сожалеть,
Что вместе с ними умереть
Мы не могли.

Всему — свое и всем — свое!
Их не вернуть, им не помочь.
Но вместе с ними мы идем
В незримый бой и гибнем в нем
И день, и ночь...

Здесь не бывает тишины.
Здесь птичий свист, что свист свинца...
И нет печали у весны.
И нет начала у войны,
И нет конца.



Валерий Иванович Журавлев родился в 1948 году в р.п. Кантемировка Воронежской области. Окончил Воронежский политехнический институт. Работал инженером-конструктором ПО «Электросигнал», журналистом областных газет «Молодой коммунар», «Коммуна», собственным корреспондентом еженедельника «Экономика и жизнь», «Парламентской газеты», журнала «Земляки» и газеты «Ваше право. Миграция» Федеральной миграционной службы РФ. Заслуженный работник культуры РФ. Награжден знаками «Отличник печати», «Золотое перо». Автор книг «Линия жизни», «Портрет на фоне времени и газетных строк», «Я — сын твой, Дон-батюшка». Живет в Волгограде.

Валерий Журавлев

ДЕВОЧКА ИЗ «ДОМА ПАВЛОВА»

(Человеческий ракурс жестоких сражений)

Весь мир слышит о героической обороне Дома Павлова в центре Сталинграда, который немцы называли «крепостью русских фанатиков». Не мудрено. Целых 58 суток гитлеровцы пытались взять штурмом это четырехэтажное здание на нейтральной полосе, но так и не смогли сломить мужество и стойкость его немногочисленных защитников. При этом вермахт потерял убитыми и ранеными здесь гораздо больше своих солдат и офицеров, чем при захвате всей Франции. Это общеизвестные факты. Однако мало кто знает, что дом Павлова имеет не только ратную славу. Речь идет о том, что в его стенах в самый разгар боев произошло событие поистине удивительное, которое защитники «крепости» расценили как настоящее чудо. Впрочем, расскажем обо всем по порядку.

РЫТЬЮ МОГИЛЫ ПОМЕШАЛА ИКОНКА

Когда самолеты Люфтваффе превратили в груду развалин многоквартирный дом, в котором жила семья плавильщика металлургического завода «Красный Октябрь» Петра Селезнева, главы семейства уже не было в живых. Он погиб в уличных боях народного ополчения с немцами. Его жена Евдокия, находясь на последних неделях беременности, какое-то время



Зинаида Селезнева у стены Дома Павлова

ла дифтерией, как диагностировал военврач, который при всем своем желании ничем не мог помочь своей маленькой пациентке из-за скудости имевшихся в его распоряжении лекарственных средств.

Малышка день ото дня угасала на глазах выплакавшей все слезы матери. Болель так быстро прогрессировала, что в перерывах между атаками немцев один из защитников дома Павлова решил заранее выкопать могилку ребенку, чтобы облегчить моральные муки матери при захоронении дочери. На глубине в 30 сантиметров его саперная лопатка наткнулась на что-то металлическое. Очистил боец находку от грязи и остолбенел. В руках у него оказалась маленькая металлическая иконка с изображением Богородицы и младенца Иисуса Христа, на обратной стороне которой что-то было написано старославянской вязью. Перекрестился солдат (по рассказам многих защитников Сталинграда, на переднем крае неверующих практически не было. — В.Ж.), сразу же заровнял выкопанную им ямку, а найденную иконку отдал матери умирающей девочки, назвали которую Зиночкой.

— Возьми, Евдокия! И проси, истово проси Пресвятую Богородицу не отбирать у тебя дочурку...

То ли молитвы отчаявшейся вконец молодой женщины были и вправду кем-то услышаны или по какой другой причине, но чудо явилось. Зиночка пошла на поправку. И видя это, с еще большим упорством и мужеством отбивали атаки ненавистного врага защитники дома Павлова вплоть до 19 ноября 1942 года, когда немцы полностью отказались от попыток штурмом овладеть «крепостью русских фанатиков». Не мудрено. В этот день перед гитлеровскими захватчиками внезап-

укрывалась от бомб в наспех вырытой землянке, пока не решилась на отчаянный шаг: бежать к своим родственникам в центр Сталинграда под разрывами снарядов и мин, чтобы не оставаться одной в горящем городе. Ей несказанно повезло. Она благополучно добралась до четырехэтажного дома под номером 61 по улице Пензенской на площади 9-го Января (ныне площадь Ленина), где дворниками работали ее родители. В их распоряжении здесь была небольшая служебная квартирка цокольного этажа.

Вторично ей крупно повезло в том, что среди двух с лишним десятков бойцов, оборонявших дом, оказался опытный военврач Николай Комелев. В нужное время он весьма квалифицированно принял роды у неожиданной «гости» и самолично завернул новорожденную жительницу Сталинграда в самую чистую солдатскую портянку. И хотя заботливая мать делала все возможное для своей дочурки в крайне суровых бытовых условиях осажденного здания, состояние здоровья младенца оставляло желать лучшего. Дело в том, что вскоре после рождения девочка заболела

но возникла куда как более серьезная проблема, чем огрызающийся огнем полуразрушенный четырехэтажный дом на нейтральной полосе. Речь идет о том, что в этот день началась стратегическая наступательная операция «Уран» и войска Юго-Западного и Донского фронтов нанесли сильнейший удар по флангам группировки противника, занимаемых румынскими и итальянскими войсками. 23 ноября дивизии прорыва соединятся друг с другом в районе города Калач-на-Дону, замкнув в кольцо окружения 330 тысяч солдат и офицеров шестой полевой армии Паулюса.

А на следующий день начнется общее контрнаступление по городу и защитники «крепости» также пойдут в атаку на врага в составе своего родного 3-го батальона 42-го полка 13-й гвардейской дивизии под командованием генерала Александра Родимцева. Таким образом, в обжитом подвале дома Павлова останутся только несколько мирных жителей. В их числе — Евдокия Селезнева со своей грудной дочуркой Зиной, которым было просто некуда идти в разбомбленном до основания городе. Покидая родные стены, бойцы трогательно простились со своими гражданскими «соседями», взяв слово с матери «дважды рожденной девочки» обязательно встретиться с ними после войны. Забегая вперед, скажу, что не всем защитникам дома Павлова будет суждено дожить до радостного дня Победы: иные из них погибнут именно в этих ожесточенных уличных боях конца ноября.

Впрочем, о генерале Родимцеве и о бойцах его легендарной дивизии, вписавших свой подвиг поистине золотыми буквами в историю обороны Сталинграда, следует упомянуть особо. В свое время старший лейтенант Родимцев под псевдонимом «капитан Павлито» отважно, смело и умело воевал в Испании, за что был награжден двумя орденами Красного Знамени. А в сентябре 1937 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза «за образцовое выполнение правительственного задания». Какого именно, можно только догадываться, в открытой прессе никакой информации на этот счет нет. Все это говорит о том, что боевого опыта генералу Родимцеву к моменту его появления на берегах Волги было не занимать. Надо сказать, что под стать своему командиру была и 13-я гвардейская дивизия, сформированная из десяти тысяч прекрасно подготовленных, хорошо вооруженных и отчаянных бойцов бывшего третьего воздушно-десантного корпуса, представлявших собой элиту вооруженных сил Страны Советов. Их переправили на правый берег Волги в наиболее критический момент боев за Сталинград — в один из сентябрьских дней 1942 года.

Ситуация для обороняющихся советских войск тогда была так плоха, что командующий 6-й армией Паулюс уже докладывал фюреру о предстоящем захвате города — до Волги оставалось всего каких-то 200–300 метров. Вряд ли обычная стрелковая дивизия могла бы хоть что-то изменить в сложившейся обстановке на поле боя под ураганным огнем фашистов. Но десантники Родимцева воевали не числом, а умением и отчаянным бесстрашием. И это сразу же ощутили на себе рвущиеся к Волге за наградами и славой отборные части вермахта, когда к великому изумлению «покорителей мира» вновь прибывшая часть русских в первый же день отбросила их на несколько сотен метров дальше от берега великой русской реки.

Впрочем, красноречивей всего о героизме и умении воевать солдат Родимцева с превосходящими силами противника говорят цифры. А они таковы. За время боев в Сталинграде 13-я гвардейская уничтожила свыше 15 тысяч гитлеровцев, подбила более 100 танков(!), взяла в плен несколько тысяч немцев, потеряв при этом половину своих бойцов. И вот здесь на чашу весов защитников Сталинграда, объективности ради и по справедливости, следует положить самое главное, что сделали бойцы дивизии. Скажу об этом словами маршала Василия Чуйкова, который оценил боевые действия 13-й гвардейской дивизии чрезвычайно высоко:

«Дрались с невиданным упорством. Прямо скажу, если бы не дивизия Родимцева, то город оказался бы полностью в руках противника еще в сентябре».

Вот он ключ к пониманию нравственной высоты великого подвига гвардейцев-десантников, каждый из которых отчетливо осознавал, что, поднимаясь на бой, он идет на верную смерть. Говоря другими словами, в те дни судьба Сталинграда, а стало быть, и СССР, и многих других государств мира висела на волоске. Ведь, как известно, падение Сталинграда было непременным условием вступления в войну против СССР и милитаристской Японии, и соседней с нами профашистской Турции, поддерживающей устремления Гитлера на захват новых территорий. Выдержали бы мы в этом случае войну на три фронта?! Однозначного ответа на этот вопрос до сегодняшнего дня не дал ни один из военных экспертов.

ПОСРЕДИ НЕБЫВАЛОЙ ВОЙНЫ...

Не буду лукавить, семнадцать лет после войны никто не вспоминал о рожденной среди огненного ада малышке. Наверное, любопытная биографическая подробность ее опаленного войной детства так и осталась бы тайной за семью печатями для общественности города, страны и мира, если бы не разыскал ее в мирное время один из защитников дома Павлова. Речь идет о лейтенанте Иване Афанасьеве, взвод которого был послан для усиления разведывательно-штурмовой группы сержанта Якова Павлова из четырех солдат, сумевшей захватить важный опорный пункт на нейтральной полосе и трое суток самостоятельно удерживавшей его от наседавших фашистов. Впоследствии Иван Филиппович в боях с фашистами полностью теряет зрение и после войны вернется в Сталинград, где будет трудиться в городском обществе слепых. Долгое время он будет пытаться найти женщину, которая в дни Сталинградской битвы укрывалась вместе со своим грудным ребенком в доме, обороной которого он руководил почти два месяца, по несколько раз в день отбивая атаки немецких штурмовых групп, усиленных танками.

Помог случай, благодаря которому Афанасьев с помощью своего зрячего сына нашел-таки и мать-роженицу, и ее ставшую уже совсем взрослой дочь, которые к тому времени жили в центре города в квартире с подселением большого девятиэтажного дома по улице Аллея Героев. А после того как местный гений офтальмологии, заведующий кафедрой глазных болезней Сталинградского мединститута Андрей Михайлович Водовозов частично, процентов на тридцать, вернул зрение командиру гарнизона легендарного дома, на встрече однополчан Афанасьев стал брать с собой Зину. На все протесты девушки типа «Ну кому я там буду интересна, Иван Филиппович?» отвечал коротко, по-фронтовому:

— Нет, Зиночка, пока я жив, будешь со мной кругом ходить! Одной ведь судьбой повязаны...

Вскоре о Селезневой-младшей заговорили в местной прессе. А девушка к тому времени уже окончила школу, машиностроительный техникум, поступила работать конструктором на Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей, на котором много лет работала ее мать Евдокия Григорьевна. В 1967 году город переименовали в Волгоград и лучшую «комсомолку, активистку, спортсменку и просто красавицу», к тому же имеющую каллиграфически ровный почерк, заводской комитет комсомола направил в Центральный райком ВЛКСМ на выпуск новых комсомольских билетов. Общительность и организаторские способности новенькой были оценены по достоинству молодежным начальством, и вскоре Зине предложили должность заведующей сектором учета в райкоме, на которую она согласилась.

Именно в этот период времени к ней неожиданно нагрянули корреспонденты из солидного журнала ГДР «Свободный мир». Несколько дней и вечеров донимали они девушку своими расспросами, фотографируя в разных ракурсах и ее, и ос-

тавшихся в живых защитников дома Павлова, и достопримечательности знаменитого на весь мир «города-ратника на берегу войны». В результате кропотливой и напряженной работы немецкой творческой группы в скором времени в свет вышел огромный размеров (на половину журнала. — *В.Ж.*), прекрасно иллюстрированный очерк «Ребенок в огне», где были изложены подробности появления на белый свет в «крепости в центре Сталинграда» маленькой русской девочки. Говорят, в Восточной Германии документально-художественный материал из Сталинграда был очень тепло принят читателями, а его авторов — фотокорреспондента и журналиста лично принял и поблагодарил генеральный секретарь Социалистической единой партии Германии Эрих Хоннекер за «создание высокохудожественного публицистического материала на антивоенную тему».

Надо полагать, что лавры немецких журналистов заставили зашевелиться и их московских коллег. Сужу об этом по такому факту. Вскоре после «Ребенка в огне» уже в советской прессе стали появляться материалы, в которых рассказывалось об «обыкновенно-необыкновенной советской девушке Зине Селезневой». В частности, в очень популярном тогда всесоюзном журнале «Кружозор» известный бард советской поры Юрий Визбор в соавторстве с одним из журналистов опубликовал очерковую зарисовку о мужестве и стойкости десантников лейтенанта Афанасьева при обороне дома Павлова, упомянув при этом о грудной девочке Зиночке, которая одним своим существованием вдохновляла бойцов стоять насмерть.

И все же самую большую известность героине этого материала принесла поэма таджикского поэта Мумина Каноата «Голоса Сталинграда» в переводе Роберта Рождественского, напечатанная на страницах молодежного журнала «Юность» огромным тиражом и принесшая ее автору Государственную премию СССР — высшую награду страны за творчество. В одной из глав этой поэмы, устами бойца-таджика Ахмада Турдиева (прототипа реального защитника дома Павлова броневой бойца таджика Мабулата Турдыева. — *В.Ж.*) проникновенно-трогательными словами рассказывалось о рожденной среди огненного ада малышке по имени Зиночка, утверждая, что во многом, благодаря ей, отстояли советские солдаты легендарный дом:

...Посреди небывалой войны нынче девочка родилась.
Есть Земля — ее колыбель, есть Земля — ее дом родной.
Мы баюкаем малыша под смертельной пеленой.
Знаю я: ни один волосок не падет с головы льняной.
Пусть мы держимся на волоске, пусть пожарище — шар земной...
В этом доме, где столько раз все снарядами разметено,
В доме, где по расчетам врага быть живых уже не должно,
Есть любви высочайший знак, есть грядущей жизни зерно.
Значит, все величие Земли в этом доме заключено!
Это наш последний рубеж. Это наш последний редут.
Если этот дом упадет, значит, все дома упадут...
Спи малышка. Не верь войне. Люди ждут тебя! Очень ждут.
Будь спокойна: за этот порог никогда враги не пройдут!

Надо сказать, что публикация поэмы имела свое логическое продолжение, существовавшее дальнейшей известности одной из ее героинь. Речь идет о том, что 1975 году Центральное телевидение СССР пригласило на «Голубой огонек» Зинаиду Селезневу, к тому времени закончившей «совсем не женский» факультет металлообрабатывающих инструментов Волгоградского политехнического института. На этой очень популярной в те годы передаче и познакомилась впервые молодая волгоградка с таджикским поэтом Каноатом, сумевшим стихотворными строчками проникновенно и точно отразить ее невольное участие в ратном подвиге защитников Сталинграда.

РОДСТВЕННИКИ ПО... «БОЕВОМУ» РОЖДЕНИЮ

Ни к чему не обязывающая встреча под прицелом телевизионных камер переросла в дружбу, благодаря чему автор обласканной критиками поэмы стал иногда приезжать в Волгоград, а потом на полтора десятка лет куда-то пропал. С тех пор никаких вестей о нем Зинаиде Петровне, к тому времени вышедшей на пенсию после 20 лет работы в системе Управления исполнения наказаний Минюста по Волгоградской области и дослужившей до звания капитана внутренней службы, не поступало. Вновь увиделись старые знакомые лишь много лет спустя в 2003 году, когда известный во всем мире таджикский поэт и дипломат Мумин Каноат приехал в Город-Герой на празднование 60-летия Победы советского народа в Сталинградской битве. Они встретились в актовом зале детско-юношеского центра Волгограда на заседании клуба интернациональной дружбы (КИД), куда его руководитель Ольга Безбородова пригласила «двух очень интересных людей», не ставя их в известность, с кем именно им предстоит общаться.

Надо сказать, что в тот раз именитый таджикский гость импозантной европейской внешности, 70-летие которого отметило ЮНЕСКО во многих странах мира, с непередаваемыми авторскими интонациями и чисто восточным изяществом продекламировал кидовцам свою поэму «Голоса Сталинграда». После этого его и собравшихся в зале подростков ожидал сюрприз, подготовленный Ольгой Сергеевной. Она представила участникам встречи под аплодисменты зрителей «малышку, которую бойцы баюкали под смертельной пеленой»... в лице бессменного председателя общественной организации «Дети военного Сталинграда» Центрального района Волгограда Зинаиды Селезневой (по мужу Андреевой). Встреча старых знакомых получилась очень трогательной и неожиданной для обеих сторон. Зинаида Петровна и Мумин Каноатович обнялись и расцеловались, как родные люди.

— Почему вы в последние годы не отвечали на мои письма, Мумин? — с ноткой упрека в голосе поинтересовалась волгоградка.

— Вы же знаете, уважаемая, в нашей стране шла небольшая война, и почта работала с большими перебоями, если работала вообще, — дипломатично ответил Каноат, имея ввиду серьезный вооруженный конфликт между таджиками и турками-месхетинцами, неожиданно для многих вспыхнувший в этой мирной солнечной республике несколько лет назад. — Теперь у нас снова мир, и я обещаю, что больше никогда не потеряю вас из виду...

Надо сказать, что жизнь подарила моей новой знакомой, немало настоящих друзей и интересных встреч. Скажем, с тем же Робертом Рождественским, переведившим «Голоса Сталинграда» на русский язык. С прославленным командиром 13-й гвардейской дивизии Александром Родимцевым, бойцы которого обороняли дом Павлова и с которым она часто встречалась. Зинаиде Селезневой довелось даже побывать на малой родине «генерала-отваги», как называли именитого полководца все, с кем он прошел Испанию и Сталинград, с кем воевал на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, форсировал Одер и брал Дрезден и Прагу. До слез поразила в тот раз волгоградку ужасная подробность жизни мальчишки из бедной крестьянской семьи села Шарлык Оренбургской области. Оказывается, довелось ему в юном возрасте увидеть то, что видеть просто нельзя: казаки-дутовцы на глазах у всех жителей села до смерти забили плетью его отца, и Сашка Родимцев остался в семье за старшего и был кормильцем, работая подмастерьем у сапожника. Сейчас там стоит памятник яркому полководцу, который беззаветно любил свое Отечество и прославил ратными подвигами своих земляков.

Особый разговор о знакомстве «дважды рожденной» в доме Павлова с директором японского мемориального Музея мира в Хиросиме Минуру Хитогути, появившемся на свет в тот день и час 1945 года, когда американцы сбросили атомную бомбу на его родной город. Житель Страны Восходящего Солнца посчитал своим мо-

ральным долгом по приезду в Волгоград встретиться со своей сталинградской «сестрой» по боевому рождению. Ведь волею судьбы японский мальчик и русская девочка из Сталинграда пережили самый настоящий ад уже в первые мгновения жизни, навеки породнившись этой бесчеловечно страшной общностью своей судьбы.

Не мудрено, что встреча руководительницы общественной организации «Дети военного Сталинграда» Зинаиды Селезневой и японского «хранителя истории» самых страшных страниц своей страны Минору Хитогучи началась в государственном музее-панораме «Сталинградская битва», расположенном рядом с историческим местом высадки 13-й гвардейской стрелковой дивизии генерала Родимцева при форсировании Волги в сентябре 1942 года под ураганным огнем врага. Здесь японского гостя познакомили с грандиозной экспозицией, посвященной жесточайшей по накалу битве за Сталинград, своими масштабами превосходящей не только любые военные стандарты, но и затмевающей собой все литературные и кинематографические ужасы.

Особо сотрудники музея постарались донести до заморского коллеги информацию о том, что у Сталинграда в эти дни была своя «Хиросима», когда 23 августа 1942 он был подвергнут варварской бомбардировке сотнями самолетов 4-го воздушного флота Люфтваффе, которые стали методично сравнивать город с землей тяжелыми фугасными и зажигательными бомбами. Когда заканчивался боезапас у фашистских стервятников, они возобновляли его на полевых аэродромах и снова и снова бомбили жилые дома. Тогда немецкие бомбардировщики сделали более 2000 самолето-вылетов, превратив цветущий город в невообразимое скопище дымящихся развалин и полуразрушенных зданий.

Огромные столбы пламени взмывали к небу из района нефтехранилищ и обрушивали вниз море огня вместе с горьким, едким дымом. Поток горящих нефтепродуктов устремились к Волге, горела поверхность реки, горели пароходы на сталинградском рейде. В результате этих воздушных налетов, как свидетельствуют новейшие исторические исследования, в тот день в городе погибли не менее 71 тысячи мирных жителей и около 142 тысяч получили ранения, травмы, увечья и контузии. Замечу, в японском городе Хиросима в результате американской атомной бомбардировки в первый же день погибло, по приблизительным подсчетам, свыше 90 тысяч мирных жителей.

Надо полагать, Минору Хитогучи еще долго находился под сильнейшим впе-



Зинаида Селезнева в гостях у Тургуновых в Узбекистане

чатлением от посещения музея-панорамы. Впрочем, это не помешало ему непринужденно общаться со своей «сталинградской» сестрой на борту теплохода, специально выделенного администрацией Города-Героя для его прогулки по Волге. И все это время переводчик из Москвы и местный переводчик без работы не оставались. Собеседникам надо было многое сказать друг другу, а главное, понять и осознать, что каждый из них может и должен сделать, чтобы нынешние и будущие ребята их стран никогда бы не испытали то, что в свое время пришлось пережить им в младенческом возрасте.

Надо сказать, что «военная» биография Зинаиды одно время даже призвала ее на службу... в кино. Да-да, я не оговорился. Узбекские киношники, снимавшие фильм о защитнике дома Павлова Камолджоне Тургунове, имеющем 16 детей и 28 внуков, и пригласили ее поучаствовать в документальных съемках о ратных делах бывшего бронебойщика, после Сталинграда дошедшего дорогами войны до Харькова, а затем Магдебурга. Она согласилась, потому что уже давно поддерживала породственному теплые отношения с этим скромным, чрезвычайно доброжелательным пожилым узбеком, считавшим ее своей дочкой и писавшей ей не особенно грамотные с точки зрения грамматики русского языка, но такие дорогие ее сердцу письма: «Многоуважаемый дорогой мой дочка Заширохан (так он называл ее на узбекский манер. — *В.Ж.*), здравствуйте! Как в доме, как зять Юра, дочка Мариночка и внучка Катюша?..» В общем, по кинематографическому «призыву» Зинаиде Петровне довелось посмотреть на родной кишлак своего узбекского «отца» близ Намангана, где после войны Камолдзон трудился в колхозе трактористом.

Невольно бросилось в глаза, как очень просто, если не сказать бедновато, живет герой войны со своей женой Машрабжан и большой семьей в незавидной хибаре с земляным полом. Сели ужинать на какое-то цветастое одеяло. Гостям подали свежеепеченные лепешки и прозрачный, похожий на мед, жир в пиалах. Не могло быть и речи размещать прибывших в хибарке Тургуновых из-за нехватки места, и потому поселили гостей в просторном красиво отделанном особняке местного директора завода сухофруктов, что называется, утопающего в дорогих коврах. Особый шик обители руководителя предприятия придавал бассейн во дворе дома, в котором операторы съемочной группы вылавливали сачками понравившуюся им рыбку. Как говорится, почувствуйте разницу в достатке двух узбекских семей, живущих неподалеку друг от друга! Между тем, Камолдзон Тургунов никогда и никому не жаловался на материальные трудности, не бравировал своим фронтovým прошлым, довольствуясь малым.

Следует заметить, что вот эта природная скромность последнего из живших тогда защитников дома Павлова (Камолдзон Тургунов умер в марте 2015 года на 94-м году жизни. — *В.Ж.*) присуща и его искреннему другу из Города-Героя Зинаиде Селезневой, с которой он долгие годы переписывался и неоднократно приезжал к ней в гости. Бывший работник Управления исполнения наказаний Минюста по Волгоградской области, ушедшая на пенсию в звании капитана, дорожит этой дружбой, рожденной в грозном 42-м. Через всю жизнь она пронесла память о защитниках дома Павлова, благодаря которым появилась на свет в самую жесточайшую годину. Душевно рассказывает о них, о героическом прошлом «города-ратника на берегу войны», встречаясь со своими юными друзьями-школьниками из Центрального района Волгограда.

Надо сказать, что доверительные, дружеские отношения Зинаида Петровна поддерживает и с дочерью командира 13-й стрелковой дивизии Натальей Александровной Матюхиной (по мужу), бережно, как драгоценный талисман храня написанную ею книгу «Мой отец — генерал Родимцев», с дарственной надписью автора. Ведь этот документально-литературный труд, повествует в том числе и о подвигах двух с половиной десятков бойцов дивизии, 58 дней и ночей защищавших Дом Павлова и крохотную «девочку из огня» — свою Зиночку.



Владимир Евгеньевич Новохатский родился в 1951 году в селе Новоселовка Воронежской области. Окончил Воронежский государственный университет. Более 40 лет работал в печати: в районной прессе, редактором газеты «Молодой коммунар», собкором «Парламентской газеты». Автор книги «Было у матери три сына». Лауреат премии администрации Воронежской области по журналистике в номинации «Мастер», премий «Родная речь», «Кольцовский край», награжден знаками «Золотое перо», «Благодарность от Земли Воронежской». Живет в Воронеже.

Владимир Новохатский

ЗНАМЕНОСЦЫ ПОСЛЕДНЕГО БЕРЛИНСКОГО БОЯ

(Штурмовая группа капитана Макова первой водрузила знамя над рейхстагом)

О взятии рейхстага написаны тома воспоминаний. Но первые строчки о той битве были солдатскими. Руки, привыкшие к штыку, на стенах фашистской цитадели вывели лаконичные автографы: «Штурмгруппа капитана Макова В.Н., 30 апреля 1945 года». И еще четыре фамилии — Бобров, Лисищенко, Загитов, Минин...

Мне довелось встречаться с одним из этих героев-штурмовиков. Михаил Петрович Минин долгое время работал в отделе кадров воронежского производственного объединения «Электроника». С виду — обычный заводской служащий, а разговорились — знаменосец самого знаменитого последнего берлинского боя. Наверное, потому, что этот бой был последним, каждое его мгновение врезалось в память.

В ночь на 30 апреля фашистов выбили из «дома Гимmlера». Так в солдатском обиходе называлось здание германского министерства внутренних дел. Осадное кольцо сжалось вокруг рейхстага в трех сотнях метров. В мгlistой дымке уже прорисовывался шпиль на ребристом куполе, фронтоном со скульптурой над Триумфальным входом, мощные массивные колонны. Была короткая передышка. Бойцы приглядывали направления новой атаки...

У них были разные фронтовые дороги и одна вера. Они верили, что дойдут до Берлина, что победят. И вот дошли. Судьба провела их по войне, как по острой грани, где не единожды жизнь и смерть почти соприкасались. Однако судьба вела, она и отводила. Владимира Макова война застала в Москве. Из студентов столичного индустриального техникума он первым записался в ополчение. Воевал на Украине. Сначала был ранен на Днестре. Чудом выжил в боях под Севастополем, Там, на Малаховом кургане, от роты осталась горстка черноморских моряков. Шесть человек против восьми немецких танков. Танки не прошли. А Макова случайно подобрала ночью санитары. Без сознания, почти истекшего кровью. В 1943 году после офицерских курсов его назначили командиром разведроты. Под Старой Руссой получил третье ранение. После госпиталя — снова на передовую. Он шел к Берлину через Ржев и Минск, Ригу и Варшаву. Долгий и тяжкий солдатский путь. Потому, наверное, столь определенным был выбор войны. Потребовался командир добровольческой группы, которой предназначалось водрузить над рейхстагом Красное знамя. Командующий 79-го стрелкового корпуса Переверткин назвал его фамилию — капитан штаба разведки Маков.

Сродни был фронтовой опыт и у его боевых соратников. Сашу Лисименко война провела стороной от родных брянских лесов. В составе 136-й артиллерийской бригады измерил он верстовые вешки от Селигерских болот до Латвии, прошел Восточную Пруссию и Польшу. Пол-Европы по-пластунски пропахали башкирец Гизий Загитов и ленинградец Леша Бобров. Михаил Минин в штурмовую группу Макова попал в последний момент. Ее состав был уже утвержден. По указанию штаба бригады от каждого дивизиона выбирали максимум трех добровольцев. Чтобы не ослаблять боевых подразделений. Минин по цепочке обошел всех командиров. Добрался до начальника штаба бригады А. Бумагина. И убедил-таки. В штурмгруппу его зачислили четвертым. Потом, когда было построение добровольцев на командном пункте корпуса и из политотдела принесли алое полотнище, Маков спросил:

— Кому доверим нести знамя?

— Минину, — единодушно ответили бойцы...

Солдаты пристально всматривались в светлеющую мглу весеннего утра.

Было непривычно тихо. Примерно в половине пятого тишина раскололась мощным залпом артподготовки. Из «дома Гимmlера» все высыпали на площадь. Стрелковые батальоны капитана Неустроева из 756-го полка и майора Давыдова из 674-го полка атаковали рейхстаг по центру. На их стыке действовала группа капитана Макова. Однако ни утром, ни днем прорваться к рейхстагу не удалось. Всякий раз наступление угасало в мощной завесе встречного заградотряда.

Только с наступлением сумерек маковцы смогли пробраться к противотанковому рву. На Кенигплац — Королевской площади — Загитов, еще днем разведавший этот участок, вывел товарищей точно к проходу через препятствие. Там, как раз в направлении Триумфального входа, надо рвом с водой лежали несколько металлических труб и балок. Поэтому, когда дали сигнал к очередному штурму, группа капитана Макова одной из первых ворвалась в здание рейхстага.

У Михаила Петровича Минаина сохранились воспоминания боевого друга Александра Лисименко. О решающем моменте схватки Александр Филиппович написал так: «Завязался жестокий и длительный бой за каждую комнату, за каждый коридор. В рейхстаге темно. Трудно ориентироваться. Впереди с фонариком Гизий Загитов. Капитан Неустроев и начальник штаба батальона Гусев руководят боем. Блокируем входы в главный зал и подвальные помещения. Среди адского шума, треска автоматных очередей и взрывов гранат слышим команду капитана

Макова: «С флагом — наверх!» Но как найти лестницу впотьмах? Вскоре Загитову удалось нащупать ведущие вверх ступеньки. В непрерывном и скоротечном бою добрались до чердака. Самое трудное — выбраться на крышу рейхстага. Мы с Бобровым простреливали чердак, а в это время Загитов и Минин разыскивали выход. Обнаружили свисавшую откуда-то сверху цепь грузовой лебедки. Сменив автоматные диски, по цепи лезем на крышу. Там мы почти сразу увидели огромную бронзовую скульптуру. Она была вся в зазубринах, зияла пробоинами. Минин достал из-под гимнастерки знамя и привязал его к металлической трубке. Цепляясь за края пробоин, он взобрался на скульптуру и укрепил знамя на короне бронзовой богини. Бобров ринулся вниз, и через несколько минут капитан Маков передал по радиации в штаб 79-го стрелкового корпуса сообщение о выполнении задания. Это было поздним вечером в 22 часа 40 минут 30 апреля 1945 года».

О действиях штурмовой группы капитана Макова в своих «Воспоминаниях и размышлениях» упоминает маршал Жуков. Строчки об отважных бойцах того легендарного сражения можно найти в иной военно-исторической и мемуарной литературе. Но при этом мало кто говорит, что именно они первыми водрузили знамя на крыше рейхстага. Ощущалась какая-то недосказанность. За мужество и отвагу, проявленные при штурме рейхстага, маковцы были представлены к званиям Героев Советского Союза, а вручили им ордена Красного Знамени.

Спустя годы Минин занимался этой историей. На свои запросы он получил затейливое объяснение. Дескать, у того решающего берлинского боя было много знаменосцев. Едва ли не каждое воинское подразделение, участвовавшее в штурме, стремилось вознести свой флаг над поверженным фашистским логовом. Маковцы укрепили над рейхстагом стяг 79-го стрелкового корпуса. А официальным Знаменем Победы признано то, которое по поручению Военного Совета 3-й ударной армии в ночь на 1 мая установили М. Егоров и М. Кантария. Оно и стало затем экспонатом Музея Советской Армии.

Старый солдат не стал тогда что-то доказывать высокопоставленным летописцам. Тем более что подвиг его товарищей даже после таких объяснений не воспринимается менее значимым. И все же многие годы бывшие фронтовики, ставшие журналистами и историками, военные архивисты кропотливо работали над тем, чтобы воздать должное бойцам-маковцам. В конце концов, было сделано официальное заключение: «В результате исследований, проведенных Институтом военной истории Министерства обороны Российской Федерации, на основании архивных документов установлено, что первой на здании рейхстага Красное знамя водрузила группа капитана Макова...»

Дело, конечно, не в наградах. Хотя по справедливости именно бойцы группы капитана Макова за свой оставшийся в веках подвиг достойны высших наград Отечества. Нынче, когда те суровые, огненные, славные дни все дальше уходят от нас, каждый эпизод Великой войны достоин рассказа без утайки. От этого наша история становится только богаче и ярче.





Алексей Васильевич Манаев родился в 1949 году в Уколовском районе Воронежской области (ныне Красненский район Белгородской области). Окончил отделение журналистики Казанского государственного университета и Академию общественных наук при ЦК КПСС. Кандидат исторических наук. Работал в СМИ и на различных ответственных должностях в федеральных государственных органах. Государственный советник Российской Федерации I класса. Автор и составитель нескольких государственных и общественных наград. Живет в Москве.

Алексей Манаев

ОРДЕН ОТ МАРШАЛА ЖУКОВА

(Как фотокор Виктор Темин опубликовал снимок о взятии рейхстага в газете «Правда»)

Хроника событий такова: 2 мая 1945 года Красная Армия заставила капитулировать главное фашистское логово — рейхстаг, а уже 3 мая в Берлине появилась газета «Правда» с фотографией поверженного нацистского парламента и развевающимся советским стягом над ним. Современных средств передачи изображений на расстояние тогда не было. Доставка за столь короткое время в Москву из Берлина фотографий, а затем доставка в столицу Германии из Москвы свежего номера «Правды» казались нереальными. Следовательно... Следовательно, русские что-то «нахимичили». С той поры в средствах массовой информации, а потом и на безбрежных просторах Интернета множатся различного рода вымыслы по этому поводу.

Среди собратьев по перу немало и отечественных любителей погадать на исторической кофейной гуще. Гадания приводят к тому, что на этой самой гуще все чаще и чаще вырисовывается приобретающий мифологические черты облик автора снимка — фотокорреспондента «Правды» Виктора Антоновича Темина. Резон в этом есть. Виктор Темин действительно человек неординарный. Нам, студентам отделения

журналистики Казанского государственного университета семидесятых годов (ныне Казанский (Приволжский) федеральный университет), много рассказывали о его творчестве, о широком диапазоне личностных качеств и призывали учиться у мастера.

Учиться есть чему. До сих пор диву даюсь: небольшая черно-белая фотография Темина порой вызывает больше эмоций, чем красочное полотно иного именитого художника. Родился Виктор в 1908 году в семье священнослужителя в городе Царевококшайске Казанской губернии (ныне Йошкар-Ола, Республика Марий Эл), с детства увлекся фотографией в провинциальном татарском городке Мензелинске, куда перевели отца, и за короткое время сделал головокружительную карьеру. В 1929 году главная газета республики — «Красная Татария» — поручила Виктору сделать серию фотографий прибывшего в Казань Максима Горького. С заданием он справился великолепно, в качестве презента получив из рук буреви́стика революция фотоаппарат «лейка», служивший верой и правдой Темину не одно десятилетие. А в тридцатых годах он уже покори́л Москву, служа фотоко́ром в главной газете страны — в «Правде».

Сейчас какого события прошлого ни коснись — спасения челюскинцев и дрейфа станции «Северный полюс-1», боев на озере Хасан и на реке Халхин-Гол, советско-финского вооруженного конфликта, начала Великой Отечественной войны, ее победоносного завершения и Нюрнбергского трибунала — все они прошли через сердце мастера, все они остались в истории благодаря и его работам. География снимков охватывает 28 стран.

Заметьте: Темин был репортером, «заточенным» на событийную фотографию. Эта специализация требовала особых качеств — энергичности, настойчивости, верткости, способности быстро ориентироваться в самых сложных, иной раз, казалось бы, патовых ситуациях. Не успеешь, не сосредоточишься, не найдешь верного решения — пеняй на себя. События, которые ему приходилось чаще всего запечатлевать, нельзя было ни повернуть вспять, ни отсрочить, ни продублировать. Он заданий не срывал, выполняя их мастерски.

Вот почему многие наши и закордонные прорицатели склонны объяснять «Берлинский казус» неумением Виктора Антоновича: он, мол, из любой ситуации мог выкрутиться. Отсюда «персональные» легенды о фотомастере. Согласно одной из самых ранних, 2 мая 1945 года фотокорреспондент «Правды» Виктор Темин, чтобы доставить в редакцию знаменитый снимок «Знамя Победы над Берлином», угнал личный самолет командующего 1 Белорусским фронтом Георгия Жукова. Разгневанный Жуков будто бы лично звонил редактору «Правды», требуя расстрелять Темина, на что редактор ответил: «К сожалению, товарищ маршал, это невозможно. Только что звонил товарищ Сталин и просил передать вам его благодарность за предоставленный самолет, а фотографа наградить».

С той поры много воды утекло, уже 75-летие Великой Победы всенародно отмечаем, а легенды, одна другой круче, возникают и возникают. По Интернету, например, бродит очерк «Виктор Темин — король фоторепортажа», автор которого относит себя к писателям и журналистам (фамилию называть не буду). Литератор утверждает, что навещал легендарного фотоко́ра на его квартире в Москве и из первых уст услышал правду о знамени, рейхстаге и снимке.

Цитирую. «Ночью, наконец, пришло долгожданное известие: есть наш флаг над рейхстагом! Ночью не сфотографируешь, но и наступившее утро не порадовало: от рвущихся снарядов стоял дым от разрывов. Сплошная пелена! И тогда Темин мчит на полевой аэродром, находит летчика Ивана Вештака, объясняет ситуацию. Надо сказать, был у фотоко́ра волшебный пропуск, подписанный самим Сталиным. Он позволял Темину беспрепятственно бывать на всех фронтах. Авантюрист Темин рас-



Виктор Темин. Знамя Победы над рейхстагом в Берлине

поражался им по-своему. Он не стал со своей «лейкой» и блокнотом мотаться по столице Третьего рейха... Сначала он «выбил» себе... танк. На «тридцатьчетверке» одним из первых ворвался в Берлин, снимал уличные бои, а потом «завладел» личным самолетом По-2 с летчиком — младшим лейтенантом Иваном Вештаком.

И вот Иван и Виктор летят в сторону рейхстага. Вспышки зенитных снарядов, на земле пулеметная, автоматная стрельба, дым, огонь от горящих зданий и поверженной техники... Рейхстаг! Самолет дрожит от раздающихся рядом разрывов. Успевают только один раз облететь «ощипанную» цитадель. Темину удается щелкнуть «лейкой» лишь три раза. А в радиии звучит: «Немедленно возвращайтесь! Трибунал!»

«Когда самолет сел, Витюша успел передать подбежавшему авиатехнику каскету с запиской, кому и как передать, чтобы она немедленно была доставлена в Москву, — комментировала Тамара (жена фотомастера. — А.М.). — И тут же их арестовали»...

На что Виктор Антонович усмехнулся, слабо махнул рукой...

Темин попросил меня сесть поближе.

— Только тебе скажу, — полупшепотом начал он. — На моем снимке нет знамени. Сам рейхстаг есть, а знамени — нет. Почему — сам не знаю. Скорее всего, мы не с той стороны летели. А может, немцы его сбили...

— Но вот он... флаг, — я указал на большое фото на стене.

— Все так думали. И думают доселе... Дело в том, что в редакции, когда такое увидели, решили — негоже. И художник-ретушер его дорисовал.

— Но ведь Кантария... — не унимался я.

— Халдей снимал его уже после. Это был постановочный снимок...»

Скажу сразу: эти утверждения — выдумка, фейк. Автор демонстрирует один снимок, а в «Правде» 3 мая 1945 года опубликован другой, более достоверный, «с поля боя» и потому менее эффектный. Кроме того, в том же самом номере есть еще две фотографии Темина с места события. Под каждой подпись: доставлено на са-

молетах летчиками В. Лемешкиным, К. Москаленко, И. Вештак. Указано и время съемок — от 3 часов дня до 6 часов вечера 2 мая 1945 года. Не пойму, зачем «писателю и журналисту» потребовалось наводить тень на плетень, да еще устами самого Темина? Правда, литератор оговорился, что фотохудожник приболел, и больше рассказывала его супруга. Она могла что-то, конечно, напутать. Но чтобы так напутать, надо и впрямь быть не в своем уме. А может, все проще? Героев очерка уже давно нет среди нас, а сенсации нужны каждый день. Ну и выводят гуслиеры от журналистики мелодии, которые придумывают на ходу.

Они небезобидны, как может показаться на первый взгляд. Под аккомпанемент таких вот мелодий на Западе все настойчивее и настойчивее стараются внедрить в общественное сознание мысль о том, будто все, что мы знаем о победе, вымысел. На самом деле решающий вклад в разгром фашистской Германии и ее сателлитов внесли Соединенные Штаты Америки и сегодняшние их друзья с англо-французским акцентом. Послушать их, так Россия —местилище всемирного зла, у нее нет и не может быть достойных побед, нет и не может быть своих героев.

Обесценивание победы вымыслами о Темине тоже налицо, потому что все сводится к инициативе действительно талантливого, действительно пронырливого, инициативного фотокорреспондента. Не нашлось бы его, значит, не было бы снимка со Знаменем Победы над рейхстагом в «Правде»? Вы верите, читатель, что так могло случиться? Да ни при каких обстоятельствах! Четыре с лишним года страна ждала этого часа. Сотни дней и ночей наши войска сначала пятились до Сталинграда, а потом, теряя лучших сыновей и дочерей, нащупывали вражескую границу. Несколько лет мы уговаривали союзников открыть второй фронт. Несколько лет мы утверждали: «Наше дело правое, победа будет за нами!» Мы знаем щепетильное отношение Сталина к любому нашему успеху. И вдруг Сталин ни с того ни с сего машет рукой: мол, и без победных фотографий обойдемся?! Полная ерунда.

Вспомним канву событий того времени. Вопрос о победном знамени инициировал лично Сталин за полгода до окончания войны. Выступая 6 ноября 1944 года на торжественном заседании Моссовета, посвященном 27-й годовщине Октябрьской революции, Верховный Главнокомандующий заявил: «Советский народ и Красная Армия успешно осуществляют задачи, вставшие перед ними в ходе Отечественной войны. Красная Армия достаточно выполнила свой патриотический долг и освободила нашу Отчизну от врага. Отныне и навсегда наша земля свободна от гитлеровской нечисти. Теперь за Красной Армией остается ее последняя заключительная миссия: довершить вместе с армиями наших союзников дело разгрома немецко-фашистской армии, добить фашистского зверя в его собственном логове и водрузить над Берлином Знамя Победы».

Сталин не был оригинален. История боевых знамен как символов доблести, чести, мужества уходит в века. Славяне Древней Руси называли их стягами. Это были длинные гладкие шесты, на верхушках которых крепились пучки трав или конские гривы — «челки стяговые». Со временем «челки» заменили на заметное издали матерчатое полотно яркого цвета, крепившееся ниже навершия — железного копыя. Боевые полотнища с изображением священных фигур и символов — языческих, христианских, а потом и советских — вели воинов в сражения, вселяли уверенность в победном их завершении. 8 сентября 1380 года в ходе Куликовской битвы победу Дмитрию Донскому обеспечил засадный полк под знаменами опытных военачальников князя Владимира Андреевича и боярина Дмитрия Боброка. Летописец рассказывает: «Единомысленные же друзья выехали из дубравы зеленой, словно соколы приученные... ударили на великую силу басурманскую. А знамена их направлены крепким воеводою... и начали поганых они немилостиво рубить». Стоит закрыть глаза, вспомнить живописные полотна, ки-

нофильмы о далеком и не очень прошлом, и поплывут перед нами боевые стяги разных форм, цветов и размеров.

Традиции прошлого были приумножены на фронтах Великой Отечественной. Водружение штурмовых флагов зародилось в Красной Армии в ходе наступательных действий при освобождении и взятии населенных пунктов. Название знамени говорило о его назначении — воодушевлять воинов, осаждающих вражеские позиции. Нацисты на штурм со знаменами не ходили. Все фашистские штандарты, брошенные к подножию Мавзолея Ленина во время Парада Победы, были обнаружены в местах их хранения. Сталин, предложив водрузить Знамя Победы в логове врага, лишь логически завершил то, что уже давно закрепилось в войсках. В воспоминаниях некоторых военачальников фигурирует и такой факт: когда у Верховного Главнокомандующего спросили, где водрузить стяг, он указал на рейхстаг. Тоже логичное решение: с поджога рейхстага началось укрепление власти нацистов в Германии, а низложение парламента, падение Берлина становились символами ее конца.

Инициатива Сталина быстро обрела крылья. В начале 1945 года на одной из московских фабрик, используя бархат и позолоченную нить, изготовили специальное знамя — Знамя Победы. Мне довелось увидеть его в Центральном музее Вооруженных сил Российской Федерации. Тонкая работа действительно впечатляет. Полотнище окаймлял красочный орнамент. Вверху надпись: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Под ней орден Победы, а еще ниже и крупнее, в самом центре, Герб СССР, который обрамляют сталинские слова: «Наше дело правое, мы победили».

Но в том же музее хранится и Знамя Победы, которое действительно взметнулось над рейхстагом. Оно напоминает импровизированный, изготовленный в военно-полевых условиях Государственный флаг СССР. Это прикрепленное к древку прямоугольное красное полотнище размером 82 сантиметра на 188 сантиметров из самого обыкновенного материала. На лицевой стороне вверху, у древка, серебряные пятиконечная звезда, серп и молот, нарисованные с помощью трафарета, а на остальной части полотнища надпись белыми буквами в четыре строки: «150 стр. ордена Кутузова II ст. идрицк. див. 79 С.К. 3 У.А. 1 Б.Ф.». На обратной стороне полотнища в нижнем углу, у древка, — надпись № 5. Сотрудник музея объяснил, что сокращения вызваны нехваткой места на полотнище и расшифровываются как 150-я стрелковая дивизия ордена Кутузова II степени Идрицкая дивизия 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта.

Опять загадка. Намечали водрузить на рейхстаге впечатляющее знамя, а водрузили выполненный кустарным способом флаг. Но и тут есть своя логика. Фабричное знамя получилось громоздким и тяжелым. Как его доставить к месту водружения, простреливаемому со всех сторон, как водрузить, каким должен быть ветер, чтобы оно не обвисало, а победно реяло над рейхстагом? Тем более что водружать стяг надо было в ходе боевых действий, в условиях быстро меняющейся оперативной обстановки. Доставлять полотнище в Берлин не имело смысла.

Пришли к выводу: Знамя Победы лучше всего изготовить на месте. Так и поступили. В находившейся на направлении главного удара 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта в соответствии с количеством дивизий в составе армии изготовили девять знамен, пронумеровав каждое из них. Перед наступлением на Берлин от имени Военного совета 3-й ударной армии полотнища были вручены представителям стрелковых дивизий. 150-й стрелковой дивизии генерал-майора Василия Митрофановича Шатилова досталось знамя № 5. Этому знамени и суждено было стать Знаменем Победы.

Подробности боев за Берлин и рейхстаг, водружения над ним знамени опускаю. И написаны о них горы литературы, и очерк посвящен немного другой теме.

Да, в Ставке Верховного Главнокомандования водружению победного знамени над рейхстагом придавали особое значение. А фотокорреспондент Темин помог всему миру лицезреть, как это произошло, после чего нацисты со всей определенностью поняли, что иного пути, чем сдаться на милость победителя, у них нет. Было недвусмысленно продемонстрировано и союзникам, с какой армией, с каким народом имеют дело.

Виктор Антонович готовился к звездному часу страны и личному звездному часу тоже заблаговременно. Еще 1 марта 1945 года он представил главному редактору «Правды» план оперативной доставки снимков «Знамя Победы над Берлином» в Москву, удивляющий предусмотрительностью и обстоятельностью. В момент генерального наступления на Берлин вместе с передовыми частями Темин на одном из атакующих танков врывается в Берлин. Сделав съемку, пересаживается в «Виллис» и добирается до первого полевого аэродрома, где по жесткой предварительной договоренности ожидает самолет «У-2». На кукурузнике Темин попадает на другой аэродром, от которого до Москвы примерно 1800 километров. Отсюда на специальном самолете типа ДБ-3 или ТУ-2, которые могут лететь без посадки и дозаправки 4–5 часов, он следует в Москву. Экипаж должен уметь управлять техникой в любую погоду и ночью. На случай нелетной погоды его необходимо снабдить кислородными приборами, позволяющими летчикам занять высоту 8–10 тысяч метров.

О том, как выполнен план, свидетельствует сам Темин в книге «Журналисты рассказывают», вышедшей еще в 1973 году, поэтому нет необходимости что-либо домысливать. Запечатлеть исторический момент водружения Знамени Победы над рейхстагом в Берлине Виктор Антонович считал делом чести потому, что люто ненавидел фашистов, что, теряя друзей, прошел всю войну. А еще потому, что на его фотографиях гордо реют знамена победы, водруженные нашими войсками в боях с японцами у озера Хасан и реки Халхин-Гол, в Финляндии, на взорванных дотах линии Маннергейма.

В целом все шло по плану. Только не мог Темин предугадать, что нацисты начнут мешать сдаваться тем однополчанам, кто понял бесполезность сопротивления. Когда солдаты, находившиеся в подземельях метро, потребовали капитуляции, фашистские офицеры заперли их и пустили в подземелье воду. По этой причине сражение затянулось, пришлось выбираться из Берлина позже намеченного времени. Вторая неувязка выяснилась лишь в воздухе: по указанию командования в Янубе (Польша) предстояла пересадка на ночной бомбардировщик, который и должен был приземлиться на подмосковном аэродроме. Это потеря времени. Летчик по радио запросил у командования разрешения лететь в Москву. Ответа не последовало. Темин взял ответственность на себя, дал указание пилоту, не делая останки в Янубе, следовать в столицу. Летчик подчинился.

Дальше лучше процитировать Виктора Антоновича с небольшими купюрами. *«...Каждому летчику для перелета через границу Советского Союза ежедневно давали новый пароль. Так как мне самолет дали только до Януба, летчик пароля не знал. Пришлось с борта самолета дать радиogramму в Ставку Верховного Главнокомандующего о том, что везем важный материал о взятии Берлина и просим о пропуске нашего самолета через границу Советского Союза. Мы надеялись, что приказ зенитным войскам будет дан, пока мы подлетим к границе, но нас взяли в такие шоры, что, как потом выяснилось, наш самолет получил 62 пробоины. Пришлось болтаться в воздухе, ожидая приказа, еще полчаса... На высоте почти трех тысяч метров подлетаем к Наро-Фоминску. Даю последнюю радиogramму: «Настаиваем на посадке на Центральном аэродроме». Получаем сердитый ответ: «Вас посадят, где указано. Если не подчини-*

теть, Московская зона ПВО открывает огонь». И все же разрешили посадку на Центральном аэродроме. 2 часа 38 минут. На аэродроме ждет машина. Через полчаса уже вхожу в кабинет редактора тов. Поспелова. Подхожу к редактору и торжественно говорю: «Снимок Знамя Победы над рейхстагом в Берлине доставлен!» Трудно передать те минуты. Мы, конечно, все взволнованы, радостны. Часы в редакторском кабинете показывают 3 часа 10 минут.

А вскоре я уже держал в руках свежий номер газеты «Правда» от 3 мая 1945 года, в котором были напечатаны приказ Верховного Главнокомандующего о взятии Берлина 2 мая 1945 года и мои снимки: «Знамя Победы над рейхстагом в Берлине», «Митинг танкистов генерала Кривошеина у колонны Победы» и «Пленные немцы через Бранденбургские ворота возвращаются обратно в Берлин».

В 7 часов утра 3 мая мы взяли на борт самолета несколько тысяч свежих экземпляров «Правды». Бойцы-победители у стен рейхстага читали «Правду» в тот же день. Известие об этом стало сенсацией. Лондонское радио поспешило сообщить, что на улицах Берлина жители читают русскую «Правду», которая якобы была напечатана в Берлине. 4 мая газета «Таймс» опубликовала мои берлинские снимки, переданные по бильдаппарату из Москвы в Лондон. Наш корреспондент ТАСС из Лондона сообщил: в ранних изданиях «Ньюс хроникл», «Дейли телеграф энд морнинг пост» и других газетах на видном месте первых полос напечатаны мои переданные по бильду из Москвы фотографии.

Я, конечно, понимал, что маршал Жуков, давший мне свой самолет до Янува, очень сердит на меня за самовольный угон самолета в Москву. Но когда редактор Поспелов сказал мне, что Жуков дал приказ расстрелять меня за это, честно признаюсь, я порядком струсил. И все-таки я не мог поступить иначе. Народ должен был видеть наше алое Знамя Победы над поверженной столицей врага. Доставка снимка в редакцию была моим журналистским долгом, делом чести. Снимок должен был быть опубликован в день приказа о взятии Берлина! Только так, чего бы это мне ни стоило.

Когда я 3 мая летел в Берлин с газетами на борту, я решил объясниться с Жуковым. Я опасался одного: что арестуют меня раньше, чем я сумею с ним поговорить. Но Жуков принял меня. Я прошел прямо к столу, за которым он сидел, и положил перед ним газету «Правда» за 3 мая 1945 года с моими снимками. «Чтобы вовремя доставить редакции эти снимки, — начал я объяснять, — мне пришлось нарушить ваш приказ, товарищ маршал». Жуков взял газету, быстро просмотрел ее. Его нахмуренное лицо прояснилось. «За свою работу ты достоин звания Героя, — сказал он, — но за то, что угнал самолет..., — Жуков помолчал, посмотрел на меня и, безнадежно махнув рукой, улыбнулся и добавил, — получишь орден Красной Звезды».

Такова действительная разгадка «русского чуда», эхо которой находит отражение в домислах и легендах. Возможно, кое-что у читателей вызовет сомнение. Например, мог ли «обыкновенный» рядовой фотокорреспондент перечить самому маршалу Жукову? Мог. Внимательно просмотрев работы Темина, вы обязательно обнаружите на них Георгия Константиновича еще со времен боев с японцами на озере Хасан и реке Халхин-Гол. Между Жуковым и Теминим сложились добрые отношения, поддерживаемые не за счет Отечества, не в ущерб ему, а во славу его. Потому маршал мог простить Темину некоторые вольности, а Темин — легко пойти на них.

Он и впрямь был личностью в хорошем смысле изворотливой, неугомонной. Именно поэтому Виктору Антоновичу удалось запечатлеть подписание на линкоре «Миссури» Акта безоговорочной капитуляции Японии. Фоторабота классная, что называется, на все времена. Освещать знаковое событие, состоявшееся 2 сен-

тября 1945 года, прибыло около 200 корреспондентов из различных стран мира. Всем указали места для съемок. Советских журналистов поставили метрах в 70 от стола, где будет подписываться капитуляция.

Темин пришел в отчаяние. Телеобъектива у него не было. А это значит, что съемка обречена на провал. Многие наши журналисты выражали неудовольствие такой точкой, но продолжали оставаться на местах. Фотомастер пришел в ужас: если он не сфотографирует капитуляцию, газеты вынуждены будут печатать снимки английских или американских агентств. Этого нельзя было допустить. Надо было искать выход. Чтобы добраться до стола, где лучшая точка, нужно пройти три цепи охраны американских солдат. Что делает Темин? Подойдя вплотную к молодому парню из охраны первой цепи, он решительно протянул янки зажатую в руке банку черной икры. Тот улыбнулся и сказал: «О'кей», затем негромко окликнул товарища из второго кольца оцепления, показал банку и кивнул в сторону нашего искателя приключений — «О'кей».

Лучшее место для съемки занимали корреспондент и кинооператор одного из американских агентств. Для них у борта была сделана специальная площадка. Темин сразу оценил место и поднялся на площадку. Вновь процитирую воспоминания самого участника событий. «Сначала меня встретили недоброжелательно, но скоро мы уже хлопали друг друга по плечам, как старые друзья. Этому способствовал запас в моих карманах и сумке банок с черной икрой и московской водки, часть которых я тут же выложил, предложив распить за нашу победу после съемки, что и было с восторгом принято. Нашу оживленную беседу прервали два американских офицера: «Прошу вас удалиться на места, отведенные советским журналистам... Это место закуплено американскими агентствами, они уплатили 10 000 долларов, и если вы немедленно не уберетесь отсюда, то будете выброшены охраной за борт...». Я был возмущен, что делать? В это время к столу, где будет подписываться капитуляция, мимо меня прошли представители союзных стран. Я увидел, что на борт поднимается делегация Советского Союза, которую возглавляет прекрасно знающий меня генерал-лейтенант Кузьма Николаевич Деревянко. Я прорываюсь сквозь цепь охраны и бегу ему навстречу. Пристраиваюсь и, шагая рядом, шепчу: «Мне не дают места для съемки...». Деревянко, не оборачиваясь, тихо говорит: «Следуйте за мной». И я шагаю по палубе с делегацией Советского Союза. Офицеры идут сзади, не упуская меня из виду. Навстречу Деревянко выходит глава американской делегации Макартур. Деревянко представляет советскую делегацию.

— А это — специальный фотограф Сталина Виктор Темин, — говорит Деревянко. — Где вы хотите стать для съемки? — обращается он ко мне.

— Здесь, — уверенно говорю я и показываю на площадку, где расположились американские коллеги.

— Надеюсь, вы не возражаете? — обращается Деревянко к Макартуру.

— О'кей! — отвечает тот и взмахом руки как бы отсекает от меня следующих по пятам за мной двух офицеров. Я смотрю на них торжествующе, они отдают честь и уходят. А я забираюсь на подмостки и становлюсь напротив стола, где будет подписываться капитуляция. Я доволен: у меня всем точкам точка.

Никому из наших корреспондентов, как я и предполагал, снять это событие с той точки, где их поставили, к сожалению, не удалось. Николай Петров снимал с помощью телеобъектива, но остался недоволен снимком. Мой снимок напечатала «Правда». Редколлегия отметила мою находчивость, оперативность. Правительство наградило орденом Красной Звезды. Снимок хвалили мои коллеги. Я радовался, потому что это был последний снимок войны».

Пишу о Темине, удостоенном нескольких боевых орденов и медалей, звания «Заслуженный работник культуры РСФСР», конечно, потому, что симпатизирую этому выдающемуся фотомастеру. Не хотелось бы, чтобы доброе имя фотохудожника заслонил очередной рой легенд и домыслов, чтобы впредь кто-то имел основание небрежно бросить: «Ах, это тот, кого чуть не расстрелял Жуков?»

А вторая причина в том, что редко, очень редко мы вспоминаем о большой когорте военных журналистов и публицистов, среди которых были и Константин Симонов, и Михаил Шолохов, и Алексей Толстой, и Илья Эренбург, и многие другие непревзойденные литераторы, кинооператоры, фотомастера, мастера сочного очерка и живой, яркой корреспонденции. Это о них написанная на слова Константина Симонова песня:

От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы ни скитались мы в пыли,
С «лейкой» и с блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы прошли.

Это в их честь в Москве, перед входом в Центральный дом журналиста на Никитском бульваре, установлен памятник фронтовым корреспондентам, который буквально утопает в живых цветах.

Памятник в честь людей, которые не начинают войны. Но без последнего снимка, последней корреспонденции которых эти войны завершиться не могут.





Вера Костюченко

ВОЗВРАЩАЯСЬ ПАМЯТЬЮ В ТЕ ДНИ

(Главы из книги воспоминаний жительницы города Воронежа)

ЖУТКОЕ ЗРЕЛИЩЕ

Постепенно мы обустроились в селе. У меня появились друзья. По вечерам мы собирались во дворе, обсуждали разные новости. Моему появлению ребята всегда радовались. Однажды мы, поджидая остальных из нашей компании, обратили внимание на невероятный закат. Все небо на западе, над пирамидальными тополями, было в рыже-серых тучах. Солнце, которое уже начало садиться, было ярко-красного цвета и как луна без лучей.

Подошел кто-то из взрослых. И тут я услышала голос мамы. Она звала меня. Я повернулась, чтобы идти, и, продолжая смотреть на небо, с удивлением в голосе, громко произнесла:

— Почему голубое небо на востоке?

— Действительно, почему такого необычного цвета небо на западе, а на противоположной стороне голубое? — сказал кто-то из присутствующих и высказал предположение, что свет исходит со стороны Воронежа:

— Возможно, там что-то горит?

Я по лестнице, стоявшей возле нашего дома, стала быстро подниматься на крышу. За мной последовало несколько старших ребят. Мы, держась друг за

друга, поднялись на крышу, а потом стояли и молчали. Увиденное вызвало ужас и оцепенение.

— Что там такое? — спрашивали нас.

Мы хором ответили:

— Пожар! Огромный пожар! Воронеж горит!

— Не может быть, чтобы вот так! — послышались взволнованные голоса взрослых.

Ребята помогли мне влезть на толстые стены кирпичной трубы. Зрелище оттуда воспринималось еще более жутким. Высокой стеной, охватывая весь горизонт, все обозреваемое пространство, где был Воронеж, пылал невероятно яркий закат. Языки пламени лизали уже посеревшее небо. Глазам было больно смотреть на такой яркий свет. Цвет пламени переливался всеми оттенками от черно-красного до красно-золотистого. Периодически языки пламени столбами выплескивались из общей массы огня. Создавалось впечатление, что проснулся и извергается вулкан.

— Да что же там, говори? Почему молчишь? — услышала я как из далеко-далекого несколько женских и ребячьих голосов. Я не могла отвести взгляд от дальнего пожара, но почувствовала, что меня кто-то дергает за пальто. По-

смотрела вниз. Несколько пар глаз, моих новых друзей и взрослых, смотрели на меня.

— Там ужасный пожар! — произнесла я поникшим голосом. Мне помогли спуститься сначала с трубы, а потом и с крыши. Кто-то из старших ребят влез на трубу и стал громко комментировать увиденное. Взрослые молча смотрели, находясь в состоянии оцепенения. Когда ребята спустились, на крышу дома стали подниматься взрослые. Они смотрели, вздыхали и спускались, залезали другие. Они были удручены, расстроены, и эмоционально обсуждали увиденное:

— До горящего города десятки километров, а свет зарева достигает нас. Что там может так гореть и что может уцелеть после этого?

Отец не удержался от того, чтобы не побывать на крыше. Он подтвердил наше предположение. Все, кто здесь стоял, приуныли. А бабушка, когда ей сообщили, что город горит, даже заплакала.

Вечером мы, затаив дыхание, слушали разговоры наших летчиков и их друзей, находясь в кухне-столовой. Они говорили о горящем Сталинграде. Когда пришел отец, они перешли к нам, и разговор стал общим. Они вспоминали день 23 августа, когда город атаковало большое число немецких танков. Город подвергся также и сильной бомбардировке... От Сталинграда почти ничего не осталось...

Воронеж горел долгое время. Все вечера, после заката солнца, мы встречались на крыше и проводили оценку зарева. Было видно, что пожар не только распространяется, захватывая все новые и новые пространства города, но с каждым днем растет его интенсивность. Взрослые вечером подходили и спрашивали:

— Где горит? В какой стороне больше?

Мы отвечали, где появились новые языки пламени. Когда шел дождь, на крышу нам запрещалось влезать, да и толком что-либо разглядеть было трудно.

— Наш дом на окраине города, может, останется целым, — всякий раз успокаивающим себя голосом говорила бабушка.

ПРИКАЗ — НА ЗАПАД

Несколько дней спустя, кто-то из наших летчиков сказал, что их летная часть будет перебазирована на аэродром в только что освобожденной от врага области — на запад. С одной стороны, мы радовались, что враг отступал, а с другой — мы с грустью встретили эту новость. Мы привыкли к летчикам.

Накануне отъезда один из летчиков принес огромный тюк. Обращаясь к бабушке, сказал:

— Это парашют. Он из шелковой ткани. Сшейте себе кофточки, а этой... — он указал на меня, — ...артистке — платье. А так как метров здесь много, то поделитесь, с кем найдете нужным.

В первых числах февраля, перед их отъездом, у нас собралась большая компания, пели, танцевали, но во всем проскальзывала грустинка. Сожалели, что нет отца, его «Троек» и всеми любимой «Бани» М. Зоценко. В течение вечера несколько раз заходил разговор о том, что в ближайшее время военные будут носить погоны и вводится такое понятие, как офицер и солдат. Бабушка эти нововведения приветствовала.

На следующий день наши квартиранты поднялись рано утром и, уходя на аэродром, сказали:

— Мы специально оставляем свои вещи и вернемся за ними в середине дня, чтобы еще раз повидаться со всеми.

Они ушли. Время быстро пролетело. Когда в дверь постучали, а потом она открылась, на пороге стояли наши и несколько хорошо знакомых нам офицеров. Они выразили сожаление, что отец так и не приехал и они не смогут с ним попрощаться. Мне и Олегу дали по шоколадке. Маме пожали руку, бабушку обняли. Она перекрестила каждого. Потом они взяли свои чемоданы и ушли.

В небо, как я помню, самолеты взмывали по одному. Затем все тройками сде-

лали круг над усадьбой совхоза и улетали курсом на запад. Мы стояли, наблюдали за их полетом и махали вслед рукой, пока они все не скрылись в голубой дали.

Они улетели, а в центре сквера осталась братская могила, где были похоронены погибшие в боях за наш край. Вечная им память.

А подарок-парашют, по обоюдному согласию с мамой, бабушка отдала нашей соседке. Она хорошо шила. К ней часто обращались женщины с просьбой им помочь в этом деле. Передавая его, она сказала и о пожелании офицера.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Отец вернулся из командировки приблизительно в середине февраля. Выглядел очень уставшим и подавленным. На стол поставил рюкзак с продуктами, где была и квадратная банка с американской колбасой. На пол положил мешок, большой и не очень тяжелый.

После этого молча раздевался, умывался и завтракал. Затем сообщил, что его назначили главным агрономом треста зерновых культур Воронежской области и что для нашей семьи уже подыскивают квартиру. Без малейшего перерыва и на одном дыхании произнес, что в составе группы представителей города Воронежа несколько дней провел в Сталинграде. Потом развязал мешок, который принес, и оттуда вытащил два соломенных сапога. Мы с любопытством стали их разглядывать.

— А что с нашим домом? — спросила бабушка.

— Воронеж в руинах, все запорошено снегом, много заминированных улиц, от мин освобождают центр города. На обкомовской площади я застал две виселицы с качающимися веревками от ветра. Трупов я не видел, их уже сняли и захоронили. Много убитых в Петровском сквере. В сквере Кольцова немецкое кладбище с березовыми крестами. Немцы, убегая, сжигают села, стоят только трубы, жители живут в погребках и землянках.

И обратившись опять к соломенным сапогам, сказал подавленным, не присутствующим ему голосом:

— Немцы спасались в них от наших русских морозов.

А потом все рассказывал и рассказывал о том, что видел в Сталинграде. На долю отца выпало видеть не только руины в прошлом зеленого и красивого города, но и огромное количество трупов убитых и замерзших. Он побывал в штольне — командном пункте командующего генерала Еременко и командарма Чуйкова. В подвале универсама на площади Павших борцов — командном пункте фельдмаршала Паулюса. Представитель города, сопровождавший их, рассказывал о самом трагичном дне Сталинграда — 23 августа 1942 года, когда город горел, как факел.

Бабушка несколько раз его рассказ прерывала словами:

— А что же с нашим домом, Воронеж тоже горел!

А он все рассказывал об ужасах, увиденных им в Сталинграде, и отвечал на вопросы присутствующих.

— Ну, а как наш дом? — спросила бабушка в очередной раз, уже с раздражением. — Почему не рассказываешь?

Вопросы присутствующих перешли на тему о Воронеже. Отец еще более помрачнел. Нехотя, как бы выдавливая из себя слова, произнес:

— Нашего дома я не видел. Там я был два раза... Первый раз показалось, что дом цел, но сильно занесен снегом. Второй раз, когда был у школы №29 и оттуда разглядывал, то понял, что дома нет... Да, дома нашего больше нет, лежит гряда разбитого кирпича, запорошенного снегом.

— Как нет дома?! — воскликнула бабушка. — Ведь ключи у меня в кармане!

Она приподнялась, вытащила их из кармана, потом села. Какое-то время, продолжая сидеть, она держала их на весу перед нами. Потом поднялась и стала ходить, разговаривая сама с собой. В ее голосе звучал трагизм и безнадежность:

— Не может быть, что дома нет. Ключи ведь у меня. Не может быть такого! — Но, потеряв всякое присущее ей самообладание, разрыдалась: — Где же теперь мы жить будем?..

Смотреть на нашу бабушку, всегда и при любых обстоятельствах умевшую себя держать в руках, теперь было страшно и больно. Родители молчали. А она отказывалась принимать за действительность слова, сказанные отцом.

Всю эту ночь она проплакала. Мы с мамой держались, старались не плакать. На следующий день она отказалась завтракать. Ночью опять плакала и плакала. Утром следующего дня сказала:

— Это так случилось все потому, что я уехала из своего дома. Надо было оставаться...

А днем мы получили от Андрея письмо. Он писал, что награжден орденом «Красной Звезды» (приказом от 14.1.43 г.).

Отец радостно сказал:

— Молодец.

А лицо его оставалось грустным. Утром следующего дня он уехал.

На карте, которая висела на стене, красным кружком были отмечены три города — Воронеж, Сталинград, Ленинград.

ВСТРЕЧА С РАЗРУШЕННЫМ ГОРОДОМ

Состав остановился на первом пути на железнодорожной станции Воронеж. Двери теплушки открылись. Все помогали друг другу выйти из вагона и снять вещи на перрон. Мы с мамой спустились сами. Вещи нам подал Паша и сказал:

— Спасибо за валенки. Они теплые.

Перрон, освещенный несколькими, далеко расположенными друг от друга лампочками без плафонов, быстро заполнялся приехавшими. Спустившись, люди потом стояли, продуваемые холодным ветром, и смотрели по сторонам. На всем обозреваемом пространстве зданий не было видно. Лежали бугры разной

конфигурации, припорошенные снегом. Мы, в общем потоке по узкой полоске перрона, отправились в сторону предполагаемого вокзала, к уличному фонарю. В этом месте тропинка раздвигалась. Одна развилка уходила к привокзальной площади, которая была занята встречающими. Надо думать, что люди пришли с надеждой встретить кого-нибудь своих. Я поворачивала голову и пыталась найти здание вокзала. На столбе, у которого мы остановились, висел лист фанеры. Крупными буквами на нем было написано: «Зал ожидания». Стрелка, нарисованная внизу, указывала в сторону Курского вокзала, где виднелся длинный барак, а на его стене такая же табличка. На столбе, кроме этого, я обнаружила массу наклеенных кусочков бумаги различной величины. Из-за слабого освещения, прочитать, что там написано, было невозможно. Вдруг я услышала:

— Маня!

Старуха с козой, она шла впереди нас, остановилась. К ней подбежала женщина в черной фуфайке и платке на голове. Обнялись и заплакали.

— Как там мои? — спросил наш попутчик. Обе женщины засуетились. Его они как бы не слышали и не замечали.

В это время маму окликнули. Из группы встречающих к нам подошел наш шофер. Он взял вещи, и мы направились по узкому проходу на привокзальную площадь. Я продолжала смотреть на наших попутчиков, которые торопливо ушли в сторону улицы Ленина.

— Наверное, семья и дом этого молодого человека погибли. Вот почему женщина на его вопрос о его семье, промолчала. Она не хотела первой сообщать ему плохую новость, — сказала мама.

Привокзальная площадь освещалась несколькими лампочками без плафонов и выглядела маленькой. Зданий, которые окружали ее раньше, не было. На их месте виднелись разной величины бугры, припорошенные снегом. Пока мы шли к машине, а потом и сидели в нее, я спросила у шофера о листочках

бумаги, наклеенных на столбе. Шофер объяснил мне так:

— Это справочное бюро. Живущие здесь и приехавшие оповещают о своем месте жительства.

Мы ехали медленно по трамвайному пути и смотрели по сторонам, но было темно и не видно, что делается вокруг. На протяжении всего пути следования то мы, то нам уступали дорогу машины и люди. Водитель сказал:

— Проезжая часть улицы очень узкая. Расчищают трамвайный путь. По обе стороны дороги, по которой мы едем, лежат кирпичные конгломераты и щебень. Днем вы их увидите.

У здания мединститута мы уступили дорогу встречной машине, которая осветила два сохранившихся памятника, стоявших у его главного входа. У кадетского плаца дорогу нам уступила женщина, спешившая в сторону вокзала. Когда фары нашей машины осветили Петровский сквер, водитель сказал:

— Памятника Петру нет. Немцы его увезли. Остался только якорь.

Проезжая часть проспекта Революции тоже была очень узкой. Ее освещал свет фар нашей машины, выхватывая из темноты груды камней, покрывающих собой весь тротуар с обеих сторон. Фигурки прохожих останавливались, давая возможность нам проехать. Около Дома Красной Армии, кроме крупных обломков разрушенных зданий, были деревья, обгоревшие и искореженные, но еще стоявшие, и кучи собранных. Наконец, машина обогнула Кольцовский сквер, потом повернула на улицу Плехановскую, потом еще один поворот. Свет фар осветил небольшой целехонький двухэтажный домик, а за ним два дома барачного типа.

— Приехали, — возвестил шофер.

Мы вышли. Наша квартира находилась в одном из этих барачков. Во дворе такое же здание (теперь на их месте находится детская музыкальная школа). У хозяйки квартира из двух комнат. Нам она сдала дальнюю, сама с сыном моих лет разместились в проходной комнате. В нашей комнате уже стоял стол и

две железные кровати с матрасами, набитыми соломой. На столе лежали продуктовые карточки и журнал «Огонек». Мы выпили по стакану горячей воды и легли спать. Спали как убитые.

Утром хозяйка вводила нас в курс городских порядков. Она поведала, что согласно требованиям, предъявляемым к прибывшим в город, нам необходимо пройти санобработку в бане, расположенной на Кольцовской улице. Там, после того как мы искупаемся, а вещи пройдут санитарную обработку, нам выдадут талон, на основании которого, мы будем поставлены на учет, получим продуктовые и хлебные карточки.

Мама поблагодарила ее за информацию, после чего мы взяли нужные вещи и отправились в баню. Вышли на улицу. Перед глазами развернулась ужасающая картина. От дома на улице Никитинской, где нам предстояло жить, до улицы Фридриха Энгельса, где был базар, весь этот квартал представлял бугры разной величины, хорошо припорошенные снегом. Стояло несколько развалин частных домов, с уцелевшими печками, и огромные кучи щебня под снегом. Мало пострадал двухэтажный дом около наших барачков. В нем потом долгие годы была детская больница. Уцелел красный магазин. Его сохранившиеся стены с черными языками копоти от пожара испещрены выщерблинами от осколков. Стоит краеведческий музей. Во дворе много соломы и навоза. В нем была конюшня. В здание входить не стали. Смириться с увиденным было трудно. Минуя развалины, мы быстро дошли до старой городской бани, которая не одно десятилетие простояла на углу Плехановской и Кольцовской. От нее и дальше во все стороны — вплоть до площади «Застава», до парка «Живых и мертвых», до вокзала Воронеж-1 — виднелись развалины с уцелевшими трубами. Все было основательно припорошено снегом. Когда он стал таять, несколькими днями позже, все увиденное выглядело еще ужаснее.

ГОРОД В МАРТЕ 1943-го

После приезда в домашних хлопотах прошло два дня. К тому времени, со слов папы, был разминирован только центр города. Поэтому осмотр его мы начали с главной площади города, а потом шли по пустынным улицам, где это было возможно, и смотрели по сторонам. Я не представляла и не готова была к тому, что увидела в течение того дня.

На площади 20-летия Октября (с 1956 года площадь носит имя Ленина) от здания областной библиотеки и обкома партии остались только стены с языками копоти и груды щебня перед ними, припорошенная снегом. На самой площади мы обошли несколько воронок. Памятник Ленину стоял на прежнем месте.

В сквере Кольцова было много пеньков срубленных деревьев. Стояло много березовых крестов и два чугунных. Фонтан сохранился, большая часть фигур детей пострадала. Памятник поэту Никитину уцелел. От гостиницы «Воронеж» остались только закопченные стены. Через глазницы окон «Утюжка» было видно, что внутренних стен и перекрытий нет. Они сгорели. У драматического театра юго-западная стена и угол отсутствовали. Пострадало здание Государственного банка.

Мы шли по проезжей части проспекта, уступая проезжавшим машинам, и глядели по сторонам. Не было видно ни одной сохранившейся крыши. Мы видели только коробки зданий с широкими языками копоти на них и выбоинами от артобстрелов. Та же участь постигла и старинные здания, которые всегда украшали проспект Революции.

На всем обозреваемом пространстве здесь уже шли работы по расчистке проезжей части. Она была узкой и извилистой от конгломератов кирпичей, разрушенных зданий и большого количества щебня. Машины на ней в некоторых местах разъезжались с трудом.

Относительно сохранившейся выгладела гостиница «Бристоль». На ее первом этаже рабочие уже вставляли окон-

ные рамы. Потом там долго существовала почта. Здание Дома пионеров в развалинах. В прошлом красивая площадь перед ним вся в воронках от разрывов бомб. Лестница Помяловского спуска к реке разворочена и без ступенек. Вдоль всей улицы стояли искалеченные деревья. Когда потеплело, их выкопали и вывезли. На тех местах потом были высажены новые.

У телеграфа, тоже пострадавшего, лежала огромная куча щебня, битого стекла и куски кирпича с цементным раствором. Около нее стояли две грузовые машины. Тротуар, очищенный в этом месте, был весь в выбоинах. Женщины лопатами бросали строительный мусор в кузова этих машин, куча на глазах уменьшалась. Одноэтажный дом с колоннами перед главным входом (до революции в нем проводились Семейные собрания) сгорел изнутри. Цел, но очень пострадал дом со львами и угловой дом губернатора (пр. Революции и ул. Чайковского). У здания Юго-Восточной железной дороги от артобстрелов и бомбежек разрушено более половины стен, а те, которые целы, в языках копоти.

В Петровском сквере много пеньков и покалеченных деревьев, но целы кусты желтой акации, обрамляющие сад. Чугунные ворота Первомайского сквера сорваны с петель. От музея изобразительных искусств остались стены с широкими черными языками копоти на них. Целым было здание технологического института. Красный дом по улице Степана Разина с подворотней и двумя каменными флигелями во дворе пострадал мало. Сохранилось здание на углу проспекта Революции и улицы Кольцовской, где теперь гарнизон. Какое-то время там был кинотеатр. Уцелело здание XIX века с красивым фасадом через дорогу от него.

От элеватора осталась только коробка. Здания вокзала Воронеж-1 практически не было. На его месте лежали конгломераты из кирпичей, припорошенные снегом. А вот привокзальная площадь за эти три дня, как мы приехали,

заметно увеличилась. Шли работы и в тот день, когда мы там были. Все службы вокзала размещались в двух небольших уцелевших бараках, расположенных ближе к Курскому вокзалу. В одном из них были железнодорожные кассы, в другом — зал ожидания. Мы вошли туда. У касс огромные очереди. В зале ожидания много людей. Здесь приехавшие вечером ночевали. Утром они уходили в город на поиски своих родных и знакомых. Ночевали и те, кто ждал поезда и ехал дальше. Касса для военных была с отдельным входом. Туда мы не заходили.

По трамвайным путям, которые расчищали женщины, мы пошли дальше. Разбирались и завалы по пути трамвайной линии от железнодорожного вокзала к мединституту и проспекту Революции. У основного корпуса медицинского института часть здания, обращенная в сторону вокзала, отсутствовала. Оба памятника, нашим вождям, стояли на своих местах. Один из них пострадал. Левая часть головы памятника Сталину отсутствовала. Ее прикрывал небольшой ящик из узких дощечек, сверху покрытый снегом. Издали создавалось впечатление, что на голове большой берет, который спускается до плеча. Так он простоял очень долго.

Мы побывали на нескольких улицах, идущих параллельно центральной. Ни одной сохранившей свою былую красоту не нашли. Стояли кирпичные коробки с языками копоти и грудями битого кирпича, щебня и битого стекла перед ними. Деревянных домов не было видно. Они все сгорели. На их месте стояли остовы печек. И все было прикрыто снегом.

От необыкновенно красивого города ничего не осталось. Все увиденное произвело тяжелое впечатление. Центр города как таковой был уничтожен. Следы огромных разрушений и пожаров видны повсюду. Мама сказала:

— Это, наверное, следы того пожара, который мы видели в сентябре 1942 года с крыши дома.

Вернувшиеся жители ютились в уцелевших подвалах разбитых домов, стоявших без крыш, в землянках, Обустраивали траншеи, вырытые в 1941 году. Окна более-менее уцелевших домов забивали фанерой, досками или мешками с соломой. Оттуда торчали трубы печек-буржук. Они на базаре долгое время оставались дефицитным товаром.

Наш поход в тот день завершился, когда стали встречаться таблички с надписями: «Осторожно: мины». Это было на спуске к дедушкиному дому. Несколько предупредительных надписей «Мины», написанных масляной краской на фанерных дощечках и установленных вдоль тропинки, заставили нас вернуться.

С высоты железнодорожной насыпи мы увидели, что через реку Воронеж установили понтонный мост. А Чернавский мост представлял собой развалины, искореженные конструкции его висели над водой или торчали из речки.

Встретили нескольких знакомых, недавно вернувшихся в город. И друг другу задавали один и тот же вопрос:

— Все ли живы? Цел ли дом?

Ответы и реакция на них была разной. Отвечала мама. Я отходила в сторону или молчала. Каждый раз мне хотелось плакать. Я после этого похода заикаться стала сильнее.

— А как выглядит наш дом? — подумала я. Задать этот вопрос маме боялась. Вечером отцу, вернувшемуся со службы, мы рассказали в два голоса о том, где были и кого встретили.

— Да, город практически полностью разрушен, нет зданий, которые не пострадали бы, — выслушав нас, сказал он.

— А от нашего дома хоть трубы остались? — неожиданно спросила мама каким-то странным голосом.

— Нет, — коротко ответил он.

ШКОЛА № 9

Через несколько дней после нашего приезда я отправилась в женскую школу № 9. Она располагалась на одном этаже здания, на другом — мужская № 35.

Стена, обращенная к кладбищу (теперь на том месте телецентр), была разворочена снарядом. Огромная дыра входной двери была забита двумя кусками фанеры. Проемы окон заложены кирпичами. В классе все время горели электрические лампочки, стояла печь, здесь же лежали дрова. Печи топили и днем, и ночью. Когда я вошла в класс, там было тепло.

В коридорах школы с каждым днем увеличивалось количество учениц. Быстро пополнялся и наш класс. В нем собрались девочки разных возрастов. Все с вниманием отнеслись к тому, что я медленно говорю и отдельные слова произношу порой по слогам. Заикалась я долго, но постоянно работала над исправлением недуга.

Все вновь пришедшие девочки на большой перемене в школьной библиотеке получили книги и по несколько тетрадей. Я взяла только тетради. Книжки по всем предметам у меня были. Наша учительница всех опросила, кто был в эвакуации и где теперь живут семьи, вернувшись. Ответы уточнялись у родителей, после чего заносились ею в классный журнал.

На первых уроках по всем предметам учителя уточняли, что мы знаем. Если на уроках русского языка и арифметики мы, стараясь, что-то вспоминали и, соответственно, отвечали, то чистописание... Все разучились писать. Но мы охотно помогали друг другу. Отметок нам не выставляли, но похвалили всех. Через несколько весенних каникулярных дней мы сели опять за парты. В конце марта число горожан, вернувшихся в город, резко возросло. Пополнился и наш класс. Одна из вновь пришедших девочек, войдя в класс, сразу подсела ко мне. Мы с ней подружились. Ее звали Эмма.

Люди возвращались в город, и если их жилье было разбито, они занимали первый попавшийся подвал или развалины дома и указывали свой новый адрес. Кто занимал первым эту площадь, тот и становился ее хозяином. Потом,

когда они начинали строиться, им по лимиту выделяли стройматериалы.

Чуть позже в уличных колонках появилась вода. Потом зазвенели трамваи, где были расчищены трамвайные пути. Жизнь налаживается, говорили горожане. На стенах в подворотнях увеличилось число листочков, например: «Мама, я теперь живу у тети Сани. 8.3.1943 г. Маша».

В это время папа привез Олега к нам. Бабушка еще оставалась в совхозе. В поисках дедушки на стене железнодорожного вокзала и на стене подворотни Кольцовской бани мы тоже оставили свою записку: «Дедушка Ваня, мы живем в бараке по улице Никитинской, напротив базара. Виктор, Петя, Нина».

Потом, посещая баню, мы, прежде всего, подходили к нашему листочку.

В ПОИСКАХ ДЕДУШКИ

В одно из воскресений мы отправились с мамой вновь к дедушкиному дому. Снег растаял, видны были тропинки, на их обочине теперь стояли дощечки со словами, написанными масляной краской: «Мин нет». Внизу указана фамилия минера, разминировавшего эту территорию.

Без особых приключений мы спустились с железнодорожной насыпи к улице Луначарского. Мама шла по тропинке, я сбоку, где еще виднелась прошлогодняя трава. Все дома на улице и четвертый дом от угла — дедушкин, целы. Стекла во всех рамах окон целы. Калитка висела на одной петле и болталась от резких порывов ветра. Из трубы флигеля, деревянного и не пострадавшего, змейкой вился дым.

Мы вошли во двор. Уличная дверь дома открыта настежь. В сенцах лежали дрова и поломанная мебель. Из приоткрытой двери дома пахнуло... лошадиным потом. Мы обошли все комнаты. В одной из них сложено много сена, в двух других на полу солома и сено перемешены с конским навозом, несколько опрокинутых ведер. На дне бадьи было немного воды. Здесь же валялась по-

рванная уздечка. В спальне в шкафу мужская чужая одежда, на кровати разбросаны носильные вещи.

В библиотеке на полках ничего не было. На полу вместе с грязным нижним мужским бельем валялось несколько номеров немецких газет и фотографии. Я подняла одну из них и хотела взять с собой, но мама мне не велела это делать. На диване лежали тоже какие-то вещи. Письменный стол был заставлен кастрюлями, грязной посудой, пустыми бутылками, металлическими банками различной величины и формы. На подоконнике стояла десятилитровая бутылка с вишнями на дне. Дедушка ежегодно делал наливку из вишен. В кухне, у печки, лежали книги из его библиотеки и дрова, много грязной и битой посуды на полу. Серебряных ложек и подстаканника дедушкиного не было видно.

Соседка на наши расспросы сообщила, что немцы в августе 1942 года жителей их улицы выгнали из домов и погнали куда-то в сторону проспекта Революции. Ей удалось спастись, спрятавшись в погреб. Из ее рассказов, следовало, что дедушка и его вторая семья, возможно, погибли. Мы возвращались по улице вдоль домов, фасадом выходивших на железнодорожное полотно. Мама сказала:

— Ты представь, здесь шел дедушка. Немцы гнали людей, как стадо. Сколько горя свалилось на них. Давай свернем отсюда.

Короткими улочками мы добрались до Девичьего базара. Потом шли по улице Сакко и Ванцетти, мимо улицы Дурова. На одной из этих улочек сохранилась маленькая баня. Из ее трубы шел дым. Стояла Введенская церковь. У серого дома, на углу улиц Сакко и Ванцетти и Большичного переулка, мы невольно остановились. Через проем двери, выходившей на улицу, был виден развороченный снарядам угол. На диване, стоявшем в том углу комнаты, под обломками лежал труп врага в офицерской шинели. Оттуда пахло тленом. Мы поспешно ушли.

Недолго постояли на Манежной площади, вспоминая, как 19 июня 1942 года уезжали из Воронежа в эвакуацию. Оставшуюся часть дороги до квартиры, мы молчали.

ПЕСЧАНЫЙ ЛОГ

Неделю спустя отец сообщил, что за городом, в Песчаном Логу, начали раскапывать захоронение. О его находении сообщила женщина, каким-то чудом оставшаяся в живых. Немецкая пуля ее только ранила. Она рассказала, что фашисты туда свозили раненых из госпиталей, а также стариков и детей со всего города. И всех уничтожили.

В Песчаный Лог потянулись горожане в поисках своих родных, отказавшихся уезжать и оставшихся на насиженных местах. Те, кто уже был там, рассказывали, что узнать родного человека возможно, но чаще по одежде. Отправились и мы с папой, искать дедушку. Мама ехать с нами отказалась.

Была вторая половина дня. Уже ближе к Логу, по пути следования в ту и другую сторону, шли люди, одетые в черное. На лицах озабоченность и сосредоточенность. По этой веренице и угадывался путь. По мере приближения к Логу в воздухе появился дурмящий запах тлена. Когда приехали на место, машину оставили с шофером, а сами отправились к логу, где часть захоронений была уже раскопана.

Издали было видно, что по сторонам оврага небольшими группами лежат трупы, а люди поочередно их обходят. Сначала долго стоят, наклоняются, поворачивают трупы, а потом медленно идут дальше. Мы с папой и двумя женщинами подошли к близлежащей группе из пяти трупов. Одним из них был подросток. Перед глазами предстала ужасающая картина. У всех черты лица были изменены тлением. Я не совсем осознавала того, что видела. Мы, вглядываясь, искали знакомые черты. Я искала дедушку. На голове у всех скатавшиеся волосы. На ногах только носки. Одежда — пальто, брюки, платья, коф-

ты, — все со следами запекшейся на ней крови, своей и чужой. Женщины долго разглядывали одежду подростка, поворачивали его, потом положили на спину и отошли.

В какой-то момент меня стала колотить дрожь и затряслись руки. Тленный запах усиливал это состояние. Видеть молодую женщину, подростка, ребенка, старика и не жалеть их, не сопереживать тем, кто потерял родного человека, было невозможно. Мы обошли все трупы, извлеченные к тому времени. Среди них было трое детей. Я заплакала. При нас труп мальчика двенадцати лет родственники с трудом опознали, переложили на синее пикейное одеяло и забрали с собой. Я все время боялась обнаружить дедушку, но его тут не было. На душе стало легче.

После осмотра все шли к зарослям прошлогоднего бурьяна, где еще сохранились небольшие участки снега. Им терли руки. Вымыли руки и мы, после чего покинули лог.

Шофер задал папе несколько вопросов по поводу того, что мы видели, но получил односложный ответ:

— Бессмысленная смерть. Всех жаль.

Всю дорогу до дома мы молчали. Меня преследовал запах.

Прежде чем войти в квартиру, верхнюю одежду мы встряхнули на улице, стараясь избавиться ее от запаха, и оставили в сенцах. Когда вошли в комнату, мама стояла, опираясь о стол, и со страхом смотрела на нас. Было видно, что она боится услышать плохое. Папа, закрывая за нами дверь, сказал ей:

— Отца там нет.

В результате этого посещения я стала сильнее заикаться, одна боялась находиться в темной комнате. Лог преследовал меня во сне. Я видела на снегу трупы и склонившиеся над ними фигурки плачущих людей. Я кричала, мама будила меня. Запах тления еще долго преследовал меня. Отец потом сожалел, что меня взял с собой.

Работы в Песчаном Логу вскоре, из-за установившейся жаркой погоды, были прекращены до осени. В октябре

1943 года местные газеты напишут, что в августе 1942 года в Песчаном Логу немцы расстреляли 422 горожанина, в том числе 35 детей.

9 МАЯ 1945 ГОДА — ДЕНЬ НАШЕЙ ПОБЕДЫ

Нас разбудил шум в стороне Раевских казарм. В открытые форточки окон донеслась внезапно возникшая оружейная стрельба и хор молодых мужских голосов, кричавших:

— Ура! Ура! Победа!

На часах было 4 часа утра. Первой на улицу выбежала хозяйка, за ней, одеваясь на ходу, отец. Вскоре папа вернулся и с порога крикнул:

— Война кончилась! Слава Богу, Андрей жив!

Мы оделись. Потом долго стояли на крыльце дома и радостно взирали на окружающее нас. Все окна Раевских казарм были открыты настежь. Оттуда выглядывали солдаты в белых рубашках с длинными рукавами. Кто-то из них размахивал руками, кто-то стрелял из табельного оружия и все хором кричали:

— Ура! Ура! Победа! Война кончилась! Германия подписала акт о своей капитуляции!

В 9 часов утра Юрий Левитан еще раз повторил сообщение о капитуляции Германии.

Весь день по радио передавали танцевальную музыку, марши, песни военных лет в исполнении любимых певцов.

Несмотря на то, что день был пасмурным и временами накрапывал мелкий дождик, уже к 11 часам дня принаряженные горожане заполнили все тротуары проспекта Революции. У некоторых дам в руках были цветные зонтики от дождя. Это было тогда большой редкостью и неожиданностью, что могут быть и такие зонтики. Весь день на проспекте был праздник. Из окон домов на полную мощь звучали патефоны и радиоприемники. Праздничная музыка аккомпанировала перезвону наград на груди военных. Многие из них музици-

ровали на своих красивых аккордеонах. Тут же кто-нибудь исполнял любимую песню или танцевал.

Горожане поздравляли друг друга с Победой. Женщины обнимали всех подряд встречающихся военных. У многих на глазах были слезы. При встрече все обнимались и в первую очередь спрашивали:

— Все живы? Цел дом?

При любых ответах реакцией зачастую были слезы. Одни плакали от того, что потеряли близких, а другие — что, много пережив, остались живы. Празднество растянулось от театра имени Кольцова до Первомайского сквера. Мы встретили большинство своих знакомых, старых воронежцев. Отец с нами был недолго, сказав к которому часу придет, ушел. Уже когда мы с мамой собрались возвращаться домой, к нам присоединилась бабушка Нина. Гуляющие стали расходиться, как я помню, поздно. Медь духовых оркестров гремела далеко за полночь.

Праздничный стол сервировали мама вместе с хозяйкой. Я помогала. Мы поставили красивые тарелки и вазы, рюмки, разложили вилки с ножами и салфетки из ткани. Когда отец пришел, стол был уже накрыт. Можно было садиться. По радио звучала веселая музыка. Какое-то время мы ждали прихода Геннадия с семьей, но они не пришли. За столом разговор шел на разные темы. Все было праздничным — и настроение, и вкусные блюда на столе. Родители вспоминали, как некоторые женщины, особенно пожилые, трогательно обнимали и целовали военных. Те стойчески

все это переносили, понимая, что люди видят в них не вернувшихся с фронта сыновей, мужей.

Вечером во дворе Раевских казарм военными был устроен фейерверк. Они стреляли долго. В небо взлетали гроздьи светящихся ракет. Зрелище было красивым.

— Война кончилась! — кричали все хором.

Потом майские газеты сообщили, что 24 июня 1945 года в Москве на Красной площади состоится Парад в честь Победы над фашистской Германией.

А чуть позже мы узнали, что в списках представителей от Воронежской области, уезжающих в Москву на Парад, есть и фамилия отца. Для него это была первая поездка в Москву после войны. Бабушка на это сообщение отреагировала так:

— Расходы не запланированные, но надо срочно купить костюм и обувь.

В ближайшее воскресенье родители отправились на базар-толкучку у «Заставы». Папе купили костюм, рубашку, галстук, ботинки. Когда он все это надел, все радовались вместе с ним. Мы давно не видели папу таким элегантным.

Делегация от Воронежской области уехала в Москву за несколько дней до торжества. Из поездки отец вернулся в приподнятом настроении. К нам приходили родственники, знакомые, соседи, и всем он охотно рассказывал об увиденном им и пережитом, чему был свидетелем.





Андрей Объедков

БЕЛОЧКА-ПАРТИЗАН

По жизни я встречал много интересных людей, к которым, несомненно, отношу Нину Николаевну Казьмину, жительницу города Красный Луч Луганской области, что на Украине. Она воевала в партизанском отряде известнейшего Сидора Ковпака, после Великой Отечественной войны работала в школе и коллекционировала... азбуки на национальных языках всех бывших союзных республик. К сожалению, с развалом Советского Союза у меня прервалась и связь с Ниной Николаевной. Но одна незатейливая история, которую поведала она мне, останется в памяти, наверное, навсегда.

— В самый разгар войны, — рассказывала Нина Николаевна, — партизанское соединение дважды Героя Советского Союза Сидора Артемовича Ковпака совершало рейды по тылам врага. Партизаны громили вражеские эшелоны с техникой и живой силой противника, полицейские участки, нападали на гитлеровские гарнизоны, нанося немалый урон фашистам.

«Ночка темная — подружка партизана», — шутили бойцы. И действительно, ночью отряд всегда в движении, всегда в походе, постоянно вытягивалась колонна из сотен повозок или саней, в зависимости от погоды и времени года. Передвигались тихо, бесшумно. Даже лошадей подбирали тихих, спокойных, чтобы случайно не выдали себя ржанием.

И вот где-то в Белоруссии, после долгой дороги, под утро мы остановились на привал.

Лес старый, деревья высокие, верхушки раскачиваются и шумят. Партизаны разожгли костер. Дым столбом

поднялся вверх. И вдруг... чуть ли не в самый огонь упал с высокой сосны какой-то комок. Ребята, сидевшие у костра, схватили его. Это был маленький бельчонок. Он весь дрожал от страха, даже не пытался вырваться. Решили его оставить в отряде, а воспитывать поручили мне, поскольку я год проработала учительницей.

Итак, эта белочка — «подарок с неба», как мы ее окрестили, стала жить вместе с нами, ездила на повозке, где находилось продовольствие и рация.

Она очень любила тепло, подолгу спала в рукавице, сшитой специально для нее. Спала она крепко, свернувшись в клубок, и очень смешно прикрывала мордочку пушистым хвостиком, словно одеялом. А проснувшись, зверек любил забираться к кому-нибудь в карман или под шинель. Ел бельчонок вареные и сырые яйца, сало, сухари, консервы. Не знаю, как он относился к сахару — этого лакомства у нас не было.

Так и ездил с нами бельчонок, участвуя в рейдах и переходах по тылам

врага. Когда была спокойная обстановка, я и моя подруга Нина, тоже радистка, отпускали зверька погулять и поиграть. Белочка очень ловко бегала по стволам деревьев, брала с рук угощенье, но давалась не всем — знала только нас и ездового Андрея.

Интересно было смотреть, как она бегаёт по туловищу коня, быстрыми прыжками несется по спине, по ногам. Лошади вначале вели себя беспокойно, кожа на их теле вздрагивала. А потом они привыкли к «белочкиным путешествиям».

А однажды зверек забрался на высокое дерево. Неожиданно появилась какая-то крупная птица, стала нападать на бельчонка. Налетели сойки, раскричались на весь лес. Пришлось отгонять птиц... выстрелом из пистолета. Они разлетелись, а белочка мгновенно спустилась к нам в руки. Сердечко ее билось часто-часто. Она юркнула в рукавицу и долго не вылезала оттуда...

Прожила белочка с нами до лета. И однажды случилось непредвиденное... Как всегда, выпустили мы ее погулять, а тут приказ: срочно покинуть это место, начался обстрел. У нас не было времени искать белочку, мы еле успели свернуть радиостанцию. Звали ее, звали, но она не появлялась. Так и осталась в том лесу у речки...

Долго ее вспоминали партизаны, думали-гадали, беспокоились: найдет ли себе корм, сумеет ли прожить, постоять за себя?..

Казалось бы, такое жесткое было время. Мы были беспощадны к врагам. Мы научились, скрепя сердце, переносить потери друзей. Вовсе было не до сантиментов... Да только и на войне не переставали люди, посуровевшие в тяжелых испытаниях, оставаться людьми, готовыми уберечь от гибели все живое. Неистребима тяга человека к доброте и заботе.





«ЛИНИЯ ФРОНТА — ЛИНИЯ СЛОВА»

Литературно-патриотическая акция редакции журнала «Подъём» и Воронежской организации Союза писателей России «Линия фронта — линия слова: воронежская литература о Великой Отечественной войне» стала заметным событием юбилейного Года памяти и славы, года 75-летия Великой Победы

К ШТЫКУ ПРИРАВНЯЛИ ПЕРО

Первый писательский десант «высадился» в Хохольском районе. Состав бригады — директор-главный редактор «Подъёма» и он же руководитель областной организации СП России Иван Щёлоков, писатели Евгений Новичихин, Виталий Жихарев, Виктор Будаков, Юрий Кургузов, Вячеслав Лютый. В большом старинном селе Хохол литераторы посетили мемориал, где минутой молчания почтили память воинов, погибших в боях за Родину: из 15 тысяч ушедших на фронт жителей района домой не вернулись более 7 тысяч человек.

Село Хохол возникло в конце XVII века, в эпоху строительства Засечной черты. В 1934 году получило статус райцентра. Летом 1942-го до хохольской земли докатился огненный вал великой войны, враг сумел пройти здесь до самого Дона. Оккупанты хозяйничали в этих краях целых полгода, в злобе сея смерть и разруху.

Встречавший гостей из Воронежа заместитель главы райадминистрации Владимир Морозов показал открытую на мемориальном комплексе Аллею Героев. Здесь установили бюсты выдающихся людей района — семи Героев Советского Союза, одного полного кавалера орденов Славы и двух Героев Социалистического Труда. Мемориал рас-

положен очень удачно и символично — рядом с храмом в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы

На встрече также был презентован специальный тематический выпуск журнала «Подъём», посвященный Хохольскому району. Иван Щёлоков в диалоге с общественностью во Дворце культуры поселка Хохольский, это нынешний районный центр, назвал реализацию этого проекта событием в культурной жизни не только Хохольского района, но и всей области.

— Ваш край богат талантами, — подчеркнул главный редактор. — Нам было из чего выбирать для публикации. Это и проза ваших земляков Вячеслава Дёгтева и Петра Сысоева, Сергея Таранина и Александра Бондарева, стихи Виктора Кулакова и Василия Князева, конечно, Алексея Прасолова, работавшего здесь в редакции районной газеты, публицистика Николая Тараканова и Виктора Авдеева.

В «хохольском» номере привлекает внимание большой раздел «Страницы Великой Победы». Здесь отражено немало интересных событий и имен огненного лихолетья. Однако, несмотря на то, что о войне написано очень много, тема героизма и верности Отечеству никогда не будет исчерпана. Рядом с произведениями писателей фронтового поколения, к которому мы относим

земляков-воронежцев Егора Исаева, Андрея Платонова, Бориса Васильева, Григория Бакланова, Василия Кубанева, Юрия Гончарова, Федора Волохова, Ивана Сидельникова, Алексея Шубина, Ольгу Кожухову, Петра Прудковского и других, стоят книги авторов поколения послевоенного и молодых современных авторов. И так будет продолжаться впредь.

Иван Щёлоков обратил внимание, как на Западе оголтело пытаются принизить, а то и на нет свести величие нашей Победы над гитлеровской Германией и ее многочисленными союзниками. 400-миллионная Европа, одурманенная человеконенавистнической идеологией, воевала против СССР! Нынче этот европейский «концерт», как его назвал еще Федор Достоевский, ищет оправданий сотрудничеству с нацистами. В ход идут клеветы, подмена исторических фактов. Долг писателей — в буквальном смысле слова драться за правду.

Евгений Новичихин — свидетель сурового времени. Он родом из села Верхнее Турово соседнего Нижнедевицкого района. В дни боев за освобождение села взрослые прятали детей в подвале.

— Нас там было человек пятнадцать: я,

мой брат, соседские ребята, — поделился воспоминаниями Евгений Григорьевич. — Во время очередного обстрела в подвал вбежала моя мама и забрала меня и брата. Решила: погибать — так всем вместе, и увела нас домой. Вражеские солдаты вскоре оказались неподалеку от подвала, услышали голоса, облили все вокруг бензином и бросили внутрь гранаты... У одной девочки была длинная коса. Когда на следующий день хоронили останки детей, эту косу несли на руках, как гирлянду... Я все годы хотел написать об этом повесть-быль, но боюсь, что мне не хватит слов, чтобы в полной мере передать всю боль и горькую правду войны.

И еще поведал писатель про своего земляка Максима Шматова, Героя Советского Союза. Комбат Шматов воевал в Венгрии, откуда приходило зло на его родную землю. Под Будапештом немцы, отступая, ограбили детский дом, оставив детей без еды. Командир собрал солдат и сказал: «Дети ни в чем не виноваты. Мы должны их спасти». И бойцы батальона поделились с ребятами своим пайком.

— Верно заметил полководец Георгий Жуков, что наши солдаты превзошли немецких своим духом и нравственной силой, —



Воронежские писатели в Хохольском районе

сделал вывод Евгений Григорьевич. — Советские люди много читали, к бойцам в подразделения приезжали поэты, певцы и актеры. Литература учила возвышенному, вдохновляла на подвиги, вела к победе.

Виктор Будаков тоже успел краешком детского глаза увидеть войну.

— Моя малая родина, село Нижний Карabut Россосанского района, шесть месяцев находилась на линии фронта. Там не осталось ни одного целого дома. Я и мои родные были узниками немецкого концлагеря, — рассказал о себе писатель.

Его отец, красноармеец Виктор Ильич Будаков, прошел военными дорогами от Дона до Берлина, был участником штурма рейхсканцелярии, где находились апартаменты Гитлера, вернулся домой при орденах.

— Мы жили тогда страшным наследием войны. Я общался со многими фронтовиками. Записывал их воспоминания, готовил статьи для газеты «Молодой коммунар», потом писал книги, — добавил Виктор Викторович. — События тех лет коснулись каждого человека, оставив в сердце боль.

В своем выступлении Виталий Жихарев вспомнил о воронежских литераторах, погибших на войне. Это Николай Романовский, Борис Песков, Валентин Шульчев. В перерывах между боями они успевали писать рассказы и стихи, вошедшие потом в золотой фонд отечественной патриотической прозы. Интересна судьба фронтового корреспондента Семена Борзунова. Родом он аннинский, на войне с первого дня. В сорок третьем при форсировании Днепра переправился с передовым отрядом на занятый врагом берег. В жесточайшем бою погиб командир, и тогда журналист капитан Борзунов взял на себя командование отрядом. Трое суток бойцы удерживали плацдарм, пока не подошла подмога. Борзунова представляли к званию Героя Советского Союза, но бумаги где-то затерялись. Сегодня Семену Михайловичу — писателю, к штыку приравнявшему перо, автору более двадцати книг — 101 год. Завидное долголетие!

— Вместе со знаменитым человеком вашего района, бывшим председателем хохольского колхоза «Великий Октябрь», фронтовиком Николаем Пегарьковым — светлая ему память! — мы выпустили более десяти книг, — рассказал Юрий Кургузов, в

прошлом редактор, а затем директор Центрально-Черноземного книжного издательства. — Помню, с каким тщанием Николай Григорьевич творил энциклопедию «О тех, кто вернулся с войны». В эту книгу памяти и славы вошли три с половиной тысячи имен хохольцев-фронтовиков. По-моему, это был один из первых опытов, когда таким образом увековечена память тех, кто с лаврами победителя вернулся домой и потрудился на благо земли Хохольской. Горжусь, что в этом издании есть частичка моего труда как книжного редактора.

Теме решительного противодействия любым попыткам переписать историю, очернить подвиг советского народа в Великой Отечественной войне посвятил свое выступление Вячеслав Лютый.

— Разве могли мы себе представить, скажем, в шестидесятые, семидесятые, даже в восьмидесятые годы, что наступят такие времена, когда в странах просвещенной Европы, которые Красная Армия освободила от нацизма, вандалы будут рушить памятники русскому солдату. На волне русофобии появились политики и пропагандисты, я бы назвал их историческими ревизионистами, пытающиеся превратить СССР в общественном сознании из страны-освободителя в виновника войны в угоду сиюминутным конъюнктурным целям. Это бессовестно и аморально. С этим надо бороться самым решительным образом, бороться за нашу Победу до победы над ее хулиганьями.

К визиту литературного десанта библиотечные работники оформили книжную выставку «О Хохольском — с любовью». Гостям показали содержательный видеофильм, который по праву можно назвать сказанием о земле Хохольской, с комментариями в кадре выступил глава района Михаил Ельчанинов. Да и сама встреча в районном Дворце культуры скорее напоминала литературно-художественный вечер, который украсили выступления местного поэта и песенника Василия Князева и юных декламаторов Дмитрия Золотухина и Даниила Лукьянова, читавших стихи советских поэтов о «роковых сороковых». Эти ребята занимаются на театральном отделении районной детской школы искусств под руководством педагога Ирины Стародубцевой. Уровень их творческого мастерства всех поразил.



Посещение музея в Репьевке

В завершение встречи Иван Щёлоков выразил благодарность местным властям и жителям района за оказанное внимание и интерес к акции писателей.

ШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ СТРОКИ

Визит воронежских писателей в Репьевский район тоже нельзя назвать случайным. Хотя он скромнен по территории и населению, по своим экономическим ресурсам, но здесь, на западной окраине Воронежской области, не в пример некоторым землям побогаче, умеют очень бережно относиться к своему историческому прошлому. Особенно если это прошлое связано с войной. В каждом населенном пункте — ухоженные могилки, памятники, мемориальные комплексы.

В селе Истобном участники акции «Линия фронта — линия слова», члены Союза писателей России Виталий Жихарев, Евгений Новичихин, Людмила Шилина, Юрий Силантьев, в сопровождении главы сельского поселения Валентины Аристовой и группы молодежи возложили алые гвоздики на гранитную плиту памятника погибшим. А уже потом, с этого оплаканного горячими слезами вдов и сирот святого места, отправились на встречу с учащимися средней школы.

Книгу здесь любят, многих авторов разных времен учащиеся знают по имени-фамилии. Гости постарались расширить их зна-

ния по воронежской литературе о Великой Отечественной войне, напомнили, к примеру, что знаменитую повесть «А зори здесь тихие» написал Борис Васильев, добровольцем ушедший девятиклассником из школы №28 города Воронежа на войну. Воронежские корни у Егора Исаева и его поэм «Суд памяти» и «Даль памяти», у Андрея Платонова, издавшего в годы войны четыре сборника рассказов, у Григория Бакланова с его «Навеки девятнадцатилетними» и «Пядью земли», у Юрия Гончарова — автора повестей «Теперь — безымянные», «Дезертир», «Большой марш», у Ивана Сидельникова, Григория Рыжманова, Михаила и Павла Касаткиных, Михаила Тимошечкина, Владимира Евтушенко, Тихона Павлова...

О войне, конечно, писали первыми те, кто ее пережил. С годами тема подвига и героики, горьких утрат и сострадания нашла отражение в творчестве наших писателей, выраставших в военную годину, а творивших в мирное время. К ним можно отнести поэтов Алексея Прасолова, Анатолия Жигулина, Станислава Никулина, прозаиков Ивана Евсеенко, Василия Белокрылова, Евгения Дубровина, Виктора Чекирова и других. И, конечно, известного рассказчика Вячеслава Дёгтева — уроженца небольшого поселка близ села Истобного Репьевского района. Из последних примеров — живущий в Нововоронеже Иван Быков, написавший пронзительную повесть «Ма-

дьяр». Она вышла в «Подъёме» и была удостоена премии «Кольцовский край» за минувший год. К стати сказать, и участники репьевского литдесанта Виталий Жихарев, Евгений Новичихин, Людмила Шилина и Юрий Силантьев тоже писали и еще будут писать о войне, о чем они говорили, беседа с ребятами.

Еще одна встреча с молодыми читателями прошла в районном центре, где собралась также и учащиеся из других школ района — как ближних, так и дальних. Здесь тоже завязалась интересная беседа о войне и писательском труде, о том, как книга воспитывала защитников Родины и звала их к подвигу. Точно сказал юный поэт и солдат Василий Кубанев про строки, которые шли в наступление как праведные полки...

Евгений Новичихин напомнил про знаменитое стихотворение Константина Симонова «Жди меня», с которым воины шли в атаку, переписывали и отсылали своим любимым, а в госпиталях просили медсестер читать его вслух — вместо лекарств.

Виталий Жихарев обратился к участникам встреч и в Истобном, и в Репьевке с советом записать все, что касается фронтовых судеб их близких и дальних родственников, и сохранить эти записи для потомков, чтобы грядущие поколения видели пред собой пример преданности и созидательной любви к Отечеству, мужества и отваги.

Людмила Шилина написала книгу об узниках фашистского лагеря смерти, известного как Освенцим. С возмущением говорила она о развернувшейся на Западе кампании по извращению истории великой войны. Дело дошло до того, что одно уважаемое европейское издание поместило статью об освобождении Освенцима американскими войсками, а не частями Красной Армии.

Ветеран Вооруженных Сил Юрий Силантьев участвовал в боевых операциях в «горячих точках». И пишет стихи по большей части на военную тему. На каждой встрече он читал свои искренние, пронзительные стихотворения, и молодые люди награждали автора аплодисментами.

Перед возвращением в Воронеж писатели посетили Репьевский краеведческий музей, где познакомились с экспозицией, посвященной Великой Отечественной войне и участию в ней жителей района.

Виталий Жихарев, Евгений Новичихин, Людмила Шилина и Юрий Силантьев передали в районную и школьные библиотеки свои книги с автографами и выразили сердечную благодарность Татьяне Кирилловой — председателю районного совета ветеранов комсомола, человеку неутомимой энергии. Это она взяла на себя организацию встреч литературного десанта на репьевской земле.



На Осетровском плацдарме

СЛОВО ОПЯТЬ НА ФРОНТЕ

В июле 1942 года линия фронта разрубила Воронежский край на две части: правобережье по Дону оккупировали фашисты, три четверти области на другом берегу и левобережный Воронеж — прифронтовые районы и ближний тыл — стали неприступным бастионом в смертельной схватке с врагом. Более 500 километров непримиримого противостояния! Но и на правобережье Дона было около полутора десятков непокоренных высот и пядей, с которых фашисты, как ни старались, не смогли выбить наших воинов.

Самый крупный из них — Осетровский плацдарм в Верхнемамонском районе. С этих 50 квадратных километров, накопивших военную силу и разящий человеческий гнев, началось освобождение оккупированной Воронежской земли. Отсюда размахнулась воинская операция «Малый Сатурн», обратившаяся в величайший разгром итальянских, румынских, а затем венгерских и иных пособников гитлеровской Германии со всей Европы...

Гордая, непокорная, такая красивая земля! Сегодня здесь возносится ввысь стела мемориала, который задумано открыть как раз к юбилею Победы. Когда на исходе зимы участники акции «Линия фронта — линия слова» посетили бывший плацдарм, все тут было еще в стройке, вчерне, но уже впечатляюще. Так же, как ощущения: жесткий, пронизывающий ветер на осетровской высоте 191,1, внизу каньон Дона с отвесными меловыми скалами, которые штурмовали в далеком 1942-м советские воины. Местный краевед, педагог с почти полувековым стажем Дмитрий Федорович Шеншин, издавший десятки книг о своем крае и его людях, рассказывает, что ему и поисковикам удалось установить имена почти 10 тысяч наших солдат и офицеров, погибших в ходе операции «Малый Сатурн». Слушаешь этого целеустремленного, неутомимого подвижника и понимаешь, что память здесь обретает свою настоящую суть.

Любопытна и сама история возникновения мемориала, который возводится в 200 метрах от федеральной трассы М-4 «Дон». Издавна на этом месте стояла мемориальная пушка в память о прошедших боях.



Выступает Иван Щёлоков

В начале 2000-х годов группа воронежских писателей и журналистов выступила на страницах областной газеты «Коммуна» с идеей создания памятника легендарному герою шолоховского рассказа «Судьба человека» Андрею Соколову, что «родом из Воронежской губернии». На его долю, как мы помним, выпало множество испытаний. Всю семью он потерял во время войны, сам чудом выжил, побывав в плену и пытаясь сбежать оттуда. После войны он усыновляет осиротевшего мальчика Ваню, представившись его отцом, вернувшимся с фронта... Воспринято это было общественностью позитивно, но с местом, где можно было бы поставить скульптуру, возникла заминка. С воодушевлением откликнулись жители Верхнего Мамона: «Возводить этот памятник надо у нас — вот здесь Дон, тут и переправа, где встретил Соколов беспризорного мальчишку...» В конечном итоге, областные власти приняли решение на Осетровском плацдарме возвести мемориальный комплекс, соответствующий значению и важности сражений, происходивших здесь в годы Великой Отечественной войны. Сооружается он на основе государственно-частного партнерства с вложением средств областного бюджета, компании «Лукойл» и других источников финансирования. А памятник Андрею Соколову станет частью мемориала

ла, и увидеть его можно будет прямо с дороги. Кстати, после сообщений о том, что эта тема обсуждалась писателями с ответственностью в Верхнем Мамоне, вскоре в области было объявлено о конкурсе на лучший проект скульптурной композиции любимому литературному герою. То ли так совпало, то ли слово помогло, но главное, что эта воронежская инициатива в самый раз пришлась к 115-й годовщине со дня рождения Михаила Александровича Шолохова!

Верхнемамонский край — земля мужественных ратников и великих тружеников! Глава района Николай Быков подчеркивает: эта земля дала Родине 11 Героев Советского Союза и 7 Героев Социалистического Труда — вровень с самыми крупными регионами области, которые вдвое, а то и втрое больше. Славится Верхний Мамон и тем, что в 2014 году райцентру в числе первых в области присвоено почетное звание «Населенный пункт воинской доблести». Именно поэтому Верхнемамонский край всегда был и есть в чести у литераторов. Это особо отмечали в своих выступлениях на встрече в школе искусств с местными любителями словесности, истории и краеведения гости из Воронежа — главный редактор журнала «Подъём», председатель правления региональной организации Союза писателей России Иван Щёлоков, ответственный секретарь журнала «Подъём» Владимир Новохатский, член правления региональной организации СП России Юрий Кургузов, член редколлегии журнала «Подъём» член Союза писателей России поэт Александр Нестругин из райцентра Петропавловки. И многие участники встречи — тоже.

Ведь весьма симптоматично было и то, что литературно-патриотическая акция «Линия фронта — линия слова. Воронежская литература о Великой Отечественной войне» совпала с другим знаковым событием в жизни района и писательского сообщества области. Иван Щёлоков и Николай Быков вручили номинантам награды областной литературной премии имени Василия Белокрылова, соучредителями которой как раз выступают Воронежская писательская организация и Верхнемамонская районная администрация.

Дипломантами по итогам 2019 года стали публицист-литератор из Богучара Иван

Абросимский и обозреватель Верхнемамонской районной газеты «Донская новь» Нина Яньшина. Особо была отмечена литературоведческая и исследовательская деятельность Татьяны Багринцевой из Верхнего Мамона. Ведь благодаря ее кропотливой работе с помощью журнала «Подъём» в 2017 году имя большого русского писателя, земляка из верхнемамонской Дерезовки Василия Белокрылова после десятилетия глухого забвения вернулось в ряд сегодняшней литературы. Затем Татьяна Николаевна сумела издать дневники и переписку писателя, а также книгу его ранее не публиковавшейся прозы. Испытавший на себе тяготы военного детства и возрождения из руин родного края, Василий Белокрылов, как никто другой, отразил в своей прозе нравственное величие и духовную силу русского человека. Это можно понять и по строкам его неоконченного романа «Земля держит всех», опубликованного в «Подъёме», и по недавно изданной книге «Явление ангела». Произведения Василия Белокрылова напрямую перекликается с творчеством писателей военной и послевоенной поры.

С каждым разом литературно-патриотическая акция «Линия фронта — линия слова» расширяет свой познавательный аспект. В военные годы слово для бойца было не менее важным, чем порох в пороховницах. Поэтому и сегодня ценно, что люди не забывают о тех, кто это слово нес на передовую сражений. В прифронтовой воронежской газете «Коммуна» собственным корреспондентом работал Н. Задонский, спецкором «Известий» по Воронежской области был М. Булавин, а М. Сергеенко готовил листовки для жителей временно оккупированных районов Воронежской области. Дивизионную газету редактировал П. Прудковский. Фронтowymi журналистами стали Б. Песков и Н. Романовский, которые, как и В. Шульчев, погибли в боях. В их память в помещении областного литературного музея имени И.С. Никитина установлена мемориальная доска.

В Воронеже в то лихое время побывали и литераторы всесоюзной известности. Здесь около полугода издавалась популярная тогда газета «Красная Армия». В ее редакции работали А. Твардовский, А. Безыменский,



Встреча в Верхнемамонской школе искусств

к ним впоследствии присоединился Е. Долматовский, вырвавшийся из фашистского лагеря смерти и создавший в нашем городе вместе с композитором М. Фрадкиным знаменитую песню о Днепре.

Прифронтовой Воронеж долгие месяцы служил городом, в котором развивалась общественная и литературная деятельность замечательного прозаика Ванды Василевской. Здесь Н. Бажан редактировал газету «За Радяньску Украину», А. Корнейчук писал гневные публицистические статьи, слагал стихи А. Малышко. В нашем городе готовились к выпуску и печатались различные издания Советской Белоруссии, активную

творческую деятельность вели белорусские писатели П. Бровка, А. Крапива, А. Кулешов, П. Глебка...

Их слово нынче тоже на фронте. Потому что на родные славянские земли напал националистический морок, где уничтожается и правда, и честь, и великая наша Победа. Та, что одна на всех. Акция воронежских писателей и редакции журнала «Подъём» яркое свидетельство тому, что и сегодня в пору к штыку приравнять перо. Слово опять в бою.

Артем ТОКАЙСКИЙ,
Владимир НОВОСЕЛОВ



Департамент культуры Воронежской области

**Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области
«Журнал «Подъём»**

Директор-главный редактор Щёлоков И.А.

Редакция вступает в переписку только с авторами, материалы которых приняты к публикации. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Авторы присылаемых материалов должны сообщить редакции: краткую биографическую справку; домашний адрес с почтовым индексом; день, месяц, год своего рождения; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, регистрация); ИНН и номер страхового свидетельства.

Редакция просит авторов присылать электронную версию своих произведений с обязательной распечаткой текста. Рукописи без распечатки не принимаются. Параметры набора: 14-й кегль через 1,5 интервала в формате Word.

Корректор Андреев А.М.

Компьютерная верстка Вовчаренко И.К.

Телефоны редакции: директор-главный редактор — 228-64-12 / 8-903-858-64-12, заместитель директора-главного редактора, ответственный секретарь, отдел поэзии — 228-64-15 / 8-903-858-64-15, отдел прозы, корректор, отдел верстки — 228-64-09 / 8-903-858-64-09, бухгалтерия — 228-64-13 / 8-903-858-64-13, производственный отдел — 228-64-16 / 8-903-858-64-16.

Электронный адрес журнала «Подъём»: podiem@mail.ru

Сайт журнала «Подъём»: <http://www.podiemvrn.ru>

Электронный архив журнала с № 1, 2001 г. по № 6, 2008 г.: <http://www.pereplet.ru/podiem>
ISSN 0130-8165.

Журнал «Подъём»

Главный редактор **И.А. Щёлоков**

№ 5 (668). Подписано в печать 08.05.2020.

Дата выхода в свет:

Индекс 73312.

Тираж 999 экз.

Формат 70x100 1/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «School Book». Печать офсетная.

Усл. печ. л. 19,3 + 0,5 п.л. цв. вкл. Отпечатано с готового оригинал-макета

ГБУК ВО журнал «Подъём». Заказ № . Цена свободная. 12+.

Адрес редакции: 394030, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56а.

Адрес издателя ГБУК ВО «Журнал «Подъём»: 394030, Воронежская область,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, 56а.

Адрес типографии ИП Коновалов И.С.: 108809, г. Москва, пос. Толстопальцево,
ул. Пионерская, д. 13.

Журнал «Подъём» зарегистрирован Министерством печати РФ. Свидетельство № 331
от 12.11.1990 г.

Учредитель (соучредители): Союз писателей Российской Федерации;

Трудовой коллектив редакции журнала «Подъём».

Рассылку журнала осуществляет цех экспедирования печати
Воронежского главпочтамта: 394068, г. Воронеж, ул. Лизюкова, 2, ЦЭП.

Во всех случаях полиграфического брака в журнале обращаться
к ИП Коновалов И.С.